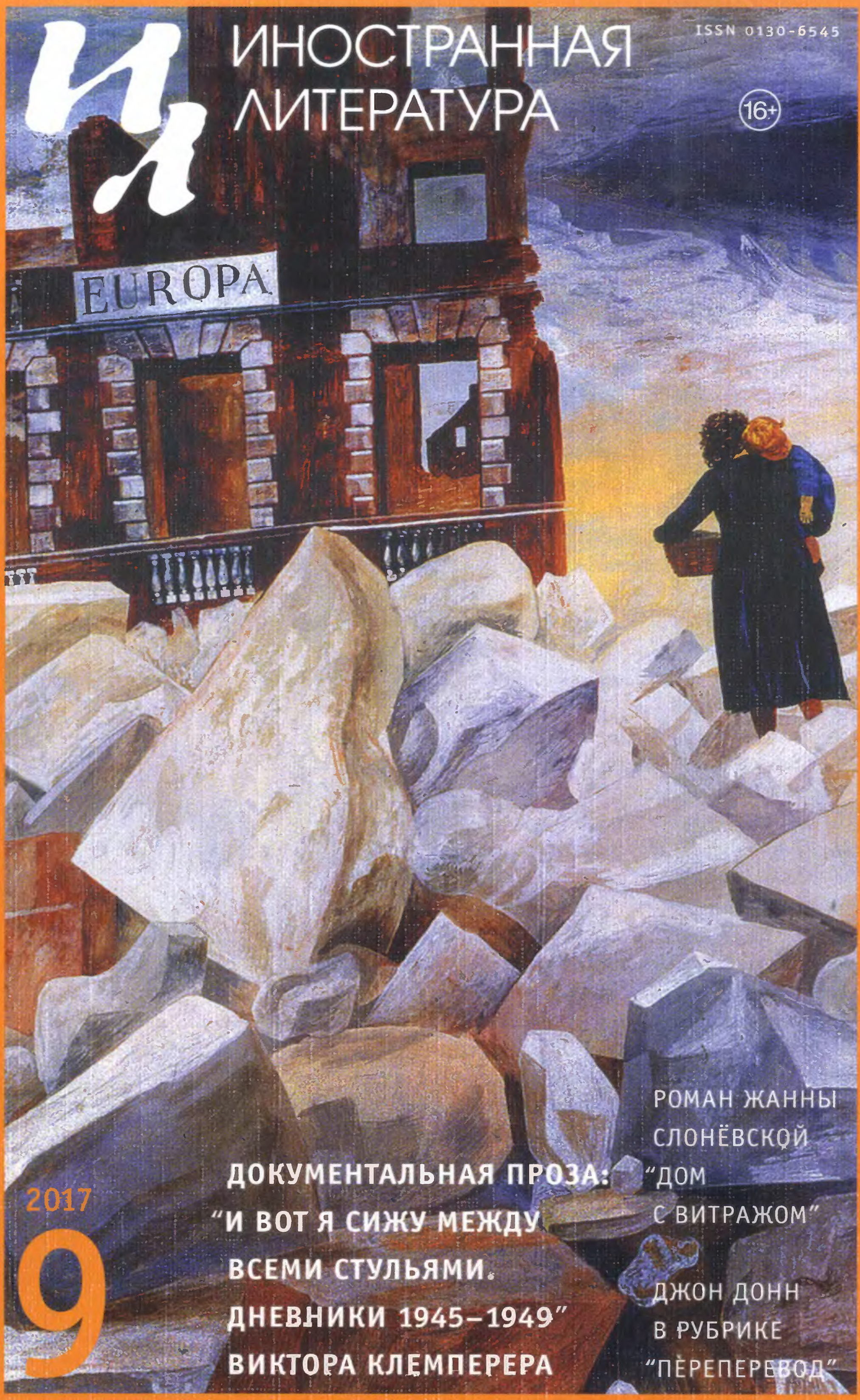
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+



ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: “И ВОТ Я СИЖУ МЕЖДУ ВСЕМИ СТУЛЬЯМИ. ДНЕВНИКИ 1945–1949” ВИКТОРА КЛЕМПЕРЕРА

РОМАН ЖАННЫ СЛОНЁВСКОЙ “ДОМ С ВИТРАЖОМ”

ДЖОН ДОНН В РУБРИКЕ “ПЕРЕПЕРЕВОД”

2017

9

Основан в 1955 году

“ИЛ” в 2018 году

В романе **“Разыскиваются...”** наблюдательная и ироничная НЕЛЛ ЗИНК, рассказывая историю одной, весьма своеобразной семьи на протяжении почти двух десятилетий (60–80-е годы), касается и сейчас остающихся чрезвычайно важными проблем (если не сказать болевых точек) американской жизни – таких, как раса, сословность, гендерность и сексуальность.

“Приключения фотографа в Ла Плате” – последний роман аргентинского писателя АДОЛЬФО БЬОЯ КАСАРЕСА и одна из наиболее увлекательных его книг. Короткий фрагмент из жизни главного героя позволил автору не только затронуть темные страницы истории Аргентины – массовое исчезновение людей, происходившее во второй половине XX века, но и обратиться к таким важным вечным темам, как искусство, дружба, коварство, предательство, смерть и любовь.

Главы из книги одного из известнейших современных немецких писателей ХАНСА МАГНУСА ЭНЦЕНСБЕРГЕРА **“Большая смута”**. Книга вышла в свет в 2014 году и посвящена событиям “бурных шестидесятых”, участником или скорее “включенным наблюдателем” которых Энценсбергер был: в Западном Берлине, Париже, Америке, на Острове свободы. Особое место в книге отводится также России периода “оттепели”. Книга вбирает в себя дневниковые записи автора о поездках по СССР в 1963 и 1966 гг., стихи, написанные по следам событий тех лет, “литературные портреты” Никиты Хрущева, Ильи Эренбурга, Маргариты Алигер, Евгения Евтушенко. Впервые автор рассказывает и о драматических коллизиях личного плана, о своем “русском романе”.

Впервые по-русски – отрывок из культового романа ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА **“Финнегановы вспоминки”** – вавилонское столпотворение языков и смыслов на безбрежной территории джойсовской модернистской сатиры.

“Легко ли быть молодым?” – тематическая подборка стихов и рассказов современных писателей разных стран. Вопрос этот, как в одноименном документальном фильме 1986 года (режиссер Юрис Подниекс), рассказывающем о проблемах советской молодежи первых лет “перестройки”, – из категории “вечных” и повсеместных: он столь же актуален в Польше, Словении, Аргентине....

Новая книга воспоминаний ЭЛЬКЕ ХАЙДЕНРАЙХ **“Все неслучайно”** - неслучайный набор наблюдений, где с неизменной иронией автора запечатлен спор безнадежности и надежды.

“Письма Жана Кокто к Жану Маре”. В письмах знаменитого писателя, поэта, драматурга, художника ЖАНА КОКТО к главному романтическому герою французского киноэкрана ЖАНУ МАРЕ, сыгравшему, к слову, немало ролей в пьесах Кокто, читатель найдет не только личные, интимные мотивы, но и весьма любопытные суждения о проблемах мировой культуры и литературы XX века.

Специальные номера, посвященные литературе Англии, Франции, скандинавских стран.

[9]
2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Жанна Слонёвская *Дом с витражом.* Роман. Перевод с польского Мадины Алексеевой

146 Бертран Блие *Я иду по ковру...* Пьеса. Перевод с французского и вступление Нины Хотинской

181 Миодраг Павлович *Стихи.* Перевод с сербского и вступление Вячеслава Куприянова

Переперевод

187 Джон Донн *Три элегии.* Перевод с английского Марины Тарлинской

Документальная проза

191 Виктор Клемперер *И вот я сижу между всеми стульями.* Дневники 1945–1949. Перевод с немецкого и вступление Дарьи Андреевой

Статьи, эссе

267 Марина Ефимова *Нарциссизм в личной жизни*

Анкета-2016

273 *Итоги 2014–2016 гг. Наш конкурс*

БиблиофИЛ

282 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

285

© “Иностранная литература”, 2017

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

С. М. Гандлевский

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. А. Осипов

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Матей Вишнек

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Ханс Магнус Энценсбергер

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Жанна Слонёвская

Дом с витражом

Роман

Перевод с польского Мадины Алексеевой

Ш. Р.

— Вы подразумеваете, — возразил Стивен с подобием небольшого смешка, — что я приобретаю важность, оттого что принадлежу faubourg Saint Patrice, в кратком наименованьи, Ирландии.
— Я бы пошел еще дальше, — начал мистер Блум.
— А я подразумеваю, — продолжал Стивен, перебивая, — что Ирландия приобретает важность, оттого что принадлежит мне.

Джеймс Джойс *Улисс.*
Перевод В. Хинкиса, С. Хоружего

СЛОВО *"мама" для меня не картинка, а звук. Он начинается в животе, через легкие и гортань проникает в трахею и застревает в горле. Мама всегда говорила, что я полный музыкальный ноль, поэтому я никогда не пою. И все-таки голос, кото-*

© by Zanna Słoniowska
This translation is published by arrangement with Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z.o.o., Kraków, Poland.
© This publication has been supported by the POLAND Translation Program
© Мадина Алексеева. Перевод, 2017

рый рождается у меня внутри, – ее голос, ее меццо-сопрано. Дело в том, что, когда я сидела у нее в животе, мне казалось, что этот голос принадлежит мне, а когда я оттуда вышла, выяснилось, что он только ее. Наша музыкальная "раздельность" длилась одиннадцать лет, до самой ее смерти. Потом долго не было ничего, ни звуков, ни цвета, только сквозная дырочка под лопаткой. А когда я наконец выросла, оказалось, что это она сидит у меня в животе. Теперь уже она ничего не видит. Она снова – только голос, прекрасное меццо-сопрано. А я напрасно стою перед зеркалом, открываю рот и пытаюсь этот голос из себя добыть.

Смерть

В день смерти ее голос звучал громко и заглушал множество других звуков. Но смерть, эта смерть, была не звуком, а цветом. Ее тело принесли домой завернутым в огромный сине-желтый флаг — флаг государства, которого еще не было ни на одной карте мира. Флаг обвивал тело плотно, словно египетскую мумию, и только в одном месте на поверхность просочилось темное кровавое пятно. Я стояла и смотрела на это пятно, и мне вдруг показалось, что произошла какая-то ошибка. В школе нам объясняли, что все флаги красные, потому что их окропила кровь героев. Нам рассказывали историю о замученном до смерти рабочем, который вышел с белым флагом на улицу отстаивать свои права, но жандармы начали стрелять, и кровь окрасила ткань в красный цвет. Позже все переменилось, я уже знала, что красный цвет чаще означает террор, а не освобождение. И все же, стоя над телом Мамы, я не могла избавиться от мысли, что красный подошел бы гораздо больше. Красный флаг был торжественный и трагический, а сине-желтый — простенький и китчеватый. Он будил воспоминания о жарком летнем полдне и деревенском отдыхе в поле. Мама говорила, что синий — это небо, а желтый — колосья пшеницы. Порой человека посещают странные, очень неуместные мысли. Узнай Мама, о чем я тогда думала, наверняка бы возмутилась. Поэтому когда мужчины, которые принесли ее домой, развернули флаг, чтобы показать нам рану под лопаткой, я перестала думать о цвете и начала думать о коже.

Мама обычно раздевалась перед высоким зеркалом, ничуть меня не стесняясь, а потом стояла голая, разглядывала себя и иногда пела. Я тогда садилась неподалеку и гладила взглядом ее белую веснушчатую кожу, ее маленькую упругую

грудь, ее длинные, поросшие рыжеватыми волосками ноги. Она была моей собственной Белоснежкой, а заодно всеми сразу обнаженными Венерами и одетыми Мадоннами из стоящих на полках альбомов по искусству. Ее тело говорило, что она дух, оно было бы совершенно, если бы не один дефект. На спине, под левой лопаткой, пряталось атласно-белое углубление размером с кленовый лист — единственный кусочек ее кожи, полностью лишенный веснушек и напоминавший неровно пришитую заплатку. Я понимала, что это недостаток, но именно его любила больше всего. Часто спрашивала Маму, откуда пятно взялось. "След от вражеского снаряда", — со смехом отвечала она. Когда я была совсем маленькая, я этому верила и представляла себе, как враги нашего строя гнались за ней темным вечером, спускали собак, как она пряталась в телефонной будке, как пуля, пройдя сквозь стекло, разрывала его на тысячу сверкающих осколков, под градом которых ее тело бессильно сползало на землю. В действительности все было иначе: когда Мама была еще девочкой, у нее на спине выросла цепочка родинок — что-то вроде родимого пятна на лбу Горбачева, — и врачи решили их удалить. Тогда-то и появилась эта атласная ямочка.

Так что, когда ее тело, завернутое в украинский флаг, принесли домой и открыли нашему взгляду, моя вторая мысль коснулась именно этого места на ее коже. Пуля угодила под правую, обычную веснушчатую лопатку, и я не поняла, что получилась как бы симметрия: атласная ямочка слева и сквозная дырочка справа. Эта моя мысль — как и та первая, о флаге, — наверняка не была уместной. Поэтому я замерла в напряжении и, стоя в комнате, где, несмотря на яркое солнце, зажгли все лампы, пыталась отогнать неподобающие ассоциации. В итоге в моей голове возникло совершенно пустое белое пятно — словно та ямочка без веснушек, — вот только я не знала, в правом полушарии или в левом. На дворе стоял июль 1988 года, моя мать погибла в неравной борьбе с советским тоталитаризмом.

В день ее похорон казалось, что звуки военного оркестра разнесут в клочья похожие на торты фасады домов на нашей улице. Первые же ноты распахнули множество окон, в них появились лица людей, ожидающих землетрясения или чего-нибудь не менее неприятного.

— Для меня праздник — это звуки духового оркестра, — всегда говорила Мама, когда Первого мая или седьмого ноября мы продирались через милицейские кордоны в центре города к нашему месту на трибуне. Демонстрации были единственными массовыми сборищами, не вызывавшими у меня

панического страха. Там были шарики, флажки, а главное — нерушимый, заранее установленный порядок. Сегодняшняя толпа была совсем иной. Она напоминала потоп, как в Библии. Тогда тоже не было куда бежать. Я стояла у закрытого окна на втором этаже, а река людей поднималась все выше. По ней дрейфовал открытый гроб с Мамой внутри.

Напротив нашего дома находилось отделение милиции, и несколько человек в форме топтались на полукруглом балконе как раз на уровне моего окна. "Что будет, если один из них схватит оружие и прицелится в меня?" — думала я. Напрасные фантазии! Я, не колеблясь, умерла бы вместо Мамы, но хорошо знала, что на Окончательном Аукционе Смертей за нее дали бы дюжину таких, как я. Она была великая. Она хотела умереть. Ей это удалось.

Река незнакомых голов колыхалась, вздыхала, бурлила. При каждом ее движении я вздрагивала от страха. Ей бы хватило сил меня проглотить. В толпе были беременные с виду женщины средних лет, они кутались в плащи до середины икры и серые платки. Я знала, чть они прячут под одеждой. Еще там были мужчины в черном, у которых из-под мышек торчали палки, похожие на удочки. Я догадалась, что это значит. Но притом понятия не имела, кто эти люди и что у них общего с Мамой. С ее меццо-сопрано и коллекцией пластинок с записями всех опер в мире, с ее белой кожей и привычкой читать за едой, с ее длиннющими ногтями, напоминающими формой миндаль. Она не приглашала их домой, они не ходили на ее выступления. Не здоровались с ней на улицах и не пили вместе кофе в "Армянке". Не работали с ней и не приносили перепечатанные на машинке книги, которые нужно было успеть прочитать за ночь. А сейчас они пришли и оплакивают ее так, будто она была веткой, срезанной с их дерева! Вчера какая-то незнакомая тетка позвонила к нам в дверь и спросила, во сколько начнется прощание с "нашей Марианной"?

Были ли они виноваты в ее смерти?

Я категорически отказалась участвовать в похоронах. Стояла у окна, пока последний парень с удочкой не скрылся за углом здания, похожего на трансатлантический лайнер, пока отзвуки труб не растворились в воздухе, а на мостовой не остались лежать несколько раздавленных пачек папирос "Орбита". Я повернулась к окну спиной и пошла играть на пианино — никто кроме меня не назвал бы эту какофонию игрой. Разве что Прабабка. Этот день мы провели в ее комнате, не сказав друг другу ни слова. В перерывах между упражнениями я слышала, как она скребет стену пожелтевшими паль-

цами с наманикюренными ногтями и как растет дерево в нашем дворе.

Аба вернулась домой после обеда с лиловыми кругами под глазами. В ее взгляде сквозило только что принятое решение — посвятить всю свою жизнь мне. Вот что она рассказала о похоронах.

Река людей, несшая гроб с Мамой в сторону Лычаковского кладбища, росла на глазах. Когда ее начало уже подбиралось к середине Пекарской улицы и в нее стали вливаться студенты-медики из всех поочередно корпусов института, конец все еще вился где-то в районе Галицкой площади. Прошел слух, что милицейские отряды уже у кладбища, но разве могло это остановить цунами? Возле Музея патологической анатомии, где в банках с формалином годами дремали равнодушные к смене режимов руки штатного городского палача, оркестр отказался от Шопена. Не прозвучали и привычные советские марши. Так случилось, что трубачи заиграли запрещенную "Красную калину":

А ми тую червону калину
Підіймемо,
А ми нашу славну Україну
Гей, гей, розвеселимо!

Трубам вторило нарастающее пение — полное драматизма и злости. Женщины доставали из-под плащей иконы, и вот побледневшие от многолетнего заточения в подвалах и на чердаках лики святого Георгия, святого Николая и архангела Михаила взметнулись ввысь.

— Позор палачам Марианны! — крикнул кто-то.

— Позооооооор! — отозвались тысячи глоток.

— Отомстим за Марианну?

— Клянемся!

Словно в подтверждение этих слов, мужчины с удочками начали осторожно ими трясти, разворачивая прикрепленные к древкам запрещенные сине-желтые флаги. Похоронная процессия двигалась дальше, неумолимо приближаясь к трем аркам главного входа на кладбище. На перпендикулярной Пекарской улице Мечникова уже перекрыли трамвайное движение, а вдоль всей кладбищенской ограды выстроились цепью милиционеры под прикрытием бронетранспортеров. Идущие не обращали на них внимания — шествие продолжалось.

В тот миг, когда несшие гроб пересекли трамвайные рельсы, низенький лысый дирижер резко взмахнул руками. Знак поняли сразу – люди запели: “Ще не вмерла Україна”[1].

Милиция тоже словно ждала этого момента. Как по сигналу, они начали вырывать у женщин из рук иконы, а у мужчин флаги. Подключились товарищи в черных куртках из кожзама с огромными овчарками на поводках – они бросились за теми, кто побежал в боковые улочки, пряча цветные полотнища за пазуху и на бегу выбрасывая удочки. Пойманных заталкивали в машины.

Аба запомнила юношу с флагом, который, спасаясь бегством, метнулся к телефонной будке, но внутри уже кто-то был, и он залез на крышу. Там он почувствовал себя в безопасности: засунул древко флага между ног и весело показывал ментам фигу. Мужчина в черном отдал короткий приказ, и через секунду дрессированный пес был уже на крыше будки. Финала этой сцены Аба не видела – процессия вошла на территорию кладбища и проследовала вверх мимо могил Марии Конопницкой, Ивана Франко и Саломеи Крушельницкой[2]. Вячеслав Черновол[3], с черными кругами под глазами, всю дорогу шел рядом с гробом. Казалось, он впервые в жизни не замечал, что его людей травят собаками, бьют дубинками и увозят в милицию. Он шел, глядя прямо перед собой. Наверное, думал о том, что умереть должен был он, а не Марианна.

На место добрались лишь немногие, в основном те, кто знал Маму лично. Отсюда, с пригорка, было видно разрушенное Кладбище орлят[4], конечную остановку седьмого трамвая и уютные виллы Погулянки[5].

1. Композиция “Ще не вмерла Україна” на слова украинского этнографа и поэта Павла Чубинского (1862) в 1917–1920 гг. использовалась в качестве Государственного гимна Украинской народной республики. Сейчас – государственный гимн Украины. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Мария Конопницкая (1842–1910) – польская писательница и поэтесса. Иван Франко (1856–1916) – украинский писатель, поэт, публицист. Саломея Крушельницкая (1872–1952) – украинская оперная певица.
3. Вячеслав Максимович Черновол (Чорновіл, 1937–1999) – украинский диссидент, борец за независимость Украины, один из основателей политической партии “Народный рух Украины”.
4. Кладбище орлят – место захоронения польских солдат, погибших в ходе Польско-украинской войны (1918–1919). Орлятами принято называть молодых польских ополченцев, участвовавших в боях за Львов. В 1951 г. мемориал на львовском Лычаковском кладбище был разрушен; его восстановление началось после обретения Украиной независимости, но вызывало волну протестов из-за надписи о “польских защитниках” Львова. Мемориал был открыт в 2005 г.
5. Улица и одноименный лесопарк; во времена Польши престижный городской район.

— Украинский народ может гордиться своей дочерью Марианной, отдавшей за него жизнь, — торжественно сказал Черновол, и никто даже не вспомнил, что Мама de facto к этому народу отношения не имела. — Те, кто ее убил, думают, что заставили нас замолчать. Но сегодня они смогли убедиться, что наша песня звучит все громче!

В тот же момент, словно издевательски передразнивая его слова, внизу завыли сирены милицейских машин: задержанных все еще развозили по участкам. В чистом июльском небе летел белый аист. Сегодня Мама уже не была завернута во флаг — ее, как простыней, накрыли тканью, окропленной кровью. Могильщики заколотили гроб и начали осторожно опускать его в яму. И вдруг Аба разрыдалась. Гораздо позже я узнала, о чем она тогда думала. О том, что, как беременная женщина после родов теряет в весе, так и мать, отдавшая ребенка земле, становится легче. Может быть, поэтому Аба без чьей-либо помощи смогла спуститься по крутым дорожкам кладбища вниз, туда, где большие оранжевые цистерны с надписью “Вода” поливали щедрыми струями место побоища. Ее ноги, согнутые полиартритом в уродливую дугу, шагали энергичнее, чем обычно. Они торопились ко мне.

В тот день случилось еще кое-что: у меня начались первые месячные. Однако вопреки ожиданиям вместо величественного дождя из пурпура и кармина на моем белье остались лишь две скудные темно-коричневые полоски. Мир был совсем не таким, каким я его себе представляла.

Коробки

Гораздо позже я узнала, что не я одна дезертировала с похорон Мамы. И речь не о фальшивых друзьях из театра или еще о ком-то, кто не явился из страха за свою шкуру. Я говорю о человеке, который, как и я, готов был поделиться с ней каждой каплей собственной крови. О Миколе.

Вместе с похоронной процессией он дошел до середины Пекарской, а затем незаметно свернул в боковую улочку, пересекавшую сначала улицу Маяковского, а затем Зеленую. Он жил на Льва Толстого. Вдоль всей улицы росли старые дубы, которые напоминали консоли, поддерживающие своды невидимого святилища, в его представлении гораздо больше подходившего для оплакивания Марианны, чем шумная толпа, устремившаяся на кладбище.

Уже много лет он думал о запущенном особняке на улице Толстого как о человеческом теле: двухкомнатная квартира

на первом этаже, знакомая ему с рождения, была животом; мастерская в подвале, несколько лет назад унаследованная им от отца, – областью ниже пояса; чердак, когда-то определивший его выбор профессии, – головой. (Был еще этаж, где находилась квартира соседок, – это место, думая о доме, он игнорировал.) Вдруг Микола осознал, что уже никогда не расскажет Марианне историю, приключившуюся на чердаке, и ему почудилось, будто пуля снайпера разносит в клочья не ее грудь, а его голову.

Он открыл ключом дверь в подъезд, спустился по лестнице вниз, толкнул одну, вторую, третью дверь, зажег свет, лег на прикрытую старым пледом софу. Нетронутый лист бумаги на мольберте, темное озеро винила на проигрывателе, еще более темное море облупленного фортепиано, чаячьи крылья книг, лежащих обложками вверх, – все было как всегда.

“Смерть похожа на подвал, заваленный набросками, – подумал он. – Когда я умру, в мастерской найдут одни наброски – будто я так ничего и не закончил. И старый рояль, на котором я играл с грехом пополам”.

С потолка донесся громкий стук: кто-то этажом выше ударял тяжелым предметом об пол.

– Не сейчас! – крикнул он с раздражением.

Однако стук – размеренный, надоедливый – не утихал. Он досчитал до десяти и проорал:

– Мама, отстань! Я не голоден!

На одной из стен мастерской висела фотография молодой женщины, ее сияющие глаза излучали уверенность в том, что она вот-вот вознесется на небо. Это была не Марианна.

Внезапно Миколу осенило: встав с кровати, он подошел к стене, снял фотографию и положил ее на стол. Затем приставил стремянку к книжному стеллажу и начал снимать с самой высокой полки обтянутые темной материей коробки. Внутри лежали рассортированные и подписанные фотографии. Он вынимал их и бросал на стол, и вот уже вся столешница была усыпана фрагментами лиц анфас и в профиль, рук и ног. Какое-то время он тасовал снимки, словно карты. Скоро их накрыла подрагивающая паутина сигаретного пепла.

Фотография женщины, готовой вознестись на небо, оказалась в центре. У нее были такие же, как у него, темные, горящие, пожалуй, чуточку слишком широко расставленные глаза, такие же крепкие и густые волосы. Тогда, в восемьдесят восьмом, Микола стригся “под ежик”, но, по мере того как империя разваливалась, его волосы становились все длиннее и все больше напоминали длинные прямые волосы

матери, любившей зачесывать их кверху, так что на голове получалось что-то вроде шелковистого холмика.

Вокруг этого снимка он разложил лучами семь своих школьных портретов — на каждом, даже на официальных классных фотографиях, он либо таращил глаза, либо корчил рожу, либо высовывал язык. Глядя на снимки, он не мог избавиться от ощущения, что был недоразвитым ребенком. В Советском Союзе таких держали взаперти, а детей умеренно отсталых отправляли в обычные школы, делая вид, что они ничем не отличаются от обычных.

Свои детские портреты он окружил более поздними фотографиями матери, которая со временем избавилась от навеянных Библией ожиданий, да еще и проиграла в борьбе с лишним весом. К одному ее портрету он питал особую слабость: тому, на котором она стояла, раскинув руки, на вершине горы, словно сообщала всему миру, что получила эту гору в подарок, а своим жестом утверждала акт на право вечной собственности. Что имело кое-какие основания: мать была родом с Карпат, и на этой горе, несколькими сотнями метров ниже, стоял ее родной дом, который она покинула, отправившись учиться во Львов, где и познакомилась с отцом Миколы. Его портрет Микола положил у нее в ногах. В действительности же все было ровно наоборот.

Отцовские длинные руки и ноги редко помещались в кадр — фигуру Микола унаследовал от него. Казалось, что угрюмый даже в молодости взгляд отца обладает силой, способной взорвать стены и потолок мастерской; его портрет Микола тоже обложил фотографиями ребенка, строящего из себя идиота. Тогда гримасы были одной из немногих доступных ему форм протеста против безжалостных правил жизни: никаких прогулок во дворе с приятелями, только учеба и игра на фортепиано. Когда отца не было дома, за соблюдением правил следила забитая мать. Спустя годы Микола понял, что она жила как в тюрьме: задыхалась среди массивных зданий чужого города и в длинных магазинных очередях. Другая жизнь была доступна только на каникулах, когда они вдвоем отправлялись на электричке в Карпаты, в родное село матери, и с рюкзаками за спиной карабкались в гору, которую Микола тоже считал своей собственностью, хотя тому не было ни одного фотографического подтверждения.

На сей раз стук прозвучал ближе. Она была уже внизу, за дверью. Он вздохнул, потушил сигарету, пошел открывать. Она стояла, держа в руках поднос с тарелкой супа и толсто нарезанными кусками белого хлеба. Застиранное платье в цветочек и войлочные тапки резко контрастировали с акку-

ратной высокой прической. Под старость она еще больше округлилась, а в глазах взлелеяла новую, ненасытную жажду обладания – одной горы ей уже было мало.

– На Лычакове людей разогнали собаками, позапихивали в автозаки, – сказала она плаксивым голосом.

Он молча взял тарелку и захлопнул дверь перед ее носом.

Коллаж постепенно превращался в беспорядочный ворох – Миколе явно наскучило раскладывать фотографии, и он начал просто выбрасывать их из коробок: его сценографические работы, репетиции с актерами, крымские пейзажи и львовские старинные здания. Вдруг откуда-то выпала серия с тощим юношей в джинсах-колоколах, относящаяся к тому времени, когда он перестал спрашивать у отца разрешения выйти на улицу и целыми днями просиживал в мастерской Валерия Бортякова из Польского народного театра – делал наброски, резал стекло на витражи, помогал придумывать декорации.

На хаос, воцарившийся на столе, спокойно взирали с потолка пустые глазницы: висящую там гипсовую посмертную маску отца он про себя называл Всевидящим оком.

Ему вспомнилось сегодняшнее утро. Какой-то мужик фотографировал лежащую в открытом гробу Марианну. Это было нереально: на его глазах женщина, которую он любил, превращалась в памятник самой себе, в застывшую статую, лишенную интимности, к тому же завернутую в национальный флаг.

Увидев это, Микола испытал два противоречивых желания: лечь рядом с ней и бежать куда глаза глядят. Он был уверен, что она заслуживает памятника, но предпочел бы другой, невидимый для глаз, созданный из звуков, даже не столько памятник, сколько место, в котором вибрирует воздух, пронизанный спетыми ею ариями; едва закончившись, они начинались бы с начала, без устали, без пауз, без оваций. Мысль о невидимом надгробии немного его оживила, но внезапно ему подумалось, что раз уж ей пришлось уйти, она могла хотя бы оставить свой голос. Если б только каким-то чудом голос можно было спасти, он стал бы его хранителем, спрятал бы здесь, в своей мастерской, ведь, прикасаясь к Марианне, он пытался прикоснуться к ее голосу, обладая ею – обладать им. Фантазия понесла его еще дальше, он представил, как вбегает к ней домой, бросается к гробу и вырывает из когтей небытия эту уникальную драгоценность, прячет голос под плащ, мчится к себе, избегая милиционеров и патриотов, а затем навсегда запирается с ним в подвале: выясняется, что он извращенец, которому достаточно частички любимой женщины.

В комнату ворвался ветер и сбросил часть фотографий на пол. Они лежали бесформенной грудой, как сваленные в ку-

чу ненужные вещи, — это лишь сильней напоминало о теле в открытом гробу и фотографе, пытающемся запечатлеть то, что и так уже было застывшим и недвижным. Еще он вспоминал, как твердели под его ладонью соски Марианны, и подумал, что смерть — любовник без тормозов и без жалости.

Еще одна сигарета выкурена до фильтра, еще один окурок вырос на клумбе пепельницы. Микола собрал все фотографии со стола и пола, сложил их в мешок, а пустые коробки поставил обратно на полку. Пересчитал: десять коробок, в каждой около ста фотографий. Десять коробок, тысяча фотографий, вся его прежняя жизнь. Еще одну коробку, одиннадцатую, он не тронул: там лежали не фотографии, а старинные фотопластинки. Он нашел их давным-давно на чердаке, они были частью его легенды, о которой он так и не успел рассказать Марианне. Затем он взял мешок, вынес его во двор, высыпал содержимое в ржавый мусорный бак и поджег.

Маленький мусорный костер стал сенсацией для соседок со второго этажа, которых Микола не замечал. Они распластали свои груди на стертых балюстрадах балконов и смотрели на него с безмолвным осуждением. Он стоял спиной к ним, а лицом к баку, из которого рвались вверх полосы темного дыма, и думал о том, что ни разу не сфотографировал Марианну.

Двери

Каждый вечер Прабабка запирала входную дверь согласно ею же придуманному замысловатому ритуалу, словно верила, что дверь сможет защитить нас от непрошеных гостей. Тех самых, что явились в тридцать седьмом и навсегда забрали с собой ее мужа. Сама она к этой истории не возвращалась, зато Аба вспоминала регулярно:

— Вечером позвонили в дверь, папа сказал, что это ошибка, что он сейчас вернется, поцеловал меня на прощание и ушел с этими незнакомцами. Больше я его не видела.

Это случилось в Ленинграде, где Аба с Прабабкой жили до войны. Стоит ли удивляться, что уже с раннего детства я боялась неожиданных звонков в дверь.

Сначала Прабабка всегда проверяла, плотно ли закрыта первая дверь, выкрашенная в темный цвет, затем два раза поворачивала ключ в замке, навешивала толстую металлическую цепочку и припечатывала все второй, белой дверью, которую тоже запирала, только уже другим ключом. Снаружи эту конструкцию было не открыть, что страшно нервирова-

ло Маму, которая частенько возвращалась поздно, и ей приходилось либо будить весь дом, либо позволить Прабабке часами караулить ее возвращения.

У каждой из нас был свой набор ключей: длинный и тонкий ключ пел фальцетом и открывал темную дверь, короткий с необычным круглым кончиком вздыхал басом и отвечал за дверь в подъезд, плоский современный подходил к почтовому ящику и явно не мог выдавить из себя ни звука. Ключ от белой двери был только у Прабабки, и никто не знал, где она его прячет днем.

Эти двери стали причиной моих мучений. Запертые на все засовы, они лишь усиливали чувство неуверенности, как внутри осажденной крепости; а закрытые лишь на один замок вселяли ужас — казалось, к нам вот-вот вторгнутся чужаки, чтобы уничтожить наш мир.

Первая, темная, дверь была легкая. Иногда я хлопала ею со всей силы, чтобы выразить обуревавшие меня изо дня в день чувства: Аба требовала одеться потеплее, перед тем как выйти на улицу. В темной двери был глазок — круглое обычное стеклышко, изнутри закрытое кусочком потрепанного картона. Прабабка и тут усматривала опасность: во-первых, когда в квартире приподнимали картонную заслонку, человек с той стороны двери замечал, что его видят, то есть понимал, что дома кто-то есть, а во-вторых, по мнению Прабабки, через глазок он мог атаковать.

— Сначала сделай маленькую щелочку и убедись: свой или чужой, — наставляла она меня. — Чужой может всунуть железный прут, разбить стекло, и ты останешься без глаза!

Чужой всегда был мужчиной.

Если кто-то звонил в домофон, нужно было выйти на балкон и посмотреть, кто стоит у входной двери, а если это был кто-то незнакомый, крикнуть:

— Вы к кому?

Это была мера устрашения: стоявший внизу не сразу понимал, откуда доносится голос, терялся и, будто слепец, озирался в поисках источника звука. Наше этажное преимущество позволяло немедленно отбить атаку:

— Здесь таких нет!

Ошибки случались часто и очень тревожили Абу и Прабабку. Допустим, кто-то искал Павла Ивановича Петрова. Вроде ничего особенного, но в их голосах сразу же появлялось напряжение. Они долго обсуждали, кто приходил и что все это предвещает. Ясное дело, ничего хорошего.

Мы жили в самом центре города, и к нам не раз ломились ночью. Неожиданный звонок в дверь, когда все уже лежали в

постели, звучал, как ангельские трубы, возвещающие Судный день. Он будто ножом отделял мягкое домашнее прошлое от непредвиденного настоящего — это могли быть *они*, а *они* обладали абсолютной властью над людьми, *им* дозволялось все: похищать, убивать, пытать. Слуги тьмы были непременно одеты в черное.

Ночная, белая, дверь была исполнена печали и меланхолии. Она тяжело поворачивалась на петлях и глухо скрипела, глазка в ней не было, а длинный ключ с трудом ворочался в замке. Если, встав ночью, я видела, что белая дверь заперта, меня охватывало отчаяние и клаустрофобия. Однородная дверная поверхность ассоциировалась у меня с русским словом *глухомань* — в белой двери таилась бескрайняя Сибирь, долгие каторжные этапы, бесконечная снежная равнина, звяканье кандалов.

Как я уже говорила, между темной и светлой дверью была еще цепочка. Днем ее использовали, когда нужно было проветрить нашу жалкую кухню без окна. Щель пропускала звуки и воздух, но не людей: идеальная иллюстрация подвешенного состояния, пребывания здесь и там одновременно. Я ждала случая покончить с этой неопределенностью и либо распахивала дверь настежь якобы для того, чтобы лучше проветривалось, либо захлопывала под предлогом, что мне холодно. Какое же это было наслаждение — самовольно открывать и закрывать дверь! Какая сладкая иллюзия власти! Когда я ее открывала, в зеркале, висящем в прихожей, отражался витраж с лестничной клетки, и кухня начинала пахнуть не вареной морковкой, а лесом. Стоило же двери захлопнуться, как ко мне на мгновение возвращалась детская вера в то, что дома мы в безопасности.

Прабабка цепочке не доверяла. Когда цепочка натягивалась, отделяя нас от внешнего мира, велела прислушиваться, не приближается ли кто-нибудь к двери, намереваясь перерезать цепочку специальными ножницами по металлу.

Действительно порой слышались быстрые шаги по лестнице, и кто-то появлялся по ту сторону — в щель проскальзывали два гибких пальца, они шарили в поисках заблокированного конца цепочки, один палец пытался его ухватить, а я, вместо того чтобы протянуть руку и помочь изнутри, мысленно им сочувствуя, пассивно за этим наблюдала. Пальцы продолжали сражаться с металлом, я начинала приплясывать от волнения, пока не наступала развязка: пальцы сбрасывали металлические путы, укрощенная цепочка ударялась о дерево, дверь распахивалась настежь, и в квартиру входила богиня — легкая, звонкая и бойкая Мама.

Дверной ритуал не менялся годами, но чем громче Советский Союз трещал по швам, тем больше души вкладывала в свой ритуал Прабабка. Она никогда не говорила об этом вслух, но, сдается мне, не была сторонницей советской системы, хотя и не поддерживала желающих ее свергнуть. Скорее всего, она принадлежала к числу тех, кто понимал, с каким режимом имеет дело, лишь когда тот заглядывал к ним в окно. Режим, заглянувший к Прабабке в тридцать седьмом, травмировал ее на всю жизнь. Чем чаще львовяне выходили на улицы, чем громче говорили о вещах, прежде окутанных молчанием, тем тщательнее она проверяла по вечерам, надежно ли заперта наша входная дверь.

Когда примерно за год до смерти Мама неожиданно перешла с русского на украинский, обряд запирания дверей обогатился новым элементом. Завершив привычную церемонию, Прабабка подперла дверь плетеной корзиной с грязным бельем и впредь делала так всегда. С той поры она все чаще говорила о *бандеровцах*. Когда мы оставались с ней вдвоем, рассказывала, что они обстреливали вагон, в котором она ехала в сорок четвертом году во Львов, и что она их очень боялась — почти так же, как немцев. Сейчас Прабабка испытывала нечто подобное: они вновь подбирались к ее вагону, но, высунувшись из окна, она видела, что отряд повстанцев возглавляет ее собственная внучка. Моя Мама. Та, с которой она не разговаривала уже много лет. Та, которая вопреки ее воле стала певицей и вопреки ее представлениям о жизни боролась за независимость Украины. Корзина с грязным бельем стала очередным этажом баррикады, которую они годами сооружали между собой.

Примерно тогда же Прабабка приобрела привычку запугивать меня лингвистически. Она ждала в прихожей, перегораживая мне путь собственным телом.

— Нигде не говори громко по-русски! — поучала она. — Оглянуться не успеешь, как тебя затащат в подворотню и убьют!

В другой раз она спросила, знаю ли я наизусть “Завещание”[1] Шевченко.

— Они хватают женщин и детей, тащат в укромное место и там велят читать его по памяти. Ошибешься — изнасилуют и убьют.

Я не боялась — я не представляла себе уличного экзамена на знание литературы, не верила, что поэзия может быть связана с насилием.

1. Одно из самых известных стихотворений украинского поэта Тараса Шевченко (1814–1861).

Вечером того же дня, когда тело Мамы, завернутое в сине-желтый флаг, принесли домой, Прабабка впервые отказалась от ритуала запирания дверей, она даже не закрыла их как следует. Это была своего рода капитуляция: Прабабка так старалась, а *они* снова пришли и разрушили ее мир. Маму положили в средней комнате на столе, по краям зажгли длинные свечи. Капли горячего воска оставили на дубовом паркете светлые следы. Гораздо позже я узнала, что Абе пришлось давать взятки, чтобы не производили вскрытие и не оставляли тело в морге; это удалось благодаря ее связям в медицинском мире, ведь она сама была когда-то известным врачом.

И все-таки невмешательство КГБ Абу удивило. Можно было подумать, что теперь *они* пытаются стереть, оболгать или затушевать смерть, в которой сами были виновны. Тот выстрел, как ни крути, казался недоразумением: мало того что случайный, так еще и прогремел во Львове набатным колоколом, приказывающим выйти на улицу даже тем малодушным, кто до сих пор этого сделать не решался. Ничего лучше Мама и желать не могла (чего не скажешь об Абе, Прабабке и обо мне). В первые дни после выстрела все говорили об обстоятельствах этой смерти: о нелегальной демонстрации неподалеку от Клумбы[1], во время которой прозвучало требование провести свободные выборы, о снайпере, притаившемся на крыше близлежащего дома, в котором до войны находилось прекрасное кафе “Венское”. Многие считали, что снайпер получил приказ стрелять в Черновола, но Марианна так энергично передвигалась по кузову грузовой машины, служившей трибуной, что заслонила диссидента собственным телом. Оружие использовалось пневматическое, поэтому никто не слышал выстрела, и, лишь заметив кровавое пятно, расцветающее на бежевом платье певицы, часть людей ударилась в бегство. Вячеслав Максимович не прервал митинг. Он привык к смерти, но это была не душевная черствость, а выработанное за долгие годы, проведенные в лагерях, непоколебимое мужество (бывшие солагерники даже называли его мужество патологическим). В толпе нашелся врач, Черновол доверил Марианну ему и продолжил собрание. Его пытались заслонить и даже стащить с грузовика. Но выстрелов больше не было — никто до сих пор не знает почему. Так или иначе, в тот день Черновол получил от Мамы в подарок до-

1. Клумбой во Львове рубежа 1980—1990-х называли площадь в центре города, место неофициальных политических встреч (другое название: львовский Гайд-парк). Позже там поставили памятник Тарасу Шевченко. (*Прим. автора.*)

полнительные десять лет жизни. Думаю, он вспомнил об этом в девяносто девятом, когда на бориспольской трассе в его машину врезался грузовик.

Другие тоже помнили, но недолго. В первые дни люди говорили и кричали, звонили и приходили к нам домой — меня это так раздражало, что я каменела от бешенства, смешанного с беспомощностью, и, даже спустя годы, стоило мне увидеть, как с оплывающей свечи воск капает на пол, это состояние возвращалось. Хоронить принято на третий день, но похороны Мамы удалось устроить на следующий день, и даже — о чудо! — никто не препятствовал, когда Аба выбивала место на Лычаковском кладбище, главном некрополе Львова. В восьмидесятые там еще можно было хоронить умерших, но уже тогда требовалось множество специальных разрешений, которые Абе удалось раздобыть в два счета. Конечно, манифестацию, в которую переросли похороны, жестоко разогнали; конечно, кто-то от *них* пришел к директору Оперы, чтобы терзать его расспросами о Марианне; конечно, в последующие месяцы кто-то регулярно убирал толстый слой искусственных цветов, которыми каждый день обрастала могила. Последнее меня даже радовало. Одеяло из пластиковых нарциссов оскорбляло мой вкус и, казалось, еще больше отделяло меня от Мамы. Потом от цветов отстали, и они навсегда приросли к каменной плите. Осень прикрыла их ковром из листьев.

С самого первого дня Аба ждала, что ее вызовут *куда следует.* Позже она рассказала мне, что представляла себе это десятки тысяч раз. Эта мысль преследовала ее с раннего детства: когда Абе было семь лет и она жила в Ленинграде, убили ее отца, когда ей было почти шестьдесят и она жила во Львове, убили ее дочь. Между первым и вторым происшествием она не переставала *их* ненавидеть и более-менее открыто это демонстрировать. Оказавшись в сорок четвертом году во Львове, она решила сама стать ячейкой движения сопротивления: сама делала и подбрасывала в почтовые ящики листовки, в которых было написано, что Сталин — преступник. Я до сих пор не понимаю, почему ее не посадили. По-моему, единственное объяснение — особая защита небесных покровителей. В *Сером доме* на улице Дзержинского она побывала лишь раз, вскоре после смерти Сталина: Аба засыпала *их* официальными запросами о судьбе своего отца. Отправляясь *туда*, она стерла со своего лица ненависть, заново загрунтовала его, словно холст, нарисовала другое выражение — все для того, чтобы вырвать из *них* хоть какую-то информацию. *Там* ее принял майор с циничной ус-

мешкой. У него было личное дело Абиного отца, но, несмотря на ее мольбы, ей в руки он дело не дал. Загадочно сообщил, что отец умер *где-то на севере*. Добавил, что на ней больше нет клейма дочери врага народа — жертв сталинского террора реабилитировали. Она по-прежнему не знала ни даты, ни места смерти отца — *они* делали все, чтобы люди годами жили в тени своих словно наполовину убитых близких.

С Мамой все было иначе: ее смерть всосала в себя пустота, она провалилась в щель между эпохами. На сей раз Абу никуда не вызывали — у *них* внезапно появились другие срочные дела.

После того выстрела время потекло иначе. Это сложно описать: оно то мчалось бешеным галопом, то замирало, а то и вовсе исчезало. В Государственном музее в Амстердаме есть удивительные часы: за матовым стеклом циферблата появляется мужчина, стирает минутную стрелку, рисует ее на новом месте, уходит, а через минуту возвращается и повторяет все сначала. Порой я пытаюсь себе представить, как эти амстердамские часы могли бы выглядеть в описываемые мной дни. Наверное, тогда человек рисовал бы минутные стрелки, не стирая предыдущих, а когда циферблат стал бы похож на солнце с шестьюдесятью лучами, забросил бы свою работу и уснул где-нибудь в углу. Современность становилась мягкая и теплая — ее каменные опоры таяли словно воск. Прошлое переписывали заново — что ни день вскрывались новые случаи лжи, на которых держалась прежняя система. Казалось, что будущее, свежее и совсем другое, находится на расстоянии вытянутой руки — как будто мы плывем на корабле, с палубы которого отчетливо виден чудесный остров, и уже можно различить растущие на нем цветы. На этой новой земле все должно было быть прекрасно! А как же иначе, если зло побеждено, кандалы сорваны, а ворота тюрьмы распахнуты настежь? И так мы дрейфовали по этой акватории между скалами двух эпох, и даже я поддалась всеобщему экстазу, поскольку смотрела на новое будущее так, как смотрела бы Мама, чьи надежды сбывались на наших глазах. “Карнавал” бушевал и за окном, и на экране телевизора: последние советские танки покидали Афганистан. Пала Берлинская стена — под звуки виолончели Мстислава Ростроповича. Поляки провели первые свободные выборы. Румыны убили диктатора Чаушеску. Литва провозгласила суверенитет. Российские города начали избавляться от своих советских названий.

В середине июля восемьдесят восьмого года в Вячеслава Черновола стреляли как во врага режима, в начале сентября

он создал “Народный рух Украины” — первую партию, альтернативную “единой руководящей”, а в апреле девяностого года его избрали главой Львовского областного совета. Он занял здание, куда раньше его вызывали на неприятные беседы, а теперь ждали с хлебом-солью учительницы и стайки детей в вышитых сорочках.

Они тоже почуяли смену ритма времени. Скорее всего, приказ стрелять в Черновола отдал какой-нибудь оторвавшийся от реальности коммуняка, ослепленный мечтами о собственной власти. Остальные были заняты делами поважнее — жгли архивы, готовились к бегству или смене окраски, разрабатывали план приватизации предприятий. Никто не мешал съемочным группам разнести по стране эхо смерти львовской певицы: сначала в Москву, а оттуда во все уголки империи. Она стала главной новостью — всего на один день. Назавтра в Опере решили, что Мамы не существовало: мало кто из ее коллег пришел на похороны, ее роли моментально отдали другим, а фамилию убрали с афиш — что с того, что толпы на улицах скандировали ее имя?

Я взбунтовалась. Писала письма в журналы и директору оперного театра. Устраивала в школе прослушивание кассет, с которых звучал голос Мамы. Грубила школьному историку-коммунисту, позволявшему себе язвительные замечания по поводу ее гибели. Носила ее одежду и приводила в порядок бумаги; устроила у нее в комнате что-то вроде музея со всеми ее любимыми вещами на своих местах. Борьба за память о ее жизни поглотила меня целиком и помогла пережить первые, страшные, годы без нее. Но и это должно было когда-нибудь закончиться — корабль плыл дальше.

Наступили девяностые: начался голод, холод и плановые отключения электричества. Я выросла, и все украинское начало казаться мне отсталым, грязным и не моим. Я заглушила в памяти тот и без того беззвучный выстрел, а заодно все оперные арии — я не знала, как освободиться от вопроса, погибла ли Мама за правое дело. Я поселилась в ее комнате, а вместо портрета Саломеи Крушельницкой повесила Фредди Меркьюри и Иисуса Христа.

В первые годы после выстрела Прабабка перестала соблюдать ритуал запирания дверей. Мы ложились в постель без дополнительных мер безопасности, а я находила в этом определенное облегчение: худшее уже произошло, пока можно ничего не бояться. Спустя некоторое время все началось с начала: дверь темная, цепочка, дверь светлая. Может быть, Прабабка делала это ради меня. Правда, уже не подпирала дверь корзиной. В ветхой плетеной корзине для белья появи-

лось столько дыр, что ее уже нельзя было двигать туда-сюда — она наверняка бы рассыпалась в труху.

Дом

Ее кожух был похож на шкуру животного, волосы наглухо убраны под платок. У нее не было ни имени, ни фамилии, ни адреса, время от времени она появлялась в нашей полутемной прихожей, оставляя мокрые следы от резиновых сапог. Снимала со спины грязную простыню, разворачивала на столе:

— *Свіженьке телятко, беріть, пані!*

Посреди простыни лежало мясо: отрубленные куски, покрытые белым снежком жира, с шерстью и следами крови.

— *Щойно сьогодні зрання забила телятко, беріть, панюсю!*

Я помню свое удивление, когда Аба назвала ее молодой женщиной. Это не могло быть правдой, она была вне пола, вне возраста, вне городского мира, в котором ездят на трамваях, покупают пирожные в кондитерской, выгуливают собачек на поводке.

— *Свіженьке, пані, дешево даю!*

Я смотрела на разложенное на простыне нечто, что еще утром было живым, и представляла себе, как она приближается к нему с заточенным топором.

— *Свіже, панюсю!*

Бах, бах! — льется кровь, теленок валится на землю, она рубит его на части, завязывает в простыню и спешит на пригородную электричку. Никто не останавливает ее по дороге, не проверяет документы, за ней по земле тянется коричневатая струйка.

Аба упорно торговалась:

— *Давайте трошки дешевше, пані!*

И перекладывала куски мяса с простыни на кухонные весы, спокойно, без отвращения, осматривала их со всех сторон.

Я думала о ножках убитого теленка, которые уже никогда не будут бегать. На пришелице были толстые шерстяные носки. В городе такие носили только дети — еще одно подтверждение тому, что она не может быть женщиной.

Наконец они договаривались о цене, части животного расставались навсегда: небольшие куски отправлялись в наш холодильник, остальные назад в простыню. Наступало время обмена вежливостями.

— Муж? Дети? Мама? Посеяли? Взошло?

— *Добре! Добре! Добре!* — отвечала баба, грустно вздыхая, как будто на самом деле говорила: — *Погано! Погано! Погано!*

Она никогда не снимала кожух, никогда не покидала пределы темной прихожей.

"Бах, бах топором", — думала я и, хотя она уже ушла, слышала голос:

— *Телятко свіже, хороше, щойно сьогодні зарубала.*

Картина из Прабабкиной комнаты: темное лицо с текущими по нему струйками крови.

— Его убили плохие люди, они проткнули ему ладони острыми гвоздями.

Когда? Как? За что? Неизвестно. Мне не разрешалось слушать Прабабку и смотреть на картину, потому что картина была плохая. Баба с мясом плохой не была.

В комнате Прабабки почти никогда не открывали окон и не проветривали. На незастеленной кровати лежали скомканные, желтые от грязи простыни, а рядом стоял эмалированный горшок с крышкой. С утра до ночи Прабабка не снимала халата и редко выходила из дому. Как новогодняя елка гирляндами, она была увешана складками белой сморщенной приятной на ощупь кожи. На голове кожа была упругая и розовая, покрытая редеющими белыми волосами, подстриженными "под пажа". Глаза, искаженные темными стеклами очков, походили на двух улиток, присосавшихся к стеклу аквариума.

Я приходила поиграть на пианино, но сначала должна была послушать про Бога с картины: зеленое лицо, длинные волосы, венок из сучков на голове.

— Очень было Боженьке больно, когда плохие люди проткнули ему ладони. Кровь брызгала во все стороны. А они все вбивали и вбивали ему в руки гвозди.

Прабабка легонько припирала меня к стене, а я смотрела на два темных зуба — единственные, оставшиеся в ее верхней челюсти. О Боге она всегда говорила по-польски.

— Они надели ему на голову венец из острых шипов, нанесли страшные раны. Кровь текла, заливая ему глаза.

— Бога нет. Гагарин был в космосе и проверил.

— Он покарал тех, кто проверял! Наслал на них страшные несчастья, болезни, увечья.

Говоря это, она снимала эмалированную крышку горшка, приподнимала полы халата и писала стоя. Трусов на ней не было, я видела теплый вонючий пушок, прячущийся между ее морщинистыми ногами.

— Хочешь поиграть, детка?

Я открывала черно-белые зубы клавиш. Инструмент был расстроен, а я не знала нот. Прабабка садилась на кровать, и на лице у нее появлялось сладкое выражение, которое в любой момент могло утонуть в слезах умиления. Иногда она бра-

ла со стола обычный кухонный нож и с наслаждением чесала им спину.

Мне запрещалось ходить к Прабабке, но, если Мамы не было дома, Аба делала вид, что не знает, где я.

Это Аба нарисовала портрет Иисуса в терновом венце: она придумала кровь и зеленые волосы, а еще приоткрытые губы, за которыми виднелась щель между передними зубами. Она нарисовала еще много других картин, висевших у нас дома.

— Когда я умру, отнесите их все в подвал, — говаривала она, когда у нее было плохое настроение. Смерть я представляла себе подвалом, полным картин.

Еще Аба коллекционировала альбомы по искусству. В каком-то из них я увидела женщину в темно-синем платье, одна ее ладонь была в пять раз больше другой.

— Почему эта рука такая большая?

— Такой ее увидел художник. Художники видят мир иначе, чем обычные люди.

— А я тоже стану художницей?

— Ты станешь, кем захочешь! — воскликнула Аба, и глаза ее потемнели от гнева.

Она мечтала стать художницей, но Прабабка не позволила. Это выглядело примерно так:

— Мама, я подала документы в Академию искусств, на факультет графики.

— И речи быть не может.

— Мама, я это уже сделала.

— Ну так пойди и забери.

— Мама, я художник. Это мое призвание.

— У тебя нет таланта, ты будешь прозябать в нищете.

— Мама...

— Не будем больше об этом, дорогая. Вспомни, как во время войны я отдавала тебе последний кусок хлеба.

В соответствии с планом Прабабки Аба стала врачом. Вскоре у нее обнаружилась неизлечимая болезнь суставов, которая заключалась в том, что каждое движение причиняло ей боль, похожую на уколы сотнями острых лезвий. Руки у Абы, как у женщины из альбома, были непропорционально большими и опухшими, тем не менее, она делала ими все: резала овощи и мясо, стирала белье, драила полы. Ее лицо было соткано из теплого и прозрачного материала, ее черты не поддавались описанию, а над головой и днем, и ночью светился чуть поношенный нимб. А вот тело Абы я помню хорошо — тяжелое и неуклюжее, оно было сработано грубо, как все советские устройства, то и дело выходившие из строя. Она говорила по-русски, но часто повторяла:

— Я полька до мозга костей.

При этом ее глаза всегда наполнялись слезами, так что я начала думать, будто польскость — это что-то вроде неизлечимой болезни, от которой пока не придумали лекарства.

Поляком был Тадеуш Костюшко с картины, которая висела над Абиной кроватью — он вел куда-то своих косиньеров, крестьян, вооруженных боевыми косами[1]. Поляками были элегантные мужчины в шляпах, целовавшие руку даже такой девчонке, как Аба, когда в сорок четвертом она оказалась во Львове и, наконец, почувствовала себя дома, потому что в Польше. Однако в последующие годы Польша вместе со своими элегантными мужчинами исчезла из Львова. Куда? Куда-то далеко, за границу. Почему? Неизвестно. Аба осталась, потому что Польша ее с собой не взяла.

— Если бы я уехала, не было бы ни твоей мамы, ни тебя, — утешала она саму себя. — Или же вы были бы не вы, а совсем другие.

Когда Мама выросла, она решила стать певицей, но и ей пришлось нелегко. Выглядело это примерно так:

— Бабушка, я хочу поступать в консерваторию.

— И речи быть не может.

— Бабушка, я уже подала документы.

— Ну так пойди и забери.

— Бабушка, я певица. Это мое призвание.

— У тебя нет таланта, ты будешь прозябать в нищете.

— Бабушка...

— Не будем больше об этом, дорогая. Я посвятила тебе всю свою жизнь, где твоя благодарность?

— Я буду певицей, даже если ты умрешь.

В ответ Прабабка распахнула окно и начала верещать тонким пронзительным голоском:

— Люди! Спасите! Милиция! Убивают!

Но на ее вопли никто не ответил. Мама настояла на своем, поступила в консерваторию и перестала с Прабабкой разговаривать.

Когда мы с Абой шли на премьеру в театр, я часто размышляла о самоубийстве. Кто-то сказал мне, что архитектор Зигмунт Горголевский[2] покончил с собой после того, как построенное по его проекту здание Большого городского

1. Картина Яна Матейко “Битва под Рацлавицами”.
2. Зигмунт Горголевский (1845—1903) — польский архитектор, создатель Львовского национального академического театра оперы и балета им. С. А. Крушельницкой (до 1939 г. — Большой городской театр).

театра осело и потрескалось. “А не было ли это, случайно, наказанием за то, что Горголевский упрятал под землю реку Полтву?” — думала я, проходя по аллее, украшенной светящимися гвоздиками, символом Октябрьской революции. Когда-то река текла именно здесь, а он надел на нее каменный корсет из плит. В упрятанную под землю реку начали спускать нечистоты, так что труп Полтвы постоянно смердел. “Красота требует жертв”, — повторяла Аба, больно заплетая мне косички. Была ли Опера той Красотой, что погубила Зигмунта Горголевского, который до этого погубил Полтву?

На сцене Мама была гораздо больше, чем в жизни, и, если честно, не была Мамой. Я закрывала глаза, чтобы не видеть ее костюмной искусственности, сжимала руками грудную клетку — ее голос раздирал меня изнутри. Дома Мама не пела оперных арий, поэтому на каждом спектакле я заново открывала этот ее другой голос. Он пронзал меня, невзирая на щит из пальцев, наводил на мысль о сиренах, которые своим пением завлекали моряков на острые скалы. Зрительный зал был кораблем, сцена — островом сирен, я направлялась прямо на камни, спрятанные в оркестровой яме, мощное вибрато набирало темп, а я не могла сопротивляться. Предчувствие катастрофы было сладким на вкус, как красные барбариски, которые я сосала втайне от всех и которые своими острыми краями царапали мне язык и нёбо. Когда корабль был в метре от гибели, я быстрым незаметным движением затыкала уши, после чего открывала глаза и начинала разглядывать бордовый бархат на подлокотниках кресла.

После спектакля Мама крутилась на кресле в гримерной, смывая грим, надевала мне на голову диадему Аиды или парик Кармен. Вне сцены голос у нее тоже был громкий. Ее короткие светлые вьющиеся волосы не ниспадали вниз, а тянули голову вверх, так что казалось, будто Мама умеет парить над землей, и я думала, что, когда я ее не вижу, она живет во дворце из облаков и льда, как тот, в котором жила Снежная Королева.

— Я сегодня хорошо пела? — спрашивала она.

В ответ я делала вид, будто я гораздо младше, чем на самом деле: гримасничала, кусала воротник блузки. Тогда она брезгливо от меня отворачивалась и задавала тот же вопрос Абе:

— Превосходно, Марианна, — отвечала та. — Идеально. Безупречно.

Я бы тоже хотела выпрямиться и сказать с достоинством:

— Превосходно. Идеально. Безупречно.

Но это было невозможно. Уже давно выяснилось, что у меня нет слуха — абсолютно и без малейшей надежды на пе-

ремены к лучшему. Из-за этого пианино перенесли в комнату Прабабки — туда, куда мне заходить не разрешалось. Пришлось, как Полтве, уйти со своим бренчанием в подполье. Я была недостойна Оперы, недостойна премьер, недостойна Мамы. Мне хотелось домой.

Топография нашей квартиры была установлена раз и навсегда: как моря, горы и пустыни не меняют своих мест на карте, так и у нас в квартире расстановка мебели и домашней утвари не подлежала изменению. Стабильность предметов, судя по всему, была ответом на непостоянство людских судеб. Мужа моей прабабушки, то есть моего прадедушку, арестовали в 1937 году в Ленинграде во время "польской операции"[1], после чего он безвозвратно исчез. Муж моей бабушки (и мой дедушка) в чине офицера Красной армии прошел всю войну и дошел до Берлина, а в середине шестидесятых умер от того, что мы сегодня назвали бы затяжной депрессией в сочетании с циррозом печени. Что же касается моего отца, то я вообще сомневалась в его существовании.

Я была плодом непродолжительного "поэтического" романа, имевшего место летом 1975 года. Первого июня мои родители — Мама была студенткой последнего курса вокального факультета, отец — молодым архитектором из Москвы — познакомились на вечеринке, а затем целый месяц каждую ночь читали друг другу по памяти стихи поэтов Серебряного века. Мама лучше всего знала Цветаеву, отец решительно предпочитал Блока. Легенда гласит, что они не пропустили ни одной ночи. Не знаю, приходилось ли им днем срочно учить новые произведения или же поэтического запаса хватило и без того. Все-таки чтобы продержаться целых тридцать ночей, нужно помнить довольно много стихов. Я даже не знаю, написали ли вообще столько Цветаева и Блок. В то лето Аба с Прабабкой отдыхали на Черном море, благодаря чему поэтический марафон, которому я обязана жизнью, проходил в нашей квартире.

В последний раз мои родители встретились тридцатого июня на перроне железнодорожного вокзала. Поезд "Львов—Москва" сотрясался от действий проверяющего состояние вагонов обходчика, оплодотворенная яйцеклетка вибрировала в моей матери, мой отец дрожал от эмоций. Прощались они словами Маяковского:

1. Репрессии в отношении поляков, пик которых пришелся на 1937—1938 гг. Самая массовая из всех "национальных операций" НКВД по числу жертв (свыше 100 000 человек).

— Послушайте! Ведь, если звезды зажигают...

— ...значит — это кому-нибудь нужно? — спросила Мама.

— Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? — крикнул в ответ отец, а локомотив медленно тронулся. Больше они не виделись.

Я впервые дала о себе знать накануне выпускного экзамена: Мама гладила белую нейлоновую блузку, а мир кружился у нее перед глазами. Жуткий токсикоз поначалу приняли за отравление, а потом еще долго считали, что это проявление других хронических заболеваний.

От меня легко можно было избавиться, но Мама уперлась. Аргументы о загубленной жизни на самом взлете на нее не подействовали. Моему отцу она ничего не сообщила. Позже она объяснила, что не хотела, чтобы в их поэзию вмешалась проза. А если уж Мама что-то решала, то стояла на своем, как скала.

И вот когда снег растаял, а на улицах города появились бабы, прикрывающие ладонями головки запрещенных к продаже крокусов, меня принесли домой. По семейной легенде это был первый настоящий весенний день, разлив тепла и света. Как будто солнце ввалилось в квартиру с инспекцией, готовое осветить каждое, даже самое незаметное пятнышко на оконных стеклах, которые к моему прибытию были безукоризненно вымыты. В отличие от витража в нашем подъезде — ему пришлось ждать много лет, прежде чем кто-то явился с тряпкой и тщательно его отмыл.

Гораздо позже я узнала, что не в каждом старом доме прячется витраж, а если и есть такой, то размером поменьше. Наш занимал всю лестничную клетку. Он, словно занавес, отделял нутро дома от двора, тянулся через все этажи сверху вниз, а может, наоборот — снизу вверх. Мы жили на втором этаже и достаточно было открыть дверь, чтобы увидеть его центральную часть: остатки бронзово-огненного подземелья, из которого вырастал длинный одинокий ствол дерева, рассекающий пополам бирюзовое озеро. Соседи, живущие над нами, видели противоположный берег, на котором возвышались зеленые горы, поросшие голубыми елочками. С чердака же было видно, как горы переходят в белые и лиловые облака. Соседка снизу, сумасшедшая Люба, не видела ничего — самая нижняя часть витража уже давно исчезла, а вместо нее вставили прозрачные стекла, обнажающие наш тесный двор-колодец. С этой перспективы смотрела на витраж дворничиха и ее многочисленные дети. Каждое утро кто-то из них появлялся возле канализационной решетки с большим ведром, а опорожнив его, долго стоял, подняв глаза на изнанку витража. Она была серая и вздувшаяся.

— У них дома нет удобств, — говорила Аба тоном, в котором звучало скорее осуждение, чем сочувствие.

Витраж I

Со времен детства я Миколу не помнила, поэтому день мытья витража считаю днем нашей первой встречи. Она состоялась однажды осенью в конце девяностых. Предвестниками были незваные гости на нашей лестнице.

Они появлялись ночью, несмотря на новый кодовый замок в двери подъезда, — видимо, комбинация цифр была им известна. Пили бесцветную жидкость, после них на лестнице валялись смятые пластиковые бутылки и бычки, докуренные до самого фильтра. Иногда было слышно, как они играют на гитаре что-то из “Нирваны”. Мочились они по углам двора. При появлении Любы с метлой убегали. Время от времени Люба отправлялась сообщить про них в отделение милиции на другой стороне улицы.

— Гадят! — кричала она. — Наркоманы! Антисоциальный элемент!

Стражи порядка в мятых голубых рубашках с криво пришитыми погонами стояли под нашим балконом во время бесконечных перекуров. У них были грустные лица пастухов, вырванных из родных Карпат, они поддакивали Любе, сплевывали и втаптывали в землю окурки от точно таких же сигарет, как у ночных пришельцев. У них были свои причины бездействовать.

После каждого ночного визита из витража исчезало стеклышко, а то и два.

“Варвары, — негодовала я. — Распихивают произведение искусства по своим дырявым карманам. Только ради забавы. Скоро всё унесут, и что мы тогда будем делать?”

Как-то раз Аба вышла к ним ночью в одном халате.

— Шедевр! — долетали до меня отдельные слова. — Уникальный! Ему сто лет! Уже не вернуть!

Молодые люди, точь-в-точь как милиционеры, кивали с тоскливым равнодушием, но после той ночи стеклышки исчезать перестали — компания перебралась в другое место. Правда, ощущение опасности никуда не делось и по-прежнему выглядывало из зияющих отверстий в витраже.

Через несколько месяцев в дом зачастили новые гости. Эти уже приходили днем. У них были с собой фотоаппараты, они делали снимки, измеряли витраж и что-то чертили на ватманах, разложенных на подоконнике. Их я бояла ь больше, чем предыдущих. Они были похожи на ученых, и ничего

хорошего это не предвещало. “Они выбили себе в горсовете липовое разрешение на демонтаж витража, — ужасалась я, — теперь заберут его в какой-нибудь музей в Киеве, витраж во время перевозки рассыплется, а потом развалится весь дом — разве можно жить после операции по удалению сердца?” Люба следила за новыми пришельцами безучастно, поскольку те не мусорили.

— А у вас есть разрешение на экспертизу? — не выдержала как-то раз Аба.

Ей ответил высокий мужчина средних лет, с виду среди них главный. У него был тихий голос, я его едва слышала, хотя всем телом прильнула к двери, всматриваясь в глазок.

— Не беспокойтесь. Мы документируем витраж по заказу кафедры стекла Львовской академии искусств. Регистрируем каждый фрагмент. Хотим успеть, пока не слишком поздно.

Слишком поздно? Да как он смеет такое говорить?

— Я вас не узнала, здравствуйте! — Аба внезапно сменила тон.

Я взглянула на него внимательнее: высокий, длинноволосый. Интересно, почему у меня нет таких преподавателей? Мои ходили в мятой одежде и выглядели так, будто случайно очутились на месте учителя. Этот, кажется, готов был за каждое свое слово отвечать жизнью. А может, он уже это сделал, положив ее на какой-то неизвестный мне алтарь.

Я все еще подсматривала в глазок. Аба предложила ему чаю, но он отказался.

Когда, поднимаясь по лестнице, он проходил мимо нашей двери, я обратила внимание на его ботинки. Кожаные, неестественно длинные, когда-то они раскидывали свои щупальца до середины прихожей, часами росли на полосатом половике, пугали своей манящей мужественностью. Ботинки из далекого прошлого.

На следующий день он пришел в кедах и спортивном костюме, из большой сумки вытащил тряпки и ведро. Позвонил в нашу дверь.

— Можно набрать у вас воды?

Я провела его в ванную и обратно, оставив дверь в квартиру приоткрытой, наблюдала, как он взбил пену в ведре и начал мыть витраж. У него была палка, которая доставала до самых труднодоступных фрагментов. Знаю, что на сей раз Люба наблюдала за ним через глазок.

Я стояла в дверях, когда он драил белые и лиловые облака и верхушки гор. Присела на ступеньки, когда мыльные реки стали сливаться с голубыми водами озера. Подошла к подоконнику, когда оказалось, что покатые крыши домиков, раз-

бросанных по склонам, светло-желтого, а не изумрудного цвета, как я всегда думала. Держала ведро, когда длинные пальцы принялись отчищать грязь, въевшуюся между корнями коричневого дерева. Они были одного роста, он и стеклянный дуб, они мерялись силой, как два колосса, боролись, кто кому больше затмит солнце, неожиданно затопившее всю лестницу, а я подумала, что в этом подъезде пригодился бы какой-нибудь небольшой, но хорошо звучащий орган. Пустые стекла напротив Любиной двери я помыла сама, стараясь ничем не выдать того факта, что за всю свою жизнь не вымыла ни одного окна.

— Интересно, что чувствуют люди, когда стирают пыль с "Пьеты" Микеланджело? — спросила я позже, когда он зашел к нам выпить чаю. Абы не было дома, Прабабка спряталась у себя в комнате.

— Давно я здесь не был, ничего не изменилось, — ответил он невпопад.

В волосах, мягко спадавших ему на плечи, поблескивала седина. В левом ухе сверкало махонькое колечко — редкая по тем временам экстравагантность.

— У меня такое чувство, будто кто-то вымыл лобовое стекло машины, на которой я еду.

— А у меня, будто кто-то повернул время вспять, — улыбнулся он, рассматривая коллекцию Маминых пластинок. — Большинство из этих пластинок когда-то принес сюда я.

Потом мы вернулись в подъезд полюбоваться витражом, которому вернули цвет.

— Я искал везде, во Львове и за границей, но этот витраж неповторим. Иногда встречаются маленькие витражные оконца, но не одиннадцатиметровый проем в конструкции здания. Здесь дом подогнали под витраж, а не витраж под дом.

Меня бросило в дрожь — я всегда хотела узнать что-нибудь о витраже.

— Что касается цветов, — продолжал он, — то я насчитал семьдесят два. В Средневековье использовали десять. Это чистый импрессионизм. Автор, к сожалению, неизвестен, — он слегка повысил голос, потому что я стояла одним пролетом выше. — В краковских мастерских Желенских, где до войны делали большинство львовских витражей, о нем ничего не знают. Земля, вода, небо — изображение тематически развивается снизу вверх. Не хватает самой нижней части, подземной, ее судьба неизвестна. Этот витраж — аллегория жизненного пути. Он сопутствует каждому, кто поднимается или спускается по лестнице.

— Где можно послушать ваши лекции? — спросила я, но он не ответил. Взял щетку, ведро и ушел не попрощавшись. Я вернулась домой и записала все, что услышала.

Аида

Позже, когда между нами уже многое произошло, Микола уступил моим просьбам и рассказал о своем первом вечере с Мамой. Не о том, когда он ее впервые увидел, а о том, когда понял, что ее любит. Это случилось ранней весной восемьдесят шестого года, на “Аиде”, когда во время спектакля в зале умер человек.

Микола уже не первый вечер под любым предлогом шел после работы в театр. На этот раз он со своей старой кожаной сумкой оказался в битком набитом зале за минуту до поднятия занавеса, по дороге успев поцеловать руку Ниловне, пожилой билетерше с высокой прической и благородным профилем. На сцене вот-вот должен был появиться паланкин с видавшим виды сфинксом. Микола углядел свободное место в третьем ряду; тот мужчина сидел во втором.

В тот вечер Микола впервые признался самому себе, что голос Марианны производит на него особое впечатление — казалось, в нем открывается дверь, о существовании которой он давно забыл. За дверью были Карпаты, родное село его матери Гребенне, пастух в резиновых сапогах, парное молоко, а главное, качели, слишком большие для маленького ребенка, каким он в ту пору был. Когда он взлетал на них выше гор, время и мысли исчезали, зато высвобождалось осознание того, что он существует, — чистая онтологическая эссенция, для которой у него ни тогда, ни сейчас не находилось нужных слов. Во взрослом возрасте он чувствовал то же самое, слушая меццо-сопрано Марианны. Поэтому, когда зазвучали первые звуки “Аиды”, глаза его души вглядывались в вожделенную и далекую действительность, а глаза тела с азартом профессионала подмечали театральные реалии: недостатки старомодной сценографии, анахронизм костюмов и в первую очередь уродливое платье Амнерис — он знал, что ответственность за его грязно-зеленый цвет лежит на коммунистической партии.

Когда солисты умолкали и вступал хор, Микола представлял себе реку, полную рыбы. Большие и маленькие рыбы с разной скоростью передвигались на разной глубине. Тех, что плавали ближе к поверхности, освещало солнце — это были сопрано. Под ними извивались лентой рыбы побольше и потемнее — альты. Дно реки закрывали тяжелые и медлен-

ные рыбины с длинными усами, сливавшиеся с илистым песком, — басы. Теноры были неуловимы. Ожидая очередного выхода на сцену Амнерис, Микола вспоминал о содержимом своей сумки: в ней пряталась бутылка сухого токайского, которую он получил от кого-то в подарок перед спектаклем.

Под конец второго акта, когда фараон отдает руку дочери Радамесу, а Амнерис торжествует, случилось неожиданное. Прямо перед Миколой голова, на которую он раньше не обращал внимания, потому что она не торчала выше других, сперва качнулась вправо, затем влево и, наконец, съехала вниз. Над мужчиной склонились две соседки, одна закричала:

— Доктора!

Микола бросился к Ниловне, та сразу же зажгла свет в зале, голос Марианны задрожал, она выдала две фальшивые ноты и замолчала. Оркестр некоторое время играл как ни в чем не бывало, а затем тоже замер. Среди зрителей нашелся врач. После короткого обследования он попросил Миколу помочь вынести тело в коридор. Занавес работы Семирадского[1] опустился до половины. По залу пронесся шепот:

— Разрыв аорты.

В слабо освещенном фойе Микола нашел телефон, набрал ноль-три и вызвал "скорую". Коченеющее тело в костюме не по размеру лежало рядом с парадной лестницей, его караулила Ниловна, отгоняя зевак. Микола не мог оторвать взгляд от очков в роговой оправе, с одной стороны подвязанных веревочкой, — они наискось пересекали лицо с закрытыми глазами. Было очевидно, что владельцу очки уже никогда не понадобятся.

Микола с врачом вышли без пальто на улицу, оба достали сигареты и закурили. Моросил дождик, под каштанами дрожали огни изящных фонарей, прохожих почти не было.

— Может, его чем-нибудь накрыть?

Врач, худой мужчина с седыми усами, пренебрежительно махнул рукой.

— Я бы тоже хотел так умереть, раз-два и готово! — признался он со вздохом.

— Он не выглядел старым, — заметил Микола.

— Пятьдесят шесть лет, — ответил врач и показал паспорт умершего. — Повезло, он был у него с собой.

"Двадцать восемь плюс двадцать восемь будет пятьдесят шесть — я ровно на середине жизни", — подумал Микола, листая паспорт Андрея Андреевича Фетисова. Эта неожиданная

1. Генрих Ипполитович Семирадский (1843—1902) — русский и польский художник, представитель академизма в живописи.

арифметика не отпускала его до самого конца того долгого, полного событий вечера.

Спектакль продолжался. Микола с врачом успели многое обсудить и изрядно замерзли, а "скорой" все еще не было. Машина появилась за минуту до того, как площадь перед оперным театром заполонили зрители. Они смеялись и разговаривали, курили и плевали, как всегда, — не было заметно, чтобы хоть кто-то помнил о случившемся. Судя по всему Фетисов пришел послушать "Аиду" в одиночестве.

Микола вернулся в театр. Перекинулся парой слов с Ниловной, бросил взгляд на пустое место рядом с парадной лестницей и спустился в гримерную. Уже в коридоре понял, в какую дверь стучать: голос отражался от стен и указывал ему путь.

— Я ужасно испугалась! Я фальшивила! — в отчаянии повторяла Марианна, сидя перед трельяжем; грязно-зеленое платье, брошенное на тюбики с косметикой, напоминало отверстое чрево выпотрошенной форели. Гримерша помогала Марианне привести волосы в порядок. Недавно историю с этим платьем обсуждал весь театр: новую постановку "Аиды", как и любой другой советский спектакль, перед премьерой должна была "принять" комиссия в составе изрядного числа партийных теток, выискивавших скрытые намеки против режима и другие проявления инакомыслия. На сей раз они прицепились к платью Амнерис. По замыслу режиссера оно было синим, как Средиземное море, и золотым, как украшения древних египтянок. Подозрительная колористика! Каждый должен понимать: в этом городе в чем-то подобном нельзя появляться даже дочери фараона.

— Извините, — сказал Микола. Он стоял на пороге и не закрывал за собой дверь. До этого он разговаривал с Марианной лишь однажды: их познакомил в буфете осветитель. "Обворожительная женщина, холодная сучка", — предупредил тот Миколу, когда они приближались к ее столику.

— Вы, кажется, помогали со всем этим кошмаром, — она понизила голос, повернулась на кресле и протянула к нему обе руки. Микола уловил театральность жеста, но без тени колебания подошел к ней и в ответ даже прижал ее ледяные ладони к груди. Гримерша исчезла.

Пальцы Марианны продемонстрировали неожиданную ловкость, и в конце концов именно она открыла токай. Они пытались воспользоваться авторучкой, штихелем, отверткой и ключами, в итоге победил ключ, ее короткий и крепкий ключ от подъезда. Необычный овальный кончик помог пропихнуть, не раскрошив по дороге, пробку внутрь бутылки. Микола и Марианна сидели в буфете театра имени Занько-

вецкой и открывали вино под столом — дело было в унылые годы горбачевской антиалкогольной кампании, — а их пальцы то и дело соприкасались. Они заказали так называемые коктейли: виноградный сок с шариком подтаявшего мороженого. В зале кроме них никого больше не было, фоном звучали хиты Аллы Пугачевой, из-за стойки за ними из-под полуопущенных век наблюдали пропитые глаза толстой бабищи в белой наколке, прикрепленной к волосам шпильками. Все это было неважно. Марианне хотелось как можно скорее покинуть театр и каким-нибудь образом прийти в себя после смерти в зрительном зале.

Она говорила без умолку. О том, что произошло, о постановках "Аиды" в других театрах, о пережитом Ниловной во время войны и шуме Полтвы, слышном в некоторых уголках Оперы, а Микола обнаружил, что все, о чем она рассказывала с неизменным жаром, действовало на него, как ее пение — как слова Христа, обращенные к Лазарю. Незнакомые вибрации, проходя по шее и разбегаясь в стороны, пробуждали к жизни различные части его тела: он вдруг осознал, что у него есть кости и пальцы ног, легкие, ребра, кадык и скулы, запястья и солнечное сплетение. Тепло струилось по туловищу вверх и вниз, словно кто-то оплел его сетью из солнечных лучей. Микола только тревожился, не видны ли мокрые пятна под мышками, и подливал под столом вино в бокалы со следами "коктейлей". Последняя тема — связь Оперы и Полтвы — особенно занимала Марианну.

— Это абсолютно точно, оркестранты ее слышат, — говорила она, — а я не могу об этом не думать.

Микола неверным шагом направился к стойке, попросил стакан и налил токаю бабе в наколке. Та благодарно крякнула, выпила вино залпом, как водку, выключила Пугачеву и куда-то испарилась.

— Я представил себе, как Андрея Андреевича и эти его мертвые очки перевозит через Полтву Харон с лицом Ниловны, — произнес он, возвращаясь к Марианне.

"У нее весь лоб в морщинках, да и не удивительно при такой живой мимике, — подумал он, — а прическа из светлых, чуть вьющихся волос величественнее любой диадемы. Амфора, — пришло ему в голову, — она — амфора, полная неизвестной жидкости, а я почему-то умираю от жажды".

Не было никакого рационального объяснения, почему они не допили бутылку в кафе, а попытались нести в сумке вертикально. Точнее, нести пытался он, а она лишь время от времени трогала ее рукой без перчатки. Они горячо обсуждали судьбу пробки, плененной внутри бутылки: на свете не было силы, спо-

собной достать ее оттуда, не разбив стекла. Они шли куда глаза глядят, со свободой давнишних любовников соприкасались рукавами пальто, шутили на тему внезапных смертей в театре.

– Спустишься со мной в подземелье Оперы? – спросила Марианна, когда они присели на мокрую лавку в парке Костюшко.

– Честное пионерское, – ответил Миколай, достал токай и отхлебнул из бутылки. И тут кусты, росшие неподалеку, зашевелились, из них вылезли двое мужчин, а Марианна взвизгнула на полпарка.

– Народные дружинники, – сказали мужчины и показали удостоверения. – Не кричите, гражданочка. Документы, пожалуйста.

Она сразу поняла, что́ им светит: распитие алкогольных напитков в парке – штраф, уведомление по месту работы, ну а потом всякие собрания, партийные и профсоюзные. За нарушение антиалкогольного постановления ЦК КПСС выговор с занесением в трудовую и лишение тринадцатой зарплаты.

"Весь театр будет судачить о моем свидании с молодым сценографом", – подумала она в следующую секунду.

Микола остолбенело глядел на удостоверение дружинника, из которого следовало, что того тоже зовут Андреем Андреевичем.

– Товарищ! – воскликнула Марианна. – Вы когда-нибудь были влюблены? Так, чтобы потеть зимой, чтобы все тело жило и болело от жизни, а горло распевало арии?

– Нет, – ответил дружинник, хотя, судя по тону, дрогнул.

– Я люблю этого мужчину. До смерти. Как раз сегодня поняла. И мы хотели это отпраздновать. В доказательство я вам сейчас спою.

Марианна встала и тихонько запела "Подмосковные вечера".

Тот, что показывал удостоверение, стоял теперь рядом с ней и слушал, а второй о чем-то беседовал с Миколой. Марианна никогда не узнала, о чем они говорили, как не узнала и о том, что страж общественного порядка был подкуплен путем, скажем так, передачи из рук в руки двадцатипятирублевой купюры.

Последней остановкой в тот вечер стал подъезд дома Марианны. Они стояли без сил в темноте на первом этаже – лампочка на лестнице как раз перегорела.

– С любовью ты, пожалуй, переборщила, – тихо произнес Микола. То, что произошло в парке, его разочаровало. Он мечтал о чем-то совершенно ином: о том, как расскажет ей о коробках, найденных на чердаке особняка на улице Льва Толстого, о том, как поцелует ее. Вдруг его пробрал холод, он чувствовал, как все тело слабеет.

В ответ Марианна рассмеялась так громко, что скрипнули половицы за дверью квартиры, возле которой они стояли, — кто-то явно подошел к глазку.

— Музыка волнует меня больше всего. Мне это странно, потому что темперамент у меня холодный, а нервы крепкие, как канаты. — И чуть погодя добавила: — Это была цитата из писем Саломеи Крушельницкой? Читал?

Микола молчал.

— Возвращаясь к витражу. Неизвестно, ни кто его создал, ни когда. Абсолютная загадка, каких в этом городе немало. Понятия не имею, где искать информацию. Я еще никому и никогда не показывала его в темноте. Не считаешь, что это награда тебе и твоему таланту? — она скорее это сообщила, чем спросила, после чего прильнула губами к его губам. Во время поцелуя рты у обоих были закрыты. Потом она взяла его руку в свою и приложила к стеклу.

— Здесь изображены четыре стихии. Начиная сверху: воздух, земля, вода и огонь. Ты держишь руку на огне. Это единственная несохранившаяся часть.

Витраж был ледяной, и Микола быстро отдернул руку — ему вдруг показалось, что пальцы примерзнут к стеклу и придется остаться в этом подъезде надолго. Он вышел не прощаясь и быстро свернул на Академическую.

Академическая

Улицу, начинавшуюся сразу за углом нашего дома, мы называли Академическая, хотя на табличках значилось: проспект Тараса Шевченко. На ней было три кинотеатра, множество магазинов и тополиная аллея посередине — там, где текла когда-то Полтва. Раз в несколько дней мы с Абой "сплавлялись" по улице. К сожалению, слишком медленно, то и дело приходилось бросать якорь в каком-нибудь порту, то есть магазине, и в этом, собственно, заключались столь ненавистные мне походы за покупками.

Академическая улица начиналась на площади, где когда-то стояло кресло польского драматурга Александра Фредро, в котором сидел он сам[1]. В наши дни не было ни кресла, ни того, кто бы в нем сидел, только голуби раскачивались на окружавших площадь тяжелых цепях. Цепи висели на столби-

1. Памятник Александру Фредро работы скульптора Леонардо Маркони после Второй мировой войны был вывезен в польский Вроцлав.

ках, увенчанных каменными шарами с торчащими шипами. “Гонка вооружений”, — всегда приходило мне в голову при взгляде на них.

Улица Академическая — это был еще и угловой дом, а в нем кинотеатр имени революционера Николая Щорса. Рядом стоял автомат с газировкой: бросаешь в щель монету — и из верхней части окошка в граненый толстостенный стакан льется жидкость; потом стакан нужно было перевернуть вверх дном и сполоснуть водой, фонтанчиком бьющей снизу. В начале девяностых к стаканам приделали цепочки, а под конец десятилетия автоматы и вовсе убрали, но сейчас речь о восьмидесятых.

На вручную нарисованных афишах я прочитала: Андрей Тарковский. Ностальгия. Перед кинотеатром выстроилась очередь на пол-улицы.

— Что такое ностальгия? — спросила я у Абы.

— Тоска по родине, — ответила она и посмотрела куда-то в сторону. Не знаю, о чем Аба подумала: может, о Ленинграде-Петербурге, где родилась и жила до войны, а может, о Польше, о которой всегда мечтала и которой из Львова пришлось убраться.

За кинотеатром находился магазин “Галантерея”, пропахший духами и по́том. Я не понимала, зачем мы туда заходим, если не собираемся ничего покупать, но покорно плелась за Абой, стараясь не дышать носом. В застекленных витринах стояли открытые тюбики с помадой, похожие на готовые к старту ракеты, ездили танки пудрениц, угрожающе целились торпеды лаков для ногтей, за прилавками торчали радары темных зонтиков и парили парашюты бюстгальтеров. В магазине стояла давка и крик, толстые тетки проталкивались к прилавку, без стеснения доставали из платьев свои бежевые груди и примеряли лифчики, а с прилавков свешивались черные мужские дерматиновые перчатки, и мне казалось, что они вот-вот дотянутся до их увядшей кожи, их вопящих глоток, их расползшихся сосков и бросятся в атаку. Женщины, ходившие по Академической, вызывали отвращение: они тащили сумки с покупками и ноющих детей, истекали потом и рявкали друг на дружку. Иное дело мужчины: они были чище и тише, ходили тяжелой поступью, носили одинаковые серые пальто и шляпы с небольшими полями, которые с достоинством приподнимали, встретив знакомого.

На Академической было кафе “Снігурочка” с двумя одинаковыми залами в соседних зданиях, там работали две одноярцевые близняшки с фиолетовыми волосами, подававшие мо-

роженое пломбир в металлических мисочках; по желанию в него можно было добавить джем, какао или орехи.

Я любила магазин с надписью “Хліб” и продавщиц с румяными щеками и волосами, убранными под белые чепчики. Эти никогда не кричали и напоминали мне серьезных докторов, или даже были важнее, потому что давали людям хлеб, а ведь еще недавно многие умирали от голода. Мы покупали батон белого и полбуханки черного, рогалики в виде полумесяца по шесть копеек и кругленькие булочки по три, ими можно было наесться по дороге. В хлебном магазине был еще кондитерский отдел, обычно пустовавший, и, только когда в нишах прилавков редко-редко появлялись круглобокие торты, тут же вырастала очередь из проворных теток, а потом опять была пустота и тишина. Мы проворством не отличались, и я могла лишь мечтать о торте, например, с силуэтом ратуши из какао на белом кремовом фоне и нечеткой, словно припорошенной сладким снегом, надписью *Львів*.

— Этот крем из маргарина, — говорила Аба, чтобы меня утешить. Я знала, что маргарин можно купить без очереди, пах он несъедобно, а добавлять его в торт “Львів” — чистая профанация и саботаж.

За хлебным находился магазин “Ковбаса”. Входя в него, я прижимала к груди кулаки, чтобы меня не задавили в толпе. Внутри были три неизвестно чем различавшиеся очереди, мы занимали места одновременно в двух — на случай, если одна пойдет быстрее. Толпа колыхалась, толкалась и переставляла меня с место на место, я нюхала каракулевые шубы и драповые пальто, разглядывала портфели с кодовыми замками, грязные авоськи и собачонок на поводке. Здешние продавщицы были неприступны и неумолимы, как королевы, их пышные формы не помещались под фартуками с оборочками, они ели слишком много *ковбасы*, жрали ее, как свиньи, понятное дело, им не нужно было убиваться в очередях, они обвешивали, припрятывали товар для своих, а остальным говорили, что *нема і не було*, и вообще напоминали работорговцев из “Хижины дяди Тома”, не хватало только палок. Я мечтала о том, как трещащий по швам магазин восстанет против их власти, как устроит революцию, как мы пойдем на них стеной, сбросим с трона, отберем всю *ковбасу*, поделим по-братски и быстро разойдемся по домам. Вместо этого мы терпеливо ждали, каждый на своем месте, сегодня неожиданно “выбросили” еще и масло, так что мое присутствие было необходимо: давали по двести грамм в одни руки, и люди стояли целыми семьями, чтобы получить побольше. Моя очередь продвигалась быстрее Абиной, я была уже у прилавка и прижалась к нему

лбом, опасаясь, что стекло лопнет под моей тяжестью — толпа сзади напирала. И только тут мне удалось разглядеть эмалированные подносы с похожими на булыжники кусками вареной колбасы разных сортов: с большими кусочками жира и с маленькими, а еще гладкой, совсем без жира. Я была уже близко к цели, но все переживала, не возьмут ли слишком много те, что перед нами, не закричат ли продавщицы *Закінчилось!*, демонстративно швыряя последний кусок на большие металлические весы. Нам повезло, и вот наша порция завернута в жесткую бумагу, на которой сразу же расплылись темные пятна. Мы проталкивались к выходу: “Осторожнее, ребенок!”, “Осторожно!”, “Сойдите, пожалуйста, с моей ноги”, “Какая невоспитанная особа!”, “Хамка!”. Я прокладывала себе путь, прижав кулаки к груди, и вдруг в конце очереди заметила Прабабку. Аба холодно процедила: “Добрый день” — и пошла дальше, а я встала как вкопанная, пораженная контрастом между ее привычным домашним обликом и нарядной шляпкой, прикрывавшей жиденькие белые волосенки, а также прекрасным велюровым пальто с приколотой к воротнику янтарной бабочкой. Неужели это ее я встречаю каждый день между ванной и комнатой? Неужели это она ходит в халате и при всех писает в горшок? Здесь, среди чужих людей, она казалась мне утонченной героиней какого-то фильма, а сухое приветствие Абы это впечатление лишь усилило.

— А почему Прабабке нужно второй раз стоять в той же самой очереди? — спросила я, когда мы вышли на улицу.

Аба ответила не сразу:

— После того как они поссорились с Мамой, мы решили вести хозяйство раздельно.

В той резкости, с которой она всегда говорила о событиях, происходивших до моего рождения, ощущалось что-то вроде чувства вины.

Мы шли дальше, в магазин “Тютюн”. Туда нас вело тайное пристрастие Мамы, о котором никому нельзя было рассказывать; Аба утверждала, что это пристрастие лишит Маму голоса и поставит крест на ее оперной карьере. На потолке и стенах там повсюду были нарисованы казаки: они полулежали возле своих коней, окутанные дымом из трубок-люлек, их красивые темные глаза были полузакрыты, ногти на руках ухожены, длинные ступни торчали из темно-синих шаровар, а вьющиеся оселедцы сплелись с кудрявыми гривами коней. Продавщицы в магазине “Тютюн” тоже дремали, а на прилавках не было ничего, кроме бело-голубых пачек “Беломора”, который курили только рабочие на стройках, мы же искали для Мамы сигареты “Орбита”, но их-то как раз “не выбросили”.

Следующим был магазин “Риба”, перед магазином стоял мокрый грузовик, а рядом с ним печальный человек в темно-синем фартуке, с глазами и усами казаков с потолка в табачном магазине, вылавливал сачком карпов и подавал их женщинам в очереди. Как-то раз мы купили такого карпа, он плавал в нашей ванне, розовый, как дама с большой ладонью с картины Матисса, — достаточно было вытащить пробку, чтобы лишить его жизни.

В магазине “Світоч”, куда, несмотря на большие окна, почти не попадал свет, прилавки были завалены развесными конфетами и шоколадоподобными изделиями. Там всегда пахло куревом, дым поднимался вверх по лестнице и серой ватой обволакивал фикусы в горшках. Мы покупали красные барбариски, и я даже не смотрела в сторону лестницы, боялась, что как только подойду поближе, меня затянет в пучину, словно Качу, героиню чешской сказки, заключившую сделку с дьяволом. Когда-то Аба рассказала мне, что под магазином “Світоч” находится притон. “Люди работящие в такие места не ходят, там сидят сплошь бездельники и пьяницы, курят и пьют, и среди них есть женщины. Нет на свете ничего хуже падшей женщины. Ведь женщины по природе своей умнее, красивее и сообразительнее мужчин, поэтому падение такого существа гораздо страшнее, чем деградация существа, изначально менее развитого, то есть мужчины”, — втолковывала мне Аба. Иногда падшие женщины сидели на перилах при входе в магазин “Світоч”, у них были заплывшие глаза, яркий макияж и неопрятные дурацкие прически. Не знаю, почему на них всегда были брюки, а Аба и другие порядочные женщины неизменно носили темные юбки до середины икры. В их нарочитых жестах и хриплых голосах чувствовалась свобода и развязность, честным женщинам неведомые. Они были и привлекательными, и злыми, как тигры, неслышно ступающие на мягких лапах за решеткой клеток в зоопарке.

В самом конце Академической улицы находился большой продуктовый магазин, который все называли “сквозняком”, потому что его можно было пройти насквозь. Прилавки в нем зияли пустотой, толстые продавщицы, лишенные *ковбасного* лоска, напоминали выброшенных на берег морских львов — видимо, торговля спичками, крупами и киселем в порошке не очень-то их вдохновляла. Отсюда мы поворачивали к кинотеатру “Україна”, где тоже показывали “Ностальгию”, надписи на афишах были выполнены другой рукой, а в глубине фойе мерцали зеленые и красные огоньки игровых автоматов. “Україна”, как и “Щорс”, размещалась в угловом здании, над входом я увидела медальон с выбитой в нем цитатой

из Ленина: “Искусство принадлежит народу”. (“А кому же еще оно может принадлежать?” — удивлялась я.) Здесь Академическая заканчивалась; я обернулась и увидела, что на небольшом расстоянии от нас идет Прабабка.

— А почему мы все еще живем с ней? — спросила я.

— Ты просто не знаешь, что такое квартирный вопрос! — занервничала Аба. — Где нам взять отдельные квартиры?

Эта нервозность давала понять, что на самом деле Аба хочет жить с Прабабкой, хотя и не любит ее.

На расположенной неподалеку Галицкой площади стояли высокие кованые ворота, но разве могли они сдержать базарный паводок, выливавшийся через их ажурные сплетения, выплескивавшийся на соседние улицы кактусами в горшках и нелегальными подснежниками, детским визгом еще не зарезанных свиней, которых привозили сюда в закрытых сумках на колесиках. На площади исчезали вывески, извещавшие о продаже “продтоваров”, не было ценников, очередей, никто не обращался друг к другу “товарищ”, зато звучало *пан* и *пани*, а порой даже *панюси* и *панянки*. Торговки, стоя на каких-то подмостках, возвышались над холмиками картошки и морковки, яйцами и мясом, кричали и жестикулировали, не стесняясь своих толстых почерневших пальцев. Они говорили *таньше* вместо “дешевше”, *трускавки* вместо “клубника”, *сыр* вместо “творог”. Их, в отличие от меня, не пугали мертвые свиные копыта, они отрезали белые шматки творога и давали мне попробовать, открывали бутылки с подсолнечным маслом и щедро лили мне в ладошку. Бабы носили платки, а покупательницы шляпки, бабы говорили по-украински, а городские *пани* — по-украински и по-русски. На базаре все было очень дорого. Аба торговалась, мы покупали только самое простое вроде свеклы и картошки, под конец заходили в крытую часть, где наших, местных, баб уже не было, зато появлялись мужчины с темной щетиной и сильным акцентом в серых кепках-аэродромах. Они тоже стояли на подмостках, но перед ними росли холмики, на которые светило другое солнце, — из Грузии и Армении привозили гранаты и апельсины, лимоны и хурму. У них покупали, в основном, мужчины в шляпах, они открывали свои большие портфели с кодовыми замками, осторожно прятали туда пузатые свертки, а затем медленно портфели закрывали — в этом жесте мне виделось косвенное признание в преступлении, ведь все мы знали, что жизнь должна была выглядеть иначе: граждане должны были быть равны и иметь равное количество прав и обязанностей, равное количество апельсинов и абрикосов, но вышло иначе, нам не хватало практически ни на что, а им хватало на всё.

— Когда во время войны нас эвакуировали в Казань, Прабабка отдавала мне свою пайку хлеба, — вдруг сказала Аба. — Мне все время хотелось есть, ведь я росла, — добавила она, помолчав. — Постоянно снились хлебные корочки, которые я до войны прятала под краями тарелки.

Я обернулась, чтобы еще раз взглянуть на Прабабку в пальто и шляпке. Когда-то она показала мне свои фотографии в молодости, где на ней были разные карнавальные костюмы — какой-то тюрбан с пером, платье со звездами, элегантные шальвары. Я была потрясена. Заговорив о своих любимых костюмированных балах, Прабабка оживилась, стала подробно описывать ткань и крой тех костюмов, понизив голос, призналась, что однажды в новогоднюю ночь огонь от елочных свечей перекинулся на шлейф ее платья, и она лишь чудом не сгорела — это было еще до войны, в Ленинграде. Рассказывая, она все время подносила руки к волосам так, словно поправляла изысканную прическу. Впрочем, за волосами и ногтями, в отличие от всего остального, она всегда следила — ходила к парикмахеру, который стриг ее под пажа, а потом сама бритвой подбривала волоски на шее. Однажды, когда я была младше, я перепутала бритву с пилочкой для ногтей и порезала себе пальцы — кровь текла широкой струей, как у Иисуса на картине. Тогда-то Мама и выяснила, что я нарушаю ее запрет, и очень на меня рассердилась. Меня же по-прежнему тянуло в темную нору с пианино.

Навьюченные авоськами, мы с Абой возвращались домой по Академической, не заходя больше ни в какие магазины, но мне все равно казалось, что мы идем слишком медленно, то и дело останавливаясь под тополями.

— Почему мы тащимся как черепахи? — спросила я так сердито, что сама удивилась. — Почему ты не можешь идти так же быстро, как я? — продолжила я, не дождавшись от Абы ответа. — Я знаю, что ты больна. Но почему ты больна? Расскажи почему?

Она по-прежнему молчала, значит, я перешла границу дозволенного, задала вопрос, который нельзя было задавать, но назад пути не было — слово не воробей, вылетит — не поймаешь, — поэтому я сожгла за собой все мосты:

— Я не хочу тащиться за тобой! Это невыносимо! Я хочу побегать! Мне надоели твои авоськи!

Я развернулась и быстрым шагом пошла прочь. Аба осталась одна, апатичная и безмолвная, а я припустила бегом; через минуту я была уже в конце аллеи, а может, в начале, смотря с какой стороны глядеть, подпрыгивала на одной ноге и чувствовала себя все хуже; я не переставала украдкой наблюдать за Абой,

видела ее кривые ноги в штопаных чулках, окружавшие ее авоськи, которые она не в состоянии была поднять — из авосек торчали батон и колбаса. “Пусть бы она была беспечная и свободная, а не медлительная и больная. Пусть бы занималась чем-нибудь другим, а не покупками и готовкой, пусть бы уже от меня отстала”. Я знала, что это подлые, низкие мысли, которых ни в коем случае нельзя себе позволять, но что было поделать, если они рождались во мне сами, а раз так, значит, я и сама подлая — вот те на! — я не знала, как от этой подлости отделаться, она уже успела мною завладеть, я уже убежала слишком далеко, и в то же время мне некуда было идти, дома меня никто не ждал. Поэтому я неподвижно торчала на газоне вместо Фредро, которого поляки из Польши забрали себе, и смотрела в сторону кинотеатра “Щорс”. Очередь рассосалась, фильм давно уже начался, я кормила голубей остатками бублика, качалась на тяжелых цепях. Аба, наверно, встретила Прабабку, та ей помогла, ну и что с того, пускай она старше, главное, здорова, уж как-нибудь доползут до дома, а я решила остаться тут до вечера одна, я только что поняла, что я плохая девочка, а плохие дети должны остаться одни.

Итальянский дворик

Мы никогда не сталкивались с ним в темных от пыли коридорах Академии искусств, где он преподавал, а я училась, но теперь я начала встречать его в центре. Мы оба были плодами Львова, высиженными городом яйцами, мы проклюнулись на его улицах и остались в них вписанными: он — шипастый нимб Скорбящего Христа на часовне Боимов, я — вырезанная на ее цоколе морда льва, он — потрескавшиеся ступени, ведущие в Доминиканский собор, я — истертая ручка в виде шишки на двери ренессансного здания, он — вздыбившаяся брусчатка на Пекарской, я — язык еще недавно молчавшего колокола на башне Корнякта. Мы всегда ходили по одним и тем же улицам, но лишь теперь начали друг друга узнавать: “Добрый день” — “Привет” — “Как вы?” — “Что нового?” Я восхищалась тем, с каким усилием он нес свою полную печали голову, мне казалось, ее разрывают благородные тревожные мысли, которые не под силу вынести обычному человеку. Он водил меня по городу, показывал свежие наросты безобразных памятных досок на дивной красоты зданиях, критиковал композиционные ошибки в новых памятниках и хвалил безупречное знание анатомии, присущее старым скульпторам. Я всегда пыталась читать город, как книгу, — выяснилось, что

он знает алфавит. Стоя возле фасада дома, с которого недавно осыпалась штукатурка, он сказал:

— Это на идише: “кофе, чай, молоко”. Каждую весну Львов линяет, обнажая на своих фасадах буквы разных алфавитов. Нынешние власти считают, что это опасная болезнь. Что-то вроде сыпи. Симптомы, которые удалось победить в одном месте, все время вылезают в других. Но доморощенные врачи уверены в своей квалификации и методе лечения.

— И у них ничего не получается?

— Пока что ничего. Но это... продлится недолго. Для меня витраж в твоем подъезде — последняя культурная мембрана города. Лопнет витраж — и город ничто не спасет.

— Падение Рима? — робко подсказала я.

Микола посмотрел на меня пронизывающе, может, даже слишком, и это меня испугало, но обручальное кольцо у него на пальце гарантировало мою неприкосновенность, он ласкал взглядом еврейские буквы так же нежно, как стеклянное дерево на нашей лестничной клетке, я, потупившись, рассматривала его старые шнурованные ботинки, черные и блестящие, как грампластинки с операми в лучшем исполнении, которые в нашем доме давно уже никто не брал в руки.

— Где можно послушать ваши лекции? — спросила я, но он делал вид, что меня не слышит, он снова погрузился в свою всеведущую печаль, куда мне доступа не было.

— Приглашаю тебя выпить кофе завтра, в четыре, в Итальянском дворике, — сказал Микола, когда мне уже начинало казаться, что он забыл о моем присутствии. — До встречи! — и помахал мне рукой, ни на шаг не отходя от букв на фасаде, словно хотел, как они, законсервироваться в этом месте навсегда.

На следующий день мы встретились в аркадном дворике, где когда-то бывший “афганец” в образе Ромео[1] прыгал со второго этажа без страховки прямо в объятия Джульетты, а еще раньше прохаживалась Марысенька Собеская[2], но теперь там не было ни Ромео, ни Марысеньки, лишь серые сотрудники Исторического музея сновали по балконам туда-сюда, а внизу за столиками сидели бородатые господа и дамы в туф-

1. В 1980–1990-е в Итальянском дворике палаццо XVI в., где сейчас находится Львовский исторический музей, шел спектакль “Ромео и Джульетта” театра “Гаудеамус”; Ромео в этом спектакле играл актер, воевавший в Афганистане.
2. Мари Казимира Луиза де Ла Гранж д’Аркьен, более известная как Марысенька, — жена короля Польского и Великого князя Литовского Яна III Собеского (1629–1696).

лях на высоком каблуке, которые могли себе позволить кофе плюс беседы об искусстве. Раскосые официантки проплывали с подносами мимо выкрашенной белым статуи Фемиды, у которой, возможно, тоже были раскосые глаза, но проверить это было нельзя, потому что они у нее были завязаны раз и навсегда, и правильно, иначе она бы увидела, как проникают во дворик польские студенты – говорят охраннику при входе, что идут выпить кофе, а затем садятся под аркадами, ничего не заказывают и бесплатно фотографируют каждую колонну, болтая при этом о победе под Веной[1] и игнорируя отчаянные дыры в бюджете украинского музея.

Микола был уже на месте, его лицо словно заросло сигаретным дымом, он курил хорошо знакомую мне "Орбиту", руки его занимали всю столешницу. Я села рядом, но не могла сосредоточиться, все время думала о своих ногах, обтянутых под столиком короткой юбкой, которую я почему-то решила сегодня надеть, – обычно я ношу джинсы. Кофе, который он мне заказал, был сладкий и горький, внутри оказалось гуща, я растирала ее языком и глотала.

– Дома я пью растворимый кофе, – призналась я.

– А этот тебе нравится?

– Да, – пришлось соврать.

– Называется "Форт", во Львов его привозят из Перемышля. На Галицком рынке одна пачка стоит гривну. По пять-шесть раз на дню такой себе завариваю.

Я подняла на него взгляд и увидела вместо длинных волос гущу от кофе "Форт", горькую и сладкую. У меня сдавило сердце. "Кофе действует прежде всего на сердце", – не раз говорила Аба. Каждый палец Миколы был зажженной сигаретой, он окутывал дворик клубами дыма – я видела похожие по телевизору, когда Алла Пугачева пела грустную песню о любви. Интересно, что скажет Аба, если я начну пить такой вредный кофе, впрочем, неважно, я уже совершеннолетняя и сегодня неожиданно для себя надела мини-юбку. Проглотив последние крупинки кофейной гущи, я почувствовала, как мои ноги выскальзывают из-под юбки и начинают самостоятельно карабкаться по аркадам. "А что, отличные ноги, – невольно подумала я, – стройные, обтянутые черными колготками, все в солнечных бликах". Я хотела схватить их и быстренько вернуть на место, вот только ловушка из юбки

1. Венская битва (11 сентября 1683) – сражение между польско-австрийско-германскими войсками под командованием Яна Собеского и войсками Османской империи. Победа христиан положила конец завоевательным войнам Османской империи на территории Европы.

вышла не ахти какая, а ноги тем временем облюбовали себе самый верх дворика и лазали там, как кошки, а мне, безногой и неподвижной, пришлось дожидаться их возвращения, пока Микола не понял, что происходит.

— Хочешь пройтись? — спросил он, затушив сигарету.

Я с облегчением согласилась. Когда мы шли через площадь Рынок, все части моего тела были уже укрощены и работали, как часы на ратушной башне, изготовленные на немецкой фабрике Вильгельма Штиле. Мы приближались к часовне Боимов, и вдруг он предложил:

— Давай на ты.

Я кивнула, но уже в следующей фразе вместо легкого и уверенного "ты" смогла только икнуть; я давилась этим местоимением как мокротой, оно вытекало из меня, как молоко из ротика младенца, — я не могла вот так сразу... я чувствовала себя недостойной, мне нужно было время, чтобы привыкнуть. Мы зашли в какой-то подъезд, поднялись по лестнице, пробрались через груду хлама, неоструганные доски в двух местах продырявили мне колготки. "Ну и ладно, — подумала я, — это им за то, что они вытворяли со мной в итальянском дворике". Мы стояли на маленьком балкончике, башня Латинского собора[1] была слишком близко, мне казалось, еще чуть-чуть — и она рухнет нам на головы.

Я боялась, что Микола сейчас меня поцелует, а он стал болтать как заведенный, перегибался через перила, то поворачивался в мою сторону, то снова принимал позу "urbi et orbi[2]".

— А ты знаешь, что мой отец был директором Оперы? Я там провел все детство, все спектакли наизусть знаю. Когда мне было семь лет, во время "Щелкунчика" загорелась сцена. Опустили противопожарный занавес, который может полностью отделить сцену от зрительного зала. Началась паника, люди бросились к выходу. А я совсем не испугался. Сидел и думал, что эти декорации гораздо интереснее предыдущих. Именно тогда я почувствовал, что хочу быть сценографом, хотя такого слова, ясное дело, еще не знал. А мама рассказывала тебе, что однажды во время "Аиды" умер человек?

Он забрасывал меня оперными воспоминаниями, как камнями из пращи, а я врастала в каменный пол балкона: я боялась пожара точно так же, как зрители злополучного "Щелкунчика", потому что его слова раздували тлевшую во мне боль, лишали с

1. Собор Успения Девы Марии (Латинский собор) — католический собор во Львове, Кафедральный собор львовского архидиоцеза.
2. "Городу и миру" (*лат.*) — название торжественного папского благословения. С этого выражения начинались важные объявления в Древнем Риме.

трудом обретенного равновесия, казалось даже, предвещали беду. Я знала, что на сей раз не справлюсь: сначала загорится Собор, с него огонь перекинется на близлежащие дома, дотянется до балкона, на котором мы сейчас стоим, а потом проглотит весь город — так случилось в 1527 году, после чего жители сомневались, стоит ли отстраивать Львов на прежнем месте.

— Мне пора, — крикнула я и побежала вниз по лестнице, прикрывая руками дырки в колготках. Он спустился за мной, не ускоряя шага. На мое "до свидания" не ответил.

Манифестация

Я лежала на полу, ухватив Маму за ноги возле колен, Аба держала ее руки. А она не обращала на нас внимания, высовывалась из распахнутого окна, которое забыла закрепить крючком. Толпа вливалась в нашу улочку и, словно тесто, оседала на ступенях здания милиции. Мама кричала в трубку:

— Арестовали? Сколько? Когда?

Это шум за окном привел нас с Абой в ее комнату.

— Ни в коем случае не допускать кровопролития. Я уже спускаюсь.

Легко сказать, сложнее сделать. Ее руки и ноги были скованы живыми кандалами.

— Толпа разъярена. У них в руках камни. Если попытаются взять отделение штурмом, добром дело не кончится. У милиции появится повод применить силу. Я должна туда пойти.

Мои пальцы вцепились в ее ноги еще крепче.

— А?.. — многозначительно спросила Аба.

— Вячеслав Максимович уже выехал из дома, но, пока он сюда доедет, всякое может случиться.

Она тщетно пыталась меня стряхнуть, параллельно спрашивая у кого-то по телефону:

— Задержанные — студенты?

Темный квадратик паркета, на котором лежало мое лицо, пах пылью, чья-то нога когда-то выдолбила в нем манившую меня теперь кривую бороздку: если бы только я могла стать маленькой, как мальчик-с-пальчик, и уменьшить Маму, взять ее за руку, как старая мышь Дюймовочку, и через щель отвести под землю, где нас будет ждать маленькая комнатка с накрытым столиком в милом беленьком домике на берегу реки, той самой, по которой плыли Мари с Щелкунчиком, когда он уже превратился в прекрасного принца.

Тем временем Мама наклонилась надо мной и несколькими ловкими движениями разжала мои пальцы, даже на меня не

глядя. Увертюра отзвучала, флейтистки вышли покурить, контрабасист откинулся на спинку стула, и только скрипачи напряженно ожидали мощного, как всегда, вступления солистки.

Я услышала, как хлопнула входная дверь. Высунулась в окно и увидела, как она продирается к входу в отделение, как люди расступаются, образуя коридор, как скандируют ее четырехсложную русскую фамилию. Мама шла чуть неуверенно, но все дело было в высоких шпильках, скользивших по брусчатке; на ней было голубое платье с рукавами-фонариками, которые топорщились на плечах. Она добралась до ступенек при входе в милицию, поднялась на самый верх и взмахнула руками, словно хотела взлететь. Люди притихли.

Ой у лузі червона калина похилилася
Чогось наша славна Україна зажурилася...

Мама пела своим пронзительным, как у сирены, сопрано, а толпа вторила ей низкими злыми голосами.

Ой, у полі ярої пшениці золотистий лан,
розпочали стрільці січовії[1] *з москалями тан...*

Я не верила своим ушам. Она ведь говорила, что они с Черноволом условились пропускать этот куплет. Не из, упаси боже, страха перед властью, а чтобы не делать акцент на национальности и не обижать людей с русскими корнями.

— Братья! — крикнула она, допев последний куплет. — Зачем мы сейчас здесь собрались?

— Наших хлопцев, — донеслось снизу, — хотим освободить...

— Вы согласны, чтобы я стала вашим представителем, чтобы от вашего имени пошла в милицию и попыталась выяснить, есть ли какие-нибудь основания держать их под арестом? — продолжила она, а до меня дошло, что сейчас она сорвет голос, что ее не спасут ни сырые яйца, ни травяные компрессы, сегодня вечером она не сможет выйти на сцену, и ее не выгородит даже Мария Петровна из отдела кадров, веселая толстуха, которая всегда идет навстречу певицам в первые два дня менструации, да, в эти дни каждая из них официально освобождена от выступлений. Петровна вела

1. Украинские Сечевые стрельцы (*укр.*) — сформированные из украинцев воинские части в составе армии Австро-Венгерской империи, позднее вошли в состав Галицкой армии Западно-Украинской народной республики, а затем Украинской народной республики.

общедоступный календарь месячных у певиц и заранее предупреждала: “Третьего та или эта рассыплется”. О том, что Мама “рассыпалась”, зрители не узнают, они будут разглядывать занавес Семирадского через свои позолоченные бинокли, потом начнут нетерпеливо постукивать пальцами по подлокотникам бархатных кресел, и тогда на сцену выйдет директор театра и объявит, что примадонна сегодня не выступит, потому что именно в эти минуты борется за независимость Украины. Как они отреагируют на это известие? Сорвутся с мест и начнут аплодировать? Топча программки, дружно бросятся к выходу и побегут под наши окна петь “Червону калину”? А может, Марианну просто заменит одна из тех солисток, что давно ждут случая выжить ее из театра?

“Она пошла в милицию по собственной воле, там ее замучают и убьют”, — думала я, ложась в кровать в надежде спастись сном. Куклы очень устали, все три. Алина, Арина и Аглая. У них была собственная комнатка возле моей кровати, а в комнатке вся необходимая мебель: диванчик, столик и даже шкафчик, совсем как настоящий. Я сама шила им одежду на взрослой швейной машинке “Зингер”, причесывала их, заплетала косички. Когда они плохо себя вели, я их раздевала и лупила по голым попам. Когда сердилась, крушила ногами их дом, топтала мебель, посуду и платья, а на следующий день приводила все в порядок, они снова садились пить чай, умытые и причесанные, в чудесных алых башмачках. Мои куклы выступали на сцене, они умели петь, правда, скорее в эстрадном стиле, как София Ротару, а не в оперном, как Мама.

— Это сопротивление пением, — сказала Аба кому-то за стенкой, и в ее голосе прозвучала усталость. — Типично для украинского народа. А что еще остается?

Я могла спать — в отличие от людей под нашими окнами, которые не разошлись по домам, не спрятали флаги и не успокоились.

— Они поют уже два часа! — повторяла кому-то по телефону Аба, когда я проснулась. — Марианна? Увы, она все еще в милиции.

Аба положила трубку и вышла на балкон. Она смотрела на железную дверь, закрывшуюся за ее дочерью, наверняка вспоминая советскую поговорку: “Был человек — нет человека”. На мгновение ей показалось, будто втиснутые в узкую улочку люди просто встали в очередь, одну из многих в этой огромной стране дефицита, вот только на сей раз они ждали не колбасу, не масло и не капроновые чулки, а чтобы каждо-

го из них бросили за решетку, поскольку после всех пережитых сибирей, казахстанов и психушек они больше не в состоянии выносить то, что на этих землях звалось свободой.

— Куда ее опять понесло? Изнасилуют, пытать будут, шею свернут. Ты только вспомни!.. — Прабабка говорила пронзительно громко, но вдруг многозначительно умолкла. Она так делала всегда — не могла выдавить из себя слова *арест*, *репрессии* и *тридцать седьмой год*.

— Тише, тише, тише, — успокаивала ее Аба, ласково выталкивая с балкона. — Ребенок спит.

— Пошла прочь, идиотка! — зашипела на нее Прабабка. Она остановилась у моей кровати и смотрела на меня, пока я не открыла глаза. Если в нашем доме кто-то спал в неурочное время, Прабабка переживала, как бы человек не умер, и всеми способами пыталась его разбудить — эта привычка осталась у нее со времен войны, когда она не раз становилась свидетелем смерти. Я видела над собой ее лицо с криво нарисованными бровями и длинной щелью губ. "Как вообще возможно, что она по-прежнему женщина?" — думала я, наблюдая за ней из-под ресниц.

Мама неожиданно появилась на милицейском балконе в сопровождении двух майоров, которые стояли так близко к ней, что их погоны касались крылышек-фонариков на ее плечах, приминая тонкую ткань. Высокая балюстрада в стиле модерн не позволяла Абе разглядеть ее руки. Наверное, они вплелись в растительный узор балконных решеток, который лишь по недосмотру еще не был ликвидирован руками работников ведомства. Глаза матери и дочери находились на одном уровне, но Марианна не смотрела в сторону Абы. Она кричала толпе:

— *Шановна громадо!* Братья!

В ответ послышался разноголосый гул.

— Наши хлопцы вот-вот выйдут на свободу! Товарищи, которые стоят рядом со мной, дали мне слово. — Помолчав, она добавила: — Но нам важно не только это. Главное, что скоро тюремные стены рухнут, а лжи наступит конец.

Раздались аплодисменты, кто-то неуверенно запел "Червону калину", людское море заколыхалось, на его поверхности появились двое задержанных студентов, но через мгновение оно снова их поглотило.

— *Слава! Слава! Слава!* — кричали в их честь, а небо начало сочиться изморосью. Аба сняла запотевшие очки.

— Друзья, — кричал Вячеслав Черновол, добравшийся наконец до лестницы перед милицией. — Пора расходиться по домам.

Его слова были приказом: море снова начало разносить каменные берега, в кукольной комнате разразился шторм, ка-

чался пол, кровати и столы, дверцы шкафчика распахнулись, и на пол посыпались блузки, юбки и под конец небольшая сумка со всем необходимым, какие каждый советский человек держал дома на всякий случай.

Я слышала голос Мамы, она вернулась, паковала вещи, срочно уезжала в Киев, хотя никто не мог заменить ее на вечернем спектакле, но что поделать, она и так не смогла бы сегодня петь.

Лежа в кровати, я слушала ее, а заодно вслушивалась в затихающий гул под окном:

Ой у лузі калина
Ой у лузі калина
Ка-лина-калина...

— Еще одна песня о калине?
— Ее любила Саломея Крушельницкая.

Ка-лина-калина...

Как же красиво она поет! Через мгновение я снова лежала на земле у Маминых ног, словно мы с утра не сдвинулись с места, ее стройные ноги обтягивала сеточка черных колготок, чуть влажных от пота, ноги кололись давно не бритыми волосками, отдавали несвежим телом, так иногда пахла ее постель, когда она вставала и шла принимать душ, не зная, что к ней в кровать сразу же залезала я и заворачивалась в ее простыню; "это негигиенично", — сказала бы Аба, но в этом запахе крылась жизненно необходимая мне субстанция, я пыталась отнять ее у смятой ткани, но субстанция тут же улетучивалась, и я оставалась одна с открытым ртом и растопыренными пальцами.

— Не уезжай!

— Я должна. Это очень важно. У меня есть дело, которое никто кроме меня не сделает.

— У тебя всегда важные дела. Ненавижу эти дела.

Мама игнорировала мои слова, не замечала моего тела у своих ног, просматривала какие-то бумаги и часть из них перекладывала в чемодан.

Ой у лузі...

— Обещаю, что не буду тебе мешать. Ни слова не скажу, как глухонемая.

Она перестала петь и из-под своих от природы черных бровей, изогнутых, словно прутья кованой решетки, кинула на ме-

ня взгляд, который я смогла выдержать не дольше секунды. Следующие слова обрушились мне на голову, как удары топора:

— Там! Куда! Я! Еду! Не! Место! Детям!

Я ослабила хватку. Зачем мне ее держать, раз она все равно возносится на небеса, поднимается, закутавшись в похожие на перины облака, парит на недосягаемой высоте.

— Останься со мной.

— Немедленно возвращайся к своим урокам! К куклам! У меня полчаса до приезда такси, мне еще надо собраться!

Я побрела за дверь. Теперь Мама не будет петь до самого ухода, и все по моей вине. На смоченной слезами обивке дивана проступили меандры городских улиц, по которым все еще ездили пролетки, выполняющие ту же функцию, что современные такси, и я представляла себе, как одна из них, с опущенным верхом, тоже везет певицу, но не Маму, а Саломею, и не на вокзал, а в оперу.

Аба как раз закончила готовить и ушла к себе. Из черной шкатулки, на крышке которой был вырезан профиль мужчины с длинным орлиным носом, она вынимала какие-то рисунки. Аба никогда не оставляла меня одну: у нее болели ноги, и она редко выходила из дому.

Аба показала мне портреты оперных певиц, которые она нарисовала еще в молодости пером и акварелью.

— Ну хорошо, тебе пришлось поступить на медицинский, — сказала я, — но в свободное-то время ты ведь могла рисовать.

— Ой, нет-нет, милая, уж точно не во время учебы на медицинском, к тому же на новом для меня языке, который я только-только начала учить! Каждый вечер я брала украинскую книгу и читала вслух, пока не охрипну.

— Ну а после института?

— Ты слово “распределение” слышала? Никому после окончания института не удавалось получить работу во Львове. Меня на несколько лет забросило в глухую деревню под Самбором. Что-то там я рисовала, но мне нужен был учитель. А учителя не было, вот я и осталась любителем.

В той деревне она впервые поняла, как ей не хватает Львова. Растущего во дворе раскидистого каштана, который каждую весну просовывал на их балкон ветви, становившиеся все длиннее, словно хотел протянуть ей великанскую руку помощи и перенести туда, куда она сама не смогла бы попасть.

Когда в сорок четвертом Аба с Прабабкой поселились во Львове, ее жизнь состояла из запахов и звуков, а о цветах она должна была позаботиться сама. В комнате ее матери стояло пианино, вечерами через щель под дверью до нее долетал та-

бачный дым, звон бокалов, топот армейских сапог и дамских каблучков вперемешку с громким смехом. Аба закрывала дверь, обертывала голову полотенцем и рисовала портреты оперных див и своих знакомых, а еще юношу с орлиным профилем.

— Твои краски воняют. Когда рисуешь, не забывай закрывать дверь, — слышала она от матери.

Как-то утром Прабабка явилась на кухню в халате, встала, уперев руки в боки, словно хотела помешать неизбежному разрушению своего исхудавшего тела, и прокричала:

— Передай своему ухажеру, который часами торчит под нашими окнами, чтобы нашел себе другую! — А чуть погодя с издевкой добавила: — Шопен!

Аба смотрела на мать и чувствовала, как от невыносимой жалости у нее подкашиваются ноги: после войны прошли годы, а мать по-прежнему выглядела как жертва недоедания, и при виде ее тела на Абу каждый раз "находило". Она отвечала с жаром: "Да, мамочка! Будет так, как ты захочешь!".

— Ты любила того Шопена?

— Шшш! — Аба сердилась, махала руками. — Какая теперь разница? Я вернулась во Львов, устроилась в больницу, часто работала сверхурочно. Потом вышла замуж, родила дочь. Как ты знаешь, сразу после родов у меня начался полиартрит.

Цвета в ее жизни начали доминировать много лет спустя — когда Аба получила квартиру в доме с витражом. Она записалась на вечерние курсы рисования для студентов, не побоялась выглядеть смешно. Говорила, что "летает" на эти занятия. Раскачивалась, опираясь на более крепкую ногу, и выстреливала тело вперед — действительно летала. Тогда-то она и нарисовала большинство картин, висевших у нас на стенах.

— Что ты думаешь об этом букетике? — она ткнула пальцем в набросок на разложенном мольберте, захлопывая черную шкатулку с рисунками. Букет подсолнухов мне понравился, но тон вопроса прозвучал по-детски неуверенно. Тогда я подумала, что Аба такой же художник, как мои куклы певицы, — понарошку.

Б*алконы*

В ту зиму — на дворе стоял девяносто девятый год — людям на головы начали падать балконы, и прогулки вдоль зданий стали опасны.

— Береги голову, — говорили каждому, кто выходил из дому.

"Вчера на такой-то улице с третьего этажа дома номер шесть лепнина с балкона обвалилась прямо на голову прохо-

дившей мимо женщине, — прочитала я в газете. — Несмотря на небольшой вес элементов архитектурного декора, женщину увезли в больницу с серьезной травмой. Сегодня сотрудники районной администрации убрали все выступающие фрагменты старинного фасада с целью недопущения подобных случаев в будущем". Я представляла себе, как у Миколы от ярости глаза становятся узкими-узкими и как он отправляется на поиски частей обесчещенного фасада. "Никто не может подсчитать, сколько сейчас в городе опасных балконов", — утверждали депутаты горсовета, узаконив тем самым дальнейшие обрушения. Порой балконы падали вместе со стоящими на них людьми; бывало, на лету они сносили и те балконы, что находились под ними.

Остатки рухнувших балконов с фасадов убирали редко, еще реже заделывали образовавшиеся бреши: в городе, как и у нас в квартире, действовал принцип, согласно которому в любом изменении усматривали волю Провидения. Микола считал, что так даже лучше — профессиональное вмешательство чревато появлением на благородной серости цветного пластика, а это гораздо хуже медленного естественного распада.

В ту зиму стало очевидно, что город устал веками расти вверх и начинает оседать вниз, словно неудержимая лавина, сметающая на своем пути все неровности рельефа и увлекающая их за собой вперемешку с камнями и глыбами земли. Никто не знал, не отправятся ли вслед за балконами, скажем, крыши, а за ними целые здания, дороги и люди, которых стихия зашвырнет в какое-то другое, неизвестно кем выбранное место.

В ту зиму быстро передвигаться не удавалось, подошвы слишком легких, вечно промокших ботинок, которые во Львов приходили в посылках из таких мифических стран, как Швейцария, с трудом цеплялись за грязную наледь и сугробы. Пенсионерки ковыляли с закованными в гипс конечностями. Они жаловались меньше всех, потому что помнили времена и похуже — войну, голод, этнические чистки, преждевременную смерть мужей. Их накрепко усвоенные навыки вкупе с библейской иерархией ценностей легли в основу выживания для более хрупких потомков. И правда, в девяностые смерть выкашивала в первую очередь тех, кому было за сорок.

— У меня такое впечатление, будто мои ровесники сели в один поезд и уехали, а я остался на перроне, — сказал мне тогда Микола.

В ту зиму мы виделись лишь изредка, всегда под предлогом изучения истории какого-нибудь старинного здания. После встречи в итальянском дворике он избегал оперных вос-

поминаний — видимо, почувствовал мое напряжение, но было уже слишком поздно, воспоминания обрушились как гром на мою бедную голову, это было страшно и волнующе, и я понятия не имела, как все это назвать. Я заново переживала смерть матери, но сейчас жажда ее присутствия была следствием страсти к ее любовнику.

Раз в несколько дней планово отключали свет. Целые улицы погружались во мрак, в окнах появлялись маленькие огоньки, я представляла себе, что внутри звучит церковное пение, и только отделение милиции озарял профанный электрический свет. В темноте Аба включала радио на полную громкость:

— *Говорить Київ. Дев'ятнадцята година, нуль нуль хвилин.*

Затем шли позывные Первой программы Украинского радио:

— *"Україна-Украї-і-і-на". Сьогодні Верховна Рада України ухвалила...*

Аба тоже была пенсионеркой и специалисткой по выживанию: у нее всегда был под рукой пучок белых толстых свечей, по углам в квартире стояли подсвечники разной формы, которые я находила на ощупь, отсутствие света не было для Абы чем-то особенным.

— *Спікер Верховної Ради України Олександр Мороз гостро скритикував ініціативу керівника депутатської фракції "Народний рух" В'ячеслава Чорновіла.*

Голубое пламя в окошечке газовой колонки в ванной ассоциировались у меня с пещерным костром доисторических времен. Я раздевалась, и прикосновения собственных пальцев казались мне чужими: они блуждали, словно слепцы, по неровностям моего тела, оставляли подушечками следы, напоминали о том времени, когда мне было три года. Я сидела в этой же самой ванне и прикасалась к этим же самым ногам этими самыми пальцами, впадая в странное полузабытье: вот мои ноги. Вот. Мои. Ноги. Мои. Ноги. Ноги. Ноги.

Тогда они были большие, розовые, распаренные. Никто не спрашивал меня, согласна ли я, чтобы они выросли и стали мохнатыми ногами взрослой женщины. Они сами так решили, проигнорировав меня, ту, что жила внутри, мне оставалось лишь принять их решение и наблюдать со стороны за их выходками, как это было в итальянском дворике.

С остальным моим телом все было точно так же: сначала оно само меня выбрало, а потом разрослось под моими ладонями, становясь чем-то совершенно отличным от тела Мамы, ухоженного, как орхидеи в горшке, срезанного аккуратным садовником-смертью. Я слышала, что святой Франциск Ас-

сизский раздевался и бросал свое тело на колючие кусты, когда оно отказывалось подчиняться, я же щипала себя за ноги, но тело застывало в упрямом возбуждении, не зря святой назвал его ослом. Я обливалась ледяной водой, чтобы тело задумалось о своем поведении; казалось, я пытаюсь вдавить педаль тормоза в пол, но тело выбирает иное направление, а ведь именно оно сидит за рулем.

Регулярный ледяной душ возымел незапланированный эффект: я заболела гриппом, и Микола начал приходить под мои окна. Он стоял внизу с двумя лимонами в руке, балансируя на выкорчеванной из тротуара плитке, а я сверху жестами наказывала ему беречь голову — помимо балконов на прохожих падали еще и гигантские сосульки. Он не обращал внимания на мои знаки и не двигался с места, пока его из соседнего окна не заметила Аба.

— Пригласи его, что же он стоит на морозе? Он ведь знает код от подъезда?

Помню, что в тот день у Прабабки как раз "случилась истерика", то есть она лежала в кровати и громко рыдала. Такие дни бывали, сколько я себя помню, и их могло ничто не предвещать. "Все дело в ее прошлом", — объясняла Аба, а затем относила ей стакан воды и белое вафельное полотенце. Плач усиливался, переходил в скуление и вскрики, ничуть не напоминающие обычный Прабабкин голос, — ее "прошлое" я представляла себе как безудержные прерывистые всхлипывания. На время визита Миколы "истерика" Прабабки прекратилась.

Он вошел на цыпочках и стал расхаживать среди картин. Я слышала, как он говорил Абе:

— Этот портрет — полное композиционное фиаско.

— А здесь достаточно изменить цвета на более светлые.

— Там вам напрасно померещился Модильяни.

— Я бы оставил только эту акварельку.

— Да, да, да, — восторженно поддакивала Аба, изголодавшаяся по профессиональному мнению. Потом они долго беседовали, сидя за чаем под моей дверью, а я радовалась: наконец-то у меня двое родителей, которые любят друг друга, под их крылышком я в безопасности, нужно соблюсти лишь одно условие — им можно разговаривать о живописи, но не о музыке, нельзя даже смотреть в сторону грампластинок, иначе истерика начнется у меня, мои слезы хлынут неудержимым потоком, из них получится черное озеро, а потом целое море, тоже черное, и никакому Богу не под силу будет его осушить.

Я слышала голос Абы:

— Вы могли и не оправиться после того удара. КГБ многих так сломал. Но — вот пожалуйста! — вы защитили диссерта-

цию, еще и в свободной независимой Украине. Жаль, ваш отец до этого не дожил.

По пути в туалет я увидела, как Прабабка склонилась в прихожей над стоящими на половичке ботинками и шипит что-то себе под нос; до меня долетело слово “мужские”.

Мне пришлось лечь обратно в постель, я получила какую-то таблетку от температуры, они продолжали разговаривать, а я прислушивалась из-за двери.

— Мне было лет шесть, — рассказывал Микола. — Я убежал от матери играть на чердак. Через щель в стене заметил нечто необычное: солнечные лучи играли на незнакомых мне предметах, спрятанных за перегородкой. Я не слишком удивился: знал ведь уже сказки об Али-Бабе и Алладине, так почему бы и мне не стать героем такой сказки? Я позвал маму, та позвала соседку, и через минуту мы все пробрались в недоступную раньше часть чердака. Помню их восторг: там лежали картины, столовое серебро, а еще покрытые пылью рулоны красивых тканей. Женщины были настолько потрясены увиденным, что не заметили, как я украдкой взял коробку со стеклянными пластинками неизвестного назначения. Я спрятал их там же, на чердаке, только в другом месте. А позже решился вынести коробочку на улицу. Помню, как сейчас: ранняя весна, лужи серебрятся на солнце, я сижу на крыльце. Я поднял к свету одну из пластинок: на ней был портрет дамы в шляпе. Поднял следующую: какая-то церковь. Тут-то и выяснилось, что непонятные пластинки — негативы: виды Львова, портреты людей в странных одеждах. Это было настоящее сокровище, только мое, сокрытое от взрослых глаз.

— Невероятная история! — вздохнула Аба.

— Спустя много лет я узнал, что до войны особняк принадлежал польскому фотографу, который исчез летом 1941 года, скорее всего, был расстрелян НКВД в одной из городских тюрем.

— А что с коробкой?

— Она по-прежнему у меня. И знаете, всегда, когда я слышу слово “красота”, я думаю о той даме в шляпе, даме с пластинки. Пожалуй, из-за нее-то я и стал художником.

Перед уходом Микола зашел ко мне, присел на край кровати, провел по моему лицу мозолистой ладонью художника.

— Не знал, что твоя бабушка специализируется на портретах, — в его голосе я услышала снисходительные нотки и почувствовала, как у меня заколотилось сердце, словно я выпила слишком много кофе “Форт”. После его ухода на краешек моей кровати присела Аба.

— Не знала, что у Миколы есть забавная шапка с ушами, — сказала она, а через минуту добавила таким тоном, словно до-

веряла мне какую-то тайну: — После войны такие шапки носили немецкие пленные.

После этих слов она рассмеялась свежо и по-девичьи, и я почувствовала, что предаю ее. Правда, не знала как.

Из комнаты Прабабки опять доносились громкие рыдания, постепенно сменившиеся воем, а затем пением — пронзительными вокализами старой сирены. Заслышав ее, все мореходы затыкают уши, поворачивают руль и уплывают далеко-далеко, чем дальше, тем лучше.

Святой Флориан

Если бы кто-нибудь тогда сказал мне: то, что я испытываю, называется “вожделение” — я почувствовала бы себя оскорбленной, а так тешила себя иллюзией, что мне просто жарко и поэтому я расстегиваю пальто. Мы гуляли неподалеку от Оперы по блошиному рынку, прозванному вернисажем, где в каждой китчевой картине, вышитой рубашке и деревянной ложке таилось воспоминание, которого я предпочла бы не иметь, пусть даже ценой отсутствия других воспоминаний, даже ценой утраты самой себя. Я не хотела туда идти, но позволяла себя вести, а он делал все, чтобы мы раз за разом проходили мимо несчастного творения Горголевского, украдкой бросая на него взгляды, цеплявшиеся за уцелевший лист на пальмовой ветви Славы[1] или за то место, откуда несколько лет назад убрали памятник Ленину.

— Что интересного в институте?

— Надо написать реферат о старом украинском коммуняке, поэте Д. Хожу в библиотеку, что-то там пишу...

— А в чем дело?

— Ну понимаешь, Д. этот... все мы учили в начальной школе его стишки о партии, а теперь он заделался патриотом и депутатом. Мне нужно для семинара по литературе написать о нем реферат на пятнадцать страниц. Противно, но я пишу.

Микола не реагировал, поэтому я взглянула на него и увидела, что от ярости он весь сжался: лоб пошел складками, нос ввалился, а глаза, брови и рот слились в одну щель, из которой, словно слюна, брызгало неодобрение.

— Нельзя никого поспешно судить. Черного и белого не существует. Ты читала его ранние стихи? Ты знаешь, что́ с

1. Скульптура, венчающая фронтон здания Львовского оперного театра.

ним было? Как его шантажировал КГБ? Не читала. Не знаешь. То-то.

Я испугалась, что так сильно разозлила его своей глупой болтовней, и замолчала. Молчала, пока не пришло время прощаться, а вернувшись домой, спросила себя: “А ведь и правда, не слишком ли я легко выношу приговор? Не слишком ли поспешны, а может, даже примитивны мои оценки? Пускай он меня теперь поправляет, пускай учит и наставляет. Сегодня он был слишком суров, но это ничего, кое с чем нельзя церемониться”.

Я почти убедила себя, что разочаровала Миколу, но уже на следующий день он позвонил как ни в чем не бывало и предложил встретиться возле пожарной части. Лекции затянулись, и я прибежала в условленное место с большим опозданием: его уже не было.

Я прижималась лицом к красной кирпичной стене пожарной части и думала, что на сей раз на моей совести нечто большее, чем глупая безрассудная болтовня. На сей раз это неуважение. Как я посмела заставить его ждать? Я — его! Мужчину! Выдающегося! Преподавателя! Исполненного печали! К таким обращаются на “вы”! И что мне теперь делать?

Не отрывая лица от кирпичей, я подняла взгляд и увидела святого Флориана — свидетеля нашего взаимного ожидания. Мне казалось, из-под высокого римского шлема на меня вот-вот обрушатся упреки, но Флориан, как и подобает мученику за веру, смотрел на меня ласково, а затем спросил: “А с чем собственно у Миколы проблема? Не слишком ли высока температура твоего тела в этот зимний день? Не стоит ли часом окатить тебя из пожарного шланга?” Я терлась лбом о шершавую поверхность, меня переполняли сомнения. “Мы с Миколой встречаемся ради интеллектуального развития, — ответила я, помолчав. — Без Миколы я бы даже не знала, что ты украшаешь собой нишу на фасаде пожарной части, даже не взглянула бы вверх”.

Я осмотрелась и заметила, что Микола, поджидая меня, оставил повсюду свои угрюмые самоклеющиеся взгляды; они повисли на деревьях, лежали на брусчатке и на рельсах, осторожно, кое-какие из них, словно Берлиоза, может переехать трамвай, и я буду в этом виновата. Я бросилась к ближайшей телефонной будке, чтобы ему позвонить, но он не отвечал. Звонила снова и снова, долго кружила по улицам, но в конце концов изо всех достопримечательностей города стала замечать лишь телефонные будки, из которых безуспешно пыталась ему дозвониться; из этой я уже звонила, иду теперь к той, а затем к следующей и следующей... ни в одной не было

его голоса. Я не теряла надежды, будок было много и каждая звала к себе, в неосвещенном нутре каждой было для меня местечко, каждая обещала милосердие и прощение. Наконец он ответил, привычная печаль в его голосе на сей раз была не столь печальной и чуть более злой. Я стянула с головы берет, а с шеи шарф, и этот метеорологически неоправданный жар вызвал в памяти мимолетное воспоминание о святом Флориане. “Это больше не повторится, – сказала я в телефонную трубку, – приду завтра, буду вовремя. Конечно, в мастерскую. Подъезд найду. Спущусь по лестнице вниз”.

Стекло

Меня будил неожиданный звонок в дверь, его пронзительный звук надвигался, как танк, я знала, что он раздавит меня в лепешку.

Меня будил шум голосов Абы и Прабабки, как всегда, сплотившихся пѐред лицом общего врага. “Вода, вода, – шептали они, – она снова лила воду под нашу дверь, бормотала какие-то заклятия”. Люба, соседка снизу, злая колдунья: она собирает на похоронах “мертвую воду” – ту, которой обмывают покойника, а затем выливает ее под нашу дверь, Прабабка видела это через глазок.

Меня будил скрип входной двери, звякание брошенных на холодильник ключей и стук сброшенных с ног туфель. Она кралась на цыпочках, я делала вид, что сплю, но раскаленная орбита моей кровати ждала промежуточной посадки ее ледяных пальцев, а истосковавшиеся ноздри вдыхали единственную в мире смесь духов, ветра и табака. Она уходила, не желая растаять в моем тепле, шла к двери Абы, а я превращалась в радар, посылавший ей предупредительные сигналы, чтобы она туда не входила. Интересно, чего я так сильно боялась?

Меня будил монотонный бубнеж телевизора за дверью, прерываемый словесными ариями Абы и Мамы, они постепенно переходили на крик, паника приближалась неумолимо, как черный воронок с энкеведешниками.

– Пакт Молотова–Риббентропа!

– Советско-немецкий парад в Бресте!

– Ликвидация Греко-католической церкви!

– Миллионы замученных в лагерях!

И сразу же после этого:

– Я имела право, потому что была одна. Ты отвечаешь за девочку.

— Ты сама была девочкой! Четырнадцать лет! Ты сама подбрасывала в почтовые ящики тобой же изготовленные листовки о преступлениях Сталина! Если бы кто-нибудь донес, тебя расстреляли бы на месте!

— Тебя уже вызывали на Дзержинского.

— Я ничего не боюсь.

— Марианна, ты не имеешь права рисковать собой. У тебя ребенок, у тебя дочь.

Меня будил звон, грохот и шум.

— Узы крови ничего не значат. Я украинка по собственному выбору.

Что это, стеклянный графин упал с полки, разбился и поранил Маму? А Аба обработала ей рану? Я засыпала, а потом меня снова что-то будило.

Днем я, как собака по следу, устремлялась за длинным телефонным проводом, который вел в ванную. Там горел свет, дымились сигареты, пенился шампунь с ароматом хвои, на стиральной машине “Сибирь” лежали обложками вверх книги. Мама сидела на закрытом унитазе. Она разговаривала со мной, не прекращая читать, только изредка отрывала взгляд от черных строчек. Я знала, что ее рассеянность — лишь видимость: она была похожа на водителя, который при любых обстоятельствах должен смотреть на дорогу.

— Вчера на уроках мы играли в XXVII съезд КПСС. Один мальчик был Горбачевым, другой Ельциным. Все получили красные карточки для голосования, как у делегатов.

— И какие вопросы были на повестке дня?

— Мы голосовали за выход прибалтийских республик из СССР. Единогласно “за”. Мама, а Украина тоже когда-нибудь будет независимая?

— Не знаю, малышка. Мы за это боремся.

Рядом с ванной, в узком проходе, эвфемистски именуемым кухней, горели все конфорки: грелась вода для мытья, кипел суп, жарилось мясо. Аба оставляла все, вытирала липкие руки о фартук, шла к нам, садилась на край ванны.

— Я как раз прочитала о зверской расправе над царской семьей в 1918 году. Еще одно доказательство, что мы всю жизнь жили во лжи.

— Я принесу тебе еще книг.

Мама мыла голову, поливая ее водой из ковшика, шампунь сильно пах хвоей, аромат возносился над ее волосами вместе с паром. Шелковый халат обтягивал ее девичью фигуру, на бедре виднелась тщательно заштопанная Абой дырочка, прожженная сигаретой. Повязка на Маминой руке напоминала о ночном происшествии со стеклом.

Я собиралась в школу. Зашнуровывая кеды, следила, чтобы случайно не начать с левого. По примете, если надеть сначала левый, умрет твоя мама. Обиженная мордочка моего левого кеда гарантировала нашу безопасность.

Я шла в школу, а она — на репетицию, на спектакль, редко к нему в мастерскую. Он как-то признался мне, что Мама не баловала его визитами, никому в театре не рассказывала об их отношениях, хотя все и так всё знали. Она всегда появлялась без предупреждения, входила быстрым шагом, бросала пальто куда попало. Он не позволял ей курить, заваривал кофе, просил:

— Спой!

Марианна хмурила черные брови, крылья ее носа хищно вздрагивали, но он знал, что она рада. Репертуар был не важен — это могла быть народная песня, сложная ария или монотонные упражнения. Он обнаружил, что голос — одна из ее ипостасей, что он преображает мир вокруг и в первую очередь самого Миколу; голос рождался из ее головы, как Афина из головы Зевса, сутью этого голоса было изобилие и излишество, ведь даже если природа дала бы ей вдвое меньше, думал он, она и так была бы невероятно одаренной певицей, но природа действовала с размахом, плевала на человеческую логику и привычку экономить, хотела дать больше, чем Микола мог вместить, может, даже больше, чем могла вместить в себя сама Марианна, и кто знает, не из-за этого ли изобилия умерла молодой?

Да, она редко заглядывала в его мастерскую, но, даже когда сидела напротив или лежала в его объятьях, Микола уже по ней тосковал — даже тогда она от него ускользала, а он не знал, каким словом назвать эту легкую пелену отчуждения, которая, по ее прихоти, стояла между ними, как стекло. Они были вместе и не были, она любила его и не любила, делала шаг в его сторону, а затем, неизменно, два назад. Ему доводилось слышать, что так ведут себя мужчины, когда хотят сбежать от обязательств, но от чего, черт побери, хотела сбежать она? Существовали только две темы, заставлявшие ее забыть о внутренних тормозах, — искусство и борьба с системой. С нарастающей тревогой он наблюдал, как вторая начинает брать верх над первой.

Однажды они лежали без сил на влажном покрывале, игла проигрывателя подпрыгивала на пустой дорожке пластинки. Марианна говорила:

— Это была моя вера. Равенство, справедливость, отсутствие эксплуатации, коммунизм еще при нашей жизни. Сталинские репрессии, в том числе смерть деда, я объясняла ошиб-

ками его подчиненных. “Он предал идеи великого Ленина”, — так говорили друг другу мы, молодые коммунисты. Но мы же не знали масштабов террора, ГУЛАГа...

Слушая, он пожирал взглядом ее лицо, вгрызался в кожу на шее, груди, животе.

— Я была идеалисткой. С отцом моего ребенка мы планировали пойти в КГБ, попросить выдать нам пистолеты и отправить в Чили, потому что хотели сражаться с Пиночетом. Передумали только потому, что секс оказался занятием более увлекательным.

— Покажи мне все, что вы для себя открыли.

Она высвободилась из его объятий, села.

— Хотя минуты сомнения у меня случались, когда я еще была подростком. Помню школьную линейку, где все пели:

Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой,
В горе, надежде и в радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне.
Ленин в тебе и во мне.

Все в экстазе, по щекам учительницы русского текут слезы умиления, а я открываю рот только для вида — я была влюблена в одноклассника, это он был в моей весне, а не Ленин. Я смотрела по сторонам и пыталась угадать, кто еще, как и я, только притворяется, что поет? У тебя бывали такие линейки?

Микола утвердительно что-то буркнул, продолжая путешествовать по ее телу.

— Зато атеистическая школа была для меня спасением от бабки и ее мрачной навязчивой набожности.

Микола оторвал губы от веснушчатых полей ее кожи, начал напевать:

— Внучка и бабка, внучка и бабка, внучка и бабка...

— А как ты терпел этот коммунистический кошмар? В школе, институте, на работе...

— Внучка и бабка, внучка и бабка...

Он перенес свое гибкое и упругое, как у гончей, тело, к роялю, начал наигрывать какую-то джазовую мелодию.

— Раз ты мой вопрос игнорируешь, отвечу на него сама. Ты знал правду от матери, но приходилось молчать. Ты учил свою собственную историю по красноречивому молчанию, взглядам украдкой, полу-улыбкам и недомолвкам. Потом появился самиздат и “вражеские радиостанции”.

— Моим спасением от режима был Польский народный театр.

— Раньше я думала, что в национальных организациях состоят только ограниченные люди, но, пожалуй, изменю свое мнение.

— Пьесы Ружевича и Мрожека[1] словно распахнули окно в другой мир. Знаешь, в польском театре были не только поляки. Наш режиссер, Валерий Бортяков, — русский, но для себя придумал еще одно определение: говорит, что по национальности он львовянин. Я чувствую нечто подобное, хотя я чистокровный украинец.

— Польская культура как окно в Европу... А потом ты из этого окна выпал?

Микола криво усмехнулся.

— Нет, всего лишь вылетел из института. Кстати, о борьбе — моя мама видела тебя на митинге. Сказала, что предпочитает слушать тебя на площади, а не в театре.

— Вот уж не думала, что доведется петь на улице. Хотя... искусство ведь принадлежит народу...

— Тебя уже вызывали на Дзержинского.

— А я ничего не боюсь, понимаешь? Недавно рабочие принесли мне букет роз, и я шипами исколола себе все пальцы. Подумала тогда, что первая кровь в борьбе с режимом пролита.

После этих слов Марианна начала одеваться, а Микола встал из-за рояля, лег у ее ног, обхватил колени.

— Останься на ночь, прошу тебя, умоляю!

— Завтра утром у меня репетиция, вечером спектакль. А в перерыве — политическая встреча.

— Как скажешь, — покорно ответил он, задергивая занавески на стремительно чернеющих окнах.

М*астерская* I

Было уже темно; улица, которая вела меня к цели, до недавних пор одетая в неровную брусчатку, теперь вставала подо мной на дыбы, я пыталась укротить ее ногами, обутыми в ботинки на толстой подошве, а вместо этого падала в яму, на уровень столетней давности. Я всегда мечтала побродить по Львову из прошлого — никогда по Львову из будущего, — но быстро поняла, что это не машина времени, а всего лишь ремонт дороги: часть старой брусчатки сняли, новую еще не по-

1. Тадеуш Ружевич (1921–2014) — польский поэт, писатель, драматург. Славомир Мрожек (1930–2013) — польский писатель, представитель театра абсурда.

ложили, рабочий день между тем закончился, рабочие разъехались по своим сельским хатам и забыли поставить предупредительный знак, впрочем никто во Львове и не ждал от них подобной любезности. Несколько мгновений я пребывала в идеализированном межпространстве, смотрела на окрестные особняки и деревья примерно с уровня падения Австро-Венгерской империи и польско-украинской войны[1], неспетые ноты дрожали у меня в горле, опоздать на эту встречу я не могла.

Я выбралась из ямы, но улица по-прежнему норовила сползти под моими ногами вниз, все ниже и ниже, и ниже, его дом был в самом конце, я вошла в подъезд, спустилась по лестнице, открыла первую, вторую и третью дверь, слишком молодая и зацикленная на себе, чтобы закрыть их за собой, последнюю распахнул передо мной он сам, и я тут же поняла, что он уже не сердится за мое вчерашнее опоздание.

Микола пригласил меня войти, я вошла в комнату, где не действовал закон всемирного тяготения, на стенах висели объемные макеты, на потолке — посмертная маска мужчины, между ними покачивался рояль, окруженный полками с книгами и виниловыми пластинками, а еще мольберт с начатым рисунком чьих-то сморщенных пальцев. Мы болтали о том о сем, а затем мой взгляд упал на лист чертежной бумаги на столе, и я спросила, что означают нарисованные на нем геометрические фигуры.

Он сел в кругу света от лампы — блеснула серьга в его ухе и обручальное кольцо на пальце, — указал мне на кресло напротив, положил на стол новый лист, в одном его уголке нарисовал несколько кружочков, в другом треугольники и разделил их жирной линией.

— Справа страна кружков. Кружки женятся на кружка́х, и у них рождаются круглые дети. Слева царство треугольников. Здесь треугольники женятся на треугольниках и рожают маленьких треугольничков. Эта линия — граница, а пространство вокруг нее — пограничье. Тут на свет появляются другие дети.

Он нарисовал кружочки, вписанные в треугольники, и квадраты, вписанные в круги, а еще — и эти мне понравились больше всего — многосторонние фигуры из наложенных друг на друга кружков и квадратов.

1. Польско-украинская война — вооруженный конфликт между Польской республикой и Западно-Украинской народной республикой на территории Галиции (1 ноября 1918 — 17 июля 1919). Причина конфликта — взаимные претензии на земли Восточной Галиции.

— Людям хотелось бы, чтобы эти дети отнесли себя либо к первым, либо ко вторым фигурам. Проблема в том, что дети этого не хотят. Они и то и другое сразу, в этом их исключительность. Однако большинство людей не признает такого выбора, не признает гибридных, смешанных форм. Большинство жаждет однозначных определений. Так легче жить.

— А ты? — спросила я.

— Я как раз такая помесь. Человек пограничья.

"Я тоже!" — чуть было не закричала я, но мне не хватило духу. Я уже поняла, что нужно быть осторожней в своих заявлениях. Через секунду я издала вопрошающее:

— Аааааа?

Вибрирующий в моем горле гласный переродился в силлабический распев, потом в вокализ и пение с закрытым ртом.

— Мама бывала у тебя в мастерской, — я хотела задать вопрос, но вышло утверждение, о чем я немедленно пожалела, его брови нахмурились, лоб знакомо сморщился, и незаданные вопросы застряли у меня в горле вместе с неспетыми нотами.

Я села рядом с раскаленной изразцовой печкой, с другой стороны стоял стеллаж с книгами, Микола встал надо мной и принялся снимать с полок альбомы. Он так гордился каждой книгой, что я не осмеливалась спросить, можно ли взять что-нибудь почитать; ни одну он не ставил на место, а давал каждую мне в руки. Я все глубже проваливалась в кресло, заваленная фолиантами, их благородная тяжесть давила мне на колени, в каждой руке у меня было по тяжеленному тому, на другие я поставила ноги в толстых шерстяных носках, моя голова касалась полки с дюжиной еще неснятых книг, мне было тяжело, как атлантам и атлантихам, то есть кариатидам, поддерживающим львовские балконы, я тащила на себе северный ренессанс и деревянную барочную скульптуру, облачалась в сецессию, ступала по гуцульскому орнаменту. Я упивалась россыпью алмазов, которыми он меня украшал, и в то же время нервничала из-за вынужденной неподвижности, отсутствия — вопреки всем правилам безопасности — аварийного выхода, я хотела встать, но обнаружила, что пригвождена, что его палец порхает возле моего виска и накручивает на себя прядь моих волос. Я была пригвождена, его бронзовая голова скатилась мне на колени, проторив себе путь через книжные завалы. Я была пригвождена, а его голос произнес простые слова, которые больше подошли бы играющему во флирт кавалеру былых времен:

— Ты мне очень нравишься.

Я наблюдала, как рушится архитектоническая конструкция моих представлений о мире, его слова были сродни дорожной аварии, известно, что это случается с другими, но самой стать ее участницей, а может — как знать, — и виновницей!.. И, как знать, сумеем ли мы остаться невредимыми...

"Что же нам делать?" — с языка чуть не слетали жалкие слова, казалось, теперь он должен снять с моих колен свою мудрую голову и немедля переложить ее под мчащийся поезд, на встречу с которым мы с этого момента шли вместе, но он умело высвободил меня из-под груды книг, поставил на ноги, прислонил спиной к горячей печке и начал целовать в губы. "У него красный свитер, — подумала я, отвечая на поцелуй, — святой Флориан был совершенно прав".

Мороз смягчал последствия пережитого возбуждения, когда, обессилев от поцелуев, мы брели неверным шагом между деревьев на улице Льва Толстого, и наши подошвы скользили по неровному асфальту.

— Что же нам делать? — спросила я наконец. Мне не хватало слов, чтобы объяснить ему, как меня ужасает вырвавшееся из-под контроля вожделение, как пугают меняющиеся из-за него оперные воспоминания; интуиция подсказывала мне остерегаться людей, которые обладают способностью изменять воспоминания, быть может, когда-нибудь я скажу своей дочери: берегись человека, который знает о тебе больше, чем ты сама?

Вместо ответа он завел меня в какой-то подъезд и прочитал лекцию о потолочной лепнине с добавлением мраморной пыли, а я думала о безобразных вспученностях на краске, которой эту лепнину выкрасили, и об отвратительных цветных украшениях на развешенных вокруг елочных гирляндах. Под ними мы тоже целовались.

— Пожалуйста, не звони мне больше никогда. — Это был, наверное, последний шанс выскочить из любовного треугольника с покойной матерью на заднем плане.

— Как скажешь, — ответил он.

Я уже знала, что наши слова мало что могут изменить.

Собор

Добрый Бог приходил после того, как гасили свет. Я могла играть в темноте с куклами. Напевать что-то себе под нос. Стыдливо трогать свое тело в некоторых местах. Грустить без причины. Следить за тенями от проезжающих машин на потолке или невольно подслушивать разговоры взрослых за стенкой. Я знала, что меня навещает Бог Отец, гораздо больше похожий

на настоящего, чем залитый кровью экзальтированный Иисус. Кто-то сказал мне, что Его называют Всемогущим.

Когда Бог спускался с книжного шкафа, я падала перед Ним на колени. Дрожа от страха, что меня заметят родные. Однажды Бог в порядке исключения навестил меня в ванной, куда как раз входила Аба. Увидев меня на коленях, она ничего не сказала, только загадочно улыбнулась.

Бог, как и Польша, принадлежал миру, который упразднили задолго до моего рождения. Я решила о Нем разузнать. Нашла в комнате у Прабабки молитвенник, взяла его и спрятала в ящике своего письменного стола. На пожелтевших страницах были в основном стишки с незнакомой мне довоенной орфографией. "Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój", "Ufam Tobie, boś Ty Wierny, Wszechmocny i Miłosierny", "Ach, żałuję, za me złości, jedynie dla Twej miłości"[1]. "Чепуха какая-то", – думала я, возможно, оттого, что с момента зачатия меня воспитывали на превосходной поэзии. Краткое содержание этого учебника правильных душевных метаний звучало бы примерно так: человек обращался к Богу, но Бог не хотел слушать. Человек не сдавался и продолжал говорить. Человек хотел от Бога многого, но Бог колебался, давать ли ему хоть что-нибудь. Раньше человек сделал что-то плохое, Бог об этом знал и человек знал, что Бог знает. Тем не менее человеку очень хотелось, чтобы Бог дал ему еще один шанс. Мне было странно, что человек так лебезит перед Богом.

Я подумала: Бога нужно как-то узаконить.

– Покрести меня! – попросила я Абу.

– Уже покрестила! – ответила она.

Оказалось, что меня еще в младенчестве Аба и Прабабка крестили на дому. Старый ксендз из Латинского кафедрального собора требовал согласия матери, но пожелтевший молитвенник гласил: в определенных ситуациях провести обряд крещения может любой человек, без чьего-либо согласия. Как-то раз, когда Мама ушла на занятия, две жрицы – не сказать, чтобы праведницы, – без надлежащего облачения, без благословения церковных властей, зашторили окна в средней комнате и облили меня украденной из Собора святой водой, твердо веря, что эта кустарная процедура смоет с меня клеймо первородного греха.

– А такое крещение считается? – усомнилась я. Ответа не последовало.

1. "Ангел Божий, хранитель мой, ты всегда при мне стой", "Доверяю Тебе, так как Ты – верный, всесильный и милосердный", "Ах, сожалею о моей злости, единственно ради Твоей любви" (*пол.*).

Латинский собор стоял в самом центре львовского мира — косточка внутри персика. Запертый на все замки, громадный и величественный, он не выглядел подходящим местом для детей, но один раз мне все же удалось попасть внутрь. "Бог — это отсутствие электрификации", — учили нас в школе, однако весь Собор был светом в форме множества сверкающих виноградин: они сияли золотым блеском, осыпались с купола на пол и карабкались обратно вверх. В их блеске на коленях стояла женщина в черном. Ее голову и спину закрывал платок, за ней тянулся хвост — четки. Она покачивалась из стороны в сторону, потом легла и начала извиваться по полу. "Религия — опиум для народа", — подумала я, глядя на нее.

Когда мы с Абой подошли к черной запертой двери, нам пришлось сначала постучать в нее ключами. Через какое-то время на пороге появилась очень бледная женщина с мальчишеской стрижкой. Мы шли за ней через темный притвор, беспорядочно заставленный мебелью, вдыхали запах лилий и подвала, я тащила за собой на поводке доброго Бога из ночной комнаты. Мы поднимались и спускались по ступенькам, неудобным для наших маленьких стоп — размер тридцать пять с половиной; за одной из дверей, мимо которых мы проходили, горел свет и кто-то играл на пианино. Мы долго скользили, как на коньках, по гладкому полу, пока нас не выбросило к алтарю. Хромой мужчина в белом задувал стоящие на алтаре свечи, у его ног крутилась кошка с выпирающими ребрами. Из неосвещенного алтаря до самых небес росли стебли длинных витражей, сквозь них пробивались переливавшиеся разными цветами солнечные лучи, они выхватили из тени очень бледную женщину, заиграли в ее неподвижных зрачках. Мы проходили мимо дремлющих в боковых нефах давно умерших мужчин в рыцарских доспехах. Старая женщина, что-то нашептывая, терлась о них всем телом — она была очень похожа на Прабабку.

Маленькие боковые алтари были заставлены вазами с белыми и красными пионами, рядом стояли на коленях молоденькие девушки, они обрывали лепестки и складывали их в тряпочные мешочки. Я взглянула вверх: на готическом своде, там, где сходились нервюры арок, напоминавшие ребра того кота, что терся о ноги мужчины в белом, было отверстие, через которое виднелся кусочек голубого неба — Собор был дырявый! "Сегодня-то солнечно, — подумала я, — а как же в другие дни, неужели тогда на головы верующих льется дождь и сыплется снег? Бывали в их жизни вещи и похуже, — ответила я сама себе, — это мелкое неудобство их мало волнует". И стоя вот так, с лицом, обращенным вверх, я заметила, что оттуда на меня смотрит миниатюрная женщина в короне;

Жанна Слонёвская. Дом с витражом

она возвышалась над алтарем как солнце, окруженная радугой. Аба исчезла.

Ко мне подошла монахиня в грубом черно-белом одеянии, из-под чепца выглядывали маленькие серые глазки. Она взяла мои руки в свои, начала водить ими вверх и вниз, повторяя по-польски: “w imię Ojca i Syna”[1]. “То же самое каждый вечер говорит Прабабка”, — вспомнила я, и вдруг монахиня больно ударила меня по пальцам, не выказавшим нужной ловкости, завела в боковую часовню, дала желтую книжечку под названием “Приди, мой Иисус” и сказала, что я должна выучить ее наизусть. В часовне тоже были витражи, на которых грустный седой мужчина вел куда-то ослика с сидящей на нем Девой Марией. Я бы тоже хотела сесть на такого ослика, и пусть меня увезут в какие-нибудь другие края получше, в город-крепость, где я найду приют и смогу остаться навсегда.

Кустарное крещение признали действительным, теперь мне нужно было подготовиться к первому причастию, объявила Аба, когда мы встретились у выхода. В притворе мимо нас прошла женщина, молившаяся возле барельефа рыцаря. Она опустила бархатные рукава в странную нишу, и на пол упало несколько капель воды. Я была почти уверена, что это Прабабка. К выходу нас проводила суровая монахиня.

— Do widzenia![2] — крикнула я ей на прощание, гордясь своим знанием польского.

— Так нельзя говорить в костеле! — злобно рявкнула та в ответ. — Так говорят на улице. Здесь Дом Божий, здесь нужно говорить: “Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”[3]

— Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! — повторила я, и черные двери захлопнулись у меня за спиной.

Всегда, когда у Прабабки случался хороший день, она раздвигала шторы, садилась перед зеркалом с щипцами и накручивала себе локоны, напевая при этом песенку, припев которой напоминал кукование кукушки. Порой она пела нечто очень странное, с повторами вроде:

— Prawy zamieszka na twej górze świętej[4]. Pra-a-awy zamieszka na twej górze świętej.

1. “Во имя Отца и Сына” (*пол.*).
2. До свидания (*пол.*).
3. “Слава Иисусу Христу” (*пол.*).
4. Дословно: “Праведник поселится на Твоей святой горе” (*пол.*) — перефразированный текст из Псалма 14. (“Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем”.)

При звуках ее высокого голоса мне становилось стыдно — как тогда, когда она при мне писала: голос ассоциировался у меня с прилюдным раздеванием.

Начав посещать службы в соборе, я поняла, что странные тексты — псалмы. Один раз я увидела Прабабку в притворе возле кропильницы — водой из нее она обильно поливала себе нос и грудную клетку.

— Да, она иногда поет в соборном хоре, — подтвердила Аба, глядя в сторону. Может, ей тоже эти песнопения кажутся чем-то неприличным?

— А с прадедушкой они познакомились в хоре?

— В 1925 году Прабабку одной из первых женщин приняли в Академическую капеллу в Ленинграде, и, несмотря на юный возраст, вскоре она стала заместителем дирижера. С прадедом они действительно познакомились на репетиции, он был одним из теноров.

Я смотрела в окно на кирпичную стену соседнего дома, обнажившуюся в том месте, где с фасада осыпалась штукатурка. Мне много раз говорили, что у прадедушки волосы были цвета кирпича на солнце. Его лицо проступило из узора трещин; я представила себе, как он поет с утра и до ранних зимних сумерек, а когда за окнами темнеет и остальные хористы, попрощавшись, идут домой по петербургским мостам, в зале все еще звучит торжественное двухголосие, потому что там остались он и она, дирижер и певец, меццо-сопрано и тенор, юная девушка и зрелый мужчина, низенькая и высокий. Женщина и мужчина поют без перерыва несколько дней, а может, и целый месяц — это их вокальный марафон, сродни поэтическому марафону моих родителей.

— Папа был старше мамы на десять лет, и происхождение у него получше: у его семьи было поместье в Литве, которое, впрочем, они потеряли. А родители мамы были крестьянами из тех же краев, в Петербург они приехали за хлебом. Семья папы категорически возражала против этого брака! Даже много лет спустя папина, тогда старая уже, сестра не захотела со мной встретиться. Как бы то ни было, папа влюбился и никого не слушал. Они обвенчались в храме Святой Екатерины, без свидетелей. Но это ты ведь знаешь, правда?

Я кивнула. В зале было холодно, сторож, следивший за печкой, уже ушел домой, но у певца все равно блестело от пота лицо, его распаляла близость молоденькой дирижерши, ее белая гладкая кожа, миниатюрные ступни и руки — всё это мы унаследовали от нее. Благодаря силе любви прадеда в Ленинграде на целых тридцать суток наступила полярная ночь: он не хотел, чтобы кто-нибудь помешал их близости — ни его

властная сестра, ни гневливая Екатерина II, в честь которой построили в Петербурге костел, ни несчастный Станислав Август Понятовский, которого в нем ненадолго похоронили, ни певцы, которым дирижер был не нужен, потому что в это самое время они возводили на Дальнем Севере километры ограждений из колючей проволоки, длинные, как ноты самого громкого аллегро жизни двух вокалистов.

— Они прожили вместе семь лет. В тридцать седьмом папа уже предчувствовал надвигающийся кошмар, но его было не испугать. Характер у него был независимый, он везде говорил, чть думал, а доносчики тогда были на каждом углу. Из нашего дома начали исчезать люди: чаще мужчины, но и женщины тоже — у моих соседок-близняшек забрали сразу и мать, и отца. Когда пришли за папой, я не спала. Он поцеловал меня на прощание, сказал, что это ошибка, что он скоро вернется. Двое мужчин ждали его в дверях. Больше я его никогда не видела

Арест отца стал центральной точкой жизни Абы, каждый ее рассказ так или иначе застревал на нем, как лодка на мели.

— Знаю, знаю, слышала. Расскажи про пение!

В ответ она сделала что-то с лицом: погасила взгляд, сжала губы, прикрыла уши руками, и только крылья ее носа мерно вздымались как крылья птицы.

— После этого пение закончилось навсегда.

Почему-то я знала, что она говорит неправду.

Кисти

Микола любил, разложив мои работы на полу, ходить по ним босиком, пальцами ног указывая удачные места, хотя большинство рисунков все равно никуда не годилось. Потом мы лежали на моей кровати, я думала о цветных пятнах у него на пятках, а он в перерывах между поцелуями продолжал рассуждать о том, почему художник из меня никудышный. Заслышав приближающиеся к двери шаги Абы, мы садились, а Микола снова вставал ногами на разрисованные листы бумаги.

— Подобный ход мысли мне хорошо знаком, — говорил он громко. — Тебе кажется, что ты первая, но ты идешь протоpенной дорожкой.

— Формы выдают влияние восточного искусства, — продолжал он, — но не это главное. Нет доминанты. Скажи мне, о чем эта работа.

— Ты ошибаешься! — с жаром перебивала его я. — Есть тема, есть доминанта, есть смысл! Это рассказ о дереве. О ветках и корнях. И о свете, который... который... на них играет.

Во время таких дискуссий я быстро начинала задыхаться и теряла голос — как будто исчезала связь между грудной клеткой, в которой рождались мои аргументы, и речевым аппаратом.

— Оставим содержание, поговорим об эмоциях. У тебя их слишком много. Ты вводишь дрожь, мельтешение, слезливость. Эдакое мелкое бабское болотце.

Хуже всего было то, что он прочитывал эти фразы внутри меня, они прятались там всегда — под легкими и диафрагмой, в глубине живота.

— Но эмоции и даже смешение стилей не самая большая твоя ошибка — это еще поправимо. И даже не отсутствие доминанты — в конце концов, ты можешь ее создать. Главное — вторичность того, что ты делаешь. Ты говоришь не своим голосом.

Мне нравилось, когда он меня критиковал. Благодаря этому я чувствовала, что делаю нечто важное.

— Учитесь, — почтительно говорила Аба, заглядывая в комнату. — А я вам бутерброды приготовила.

По дороге к нему я рассказывала, как начала рисовать. В художественную школу меня привела когда-то Аба.

Художественная школа — художка — находилась за памятником Мицкевичу: поэт берет лиру из рук маленькой крылатой музы у подножия величественной колонны, увенчанной не чем иным, как кистью! Похожие кисточки украшали крышу соседнего здания, где размещался магазин иностранной книги “Дружба”; Аба покупала там польские журналы “Пшекруй”, “Кобета и жиче”, “Урода”. Мицкевич стоял лицом к “красивому магазину”. Официально магазин назывался “Художник”, в нем продавались картины, краски и бижутерия ручной работы. Как и в тогдашних продовольственных магазинах, освещение там было слабое, и уже при входе нас приветствовал полумрак. На стенах висели виды Львова, пейзажи и натюрморты, к каждой картине прилагалась белая карточка с трехзначной цифрой и фамилией автора в нижнем углу, написанной непонятными буквами. Аба говорила, что на картины нельзя смотреть изблизи, нужно отойти шагов на десять, чтобы охватить взглядом целое, но здесь, в двух маленьких зальчиках, это удавалось с трудом, картины занимали каждый квадратный сантиметр стены и даже стояли вдоль стен на полу, поэтому при любой попытке отойти на нужное расстояние я видела одно большое полотно — сельский и городской пейзажи, портрет и натюрморт сразу. “Интересно, — думала я, — Мицкевичу с его колонны видно лучше?”

На продавщицах “красивого магазина” были темные национальные сорочки-вышиванки и по несколько ниток бус

бордового цвета, начинавшихся на шеях, а заканчивавшихся под стеклом длинных прилавков, за которыми они стояли. К этим бусам, как и к картинам, были прикреплены бирки с трехзначными цифрами. Продавщицы говорили совсем на другом украинском языке, чем продавщицы в продуктовых, они произносили слова торжественно, точно те были тяжелыми, как бусы на шее, и с такими же внушительными ценниками. Я знала, что у нас денег на покупки здесь нет, но Аба каждый раз затевала с девушками привычную игру: интересовалась ценой на картины, рассматривала бижутерию и стеклянные вазы, перебирала краски и кисти. Продавщицы отвечали неспешно, не выходя из-за прилавка, а я гадала, уходят ли они вообще когда-нибудь домой или их закрывают тут на ночь, положив в специальные футляры, как виолончели.

Художка находилась в большом здании. Тогда еще никто не знал, что здание в аварийном состоянии, что через несколько лет оттуда эвакуируют всех, включая замшелый кинотеатр на первом этаже, и дом сможет ветшать абсолютно официально, что со временем к нему присоединится Советский Союз, что они будут разваливаться наперегонки и ничто не спасет их от отвратительной агонии в самом центре Львова. Однако здание переживет империю, перед самой его кончиной молодежь разрисует стены яркими граффити, а исчезнув, дом станет для города чем-то вроде бреши в передних зубах, вот только неясно будет, от старости это и навсегда или на месте молочного зуба скоро появится постоянный.

Все это не имело ровным счетом никакого значения, когда я шла в художку на первое занятие. Я училась раскладывать тяжелый деревянный мольберт, прикрепляла к нему кнопками свой первый лист бристоля и решительно наносила на него первые штрихи.

Скульптурные инструменты — каждый по-своему вогнутый, по-своему выпуклый; пластилин дождя за окнами; наши лавки вокруг ванны с глиной. Мы сидели на них в серых халатах с длинными рукавами. Дяденька, принимавший меня в художку, видимо, потерял палец на фронте, он бормотал что-то о войне себе под нос, расхаживая по коридорам и посмеиваясь в черную бороду. В тот день мы получили от него задание вылепить человеческую голову и должны были позировать друг другу. Преподаватель вышел. Мы работали в тишине, зачерпывали руками глину. Все лепили свои футбольные мячи, моей моделью была Нина, единственная помимо меня девоч-

ка в группе. По залу пробежал шепоток, гомон постепенно нарастал, и вдруг стая мальчишек побросала инструменты и окружила нас плотным кольцом.

– Бей, бей, не жалей! – начал один. Остальные подхватили:

– Бей, бей москалей!

Они орали по-русски эту кричалку, скакали вокруг нас с Ниной, размахивали инструментами. Это была еще игра, я видела их гримасничающие рожи, длинные языки, растопыренные пальцы. Но вскоре выяснилось, что нас не выпускают из круга – мы оказались в ловушке. Они не умолкая скандировали:

– *Москалі – геть! Москалі – геть! Москалі – геть!*

В голову мне угодил первый влажный комочек, за ним второй. Нина получила глиной в лицо. Мальчишки быстро израсходовали глину, предназначенную для лепки, и остались с пустыми руками, а у нас был доступ к ванне. В зале запахло ранней весной в ботаническом саду, я зачерпывала глину горстями, лепила из нее пушечные ядра и метала их в головы противников. Блокаду мне удалось прорвать в том месте, где стоял коротышка по фамилии Цитович, вожак стаи; вместо того чтобы бежать, я обхватила его одной рукой и размазала по волосам глиняную лепешку. Прикасаясь то к его теплой голове, то к холодной глине, вдруг подумала: “Цитович живой...”.

– Я не знала, что я – москаль.

Мы сидели запершись в уборной, Нина посмотрела на меня недоверчиво.

– А они рогатые!

– Почему?

– Рогатые или *рагули*!

– А что такое *рагуль*?

– *Рагуль* – это местный украинец. Моя мама говорит: из дому тебя не выпущу, если начнешь гулять с “рогатым” ухажером!

Учитель смеялся в бороду, закрывая лицо искалеченной рукой. Мы вместе с ним вернулись в зал, а там как ни в чем не бывало кипела работа. Ряд глиняных голов разной величины стоял на краю ванны и таращился на нас.

Зонтик у меня был дырявый, а ботинки насквозь промокли, но я все равно бродила по улицам, увязая в грязи на тротуарах, которые под напором воды, казалось, утратили твердость. Нина уже думает об ухажере и даже говорит об этом с мамой, она будет ходить под одним зонтом с высоким парнем, а не со мной, они вместе пойдут есть мороженое, в кино

и к ней домой, а ее мама, открыв дверь, ужаснется — потому что из волос у него будут торчать ветвистые оленьи или кривые бычьи рога, а может, изящный белый рог единорога.

Прабабка говорила: местные. Слово как слово, но она выговаривала его по-особому, резала им как ножом. "Местные" от слова "место", мое место — Львов, и я сказала: я тоже местная, а она в ответ издевательски засмеялась; точно так же сегодня в туалете смеялась надо мной Нина.

Случай в художественной школе открыл мне, что у каждого есть национальность. Раньше мне казалось, что это касается лишь особо заинтересованных — например, Абы, которая все время твердила о своей польскости. А нам уже на самом первом уроке в первом классе велели выучить наизусть гимн СССР, где была строка о России, которая "сплотила навеки" все национальности из пятнадцати советских республик. Я представляла себе, как она прячет их в своем большом животе, а им там тепло и удобно. Среди "сплотившихся" народов отсутствовала единственная национальность: Аба с Прабабкой всегда понижали голос, произнося это слово — еврей. Такая тревога ощущалась, пожалуй, еще только в одном слове — Бог. Первое Аба произносила с опаской и в то же время неодобрительно. Второе втягивала в легкие вместе с воздухом, а потом громко выпускала наружу с долгим глухим "х": "Боххххх". Звучало так, как будто евреев она в чем-то обвиняла, а Бог, наоборот, в чем-то обвинял ее.

— Я полька до мозга костей, — говорила Аба.

— Я украинка по выбору, — сказала Мама.

— Москали — вон! — кричали мне мальчишки.

— Моя национальность — львовянин, — повторял Микола вслед за своим учителем Валерием Бортяковым. Последнее нравилось мне больше всего.

Из окон художки Мицкевича не было видно, торчали только голые ноги музы, прилетевшей к нему на островок посреди моря машин. Однажды я спросила Абу, почему поляки из Польши не забрали с собой и его, раз уж взяли Фредро и Собеского. В тот раз она объяснила мне, что памятник накрепко вписался в центр города, что вместе с ним пришлось бы забрать всю площадь и все стоящие на ней дома. Весомый довод, признала я с облегчением, Мицкевич был спасен — он сам и его длинные зеленые волосы, он сам и его многострунная лира, он сам и его голоногая муза, насчет которой я не была до конца уверена, мальчик это или девочка, кто знает, может, то так, то эдак, а может, и то и другое одновременно; ее тело прикрывали развевающиеся одежды, интересно, а вдруг в морозные ночи поэт снимал свой плащ и укутывал им

музу. А еще интересно, венчала ли когда-нибудь колонну не кисть, а заточенный карандаш, я слышала, что давным-давно этого Мицкевича прозвали “Карандашом”.

— Довоенным львовянам потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к памятнику, — говорил Микола.

От Оперы мы шли к Мицкевичу, ходили вокруг него, изучали, как он соотносится с силуэтами окружающих зданий. Как-то раз мы присели на этот островок в море машин, и Микола рассказал мне об одном событии начала восьмидесятых. Я этого ждала уже давно, но Микола редко делился со мной историями из собственной жизни — он напоминал коллекционера, который больше трясется над своими экспонатами, чем наслаждается их разглядыванием.

— Помню, что тогда колонна казалась сторожевой башней, одной из миллионов в этой стране лагерей. Актеры Польского театра стояли на ступенях постамента плотным кольцом, кагэбэшники чуть поодаль, на тротуаре. По традиции мы пришли с цветами, как и каждый год в начале театрального сезона. Помню, принесли гладиолусы с бело-красными ленточками. Было предчувствие чего-то плохого: из Польши долетали вести о “Солидарности”[1], Польша вызывала у *них* плохие ассоциации, а мы были из Польского народного театра. Мы возложили цветы, после чего *они* подошли и проверили документы у каждого. На следующий день нас всех выгнали — кого с работы, кого из института. Людей шести национальностей, за польский буржуазный национализм.

— А тебя?.. — спросила я.

— А меня исключили из Львовской национальной академии искусств, которая тогда еще так не называлась.

Под старость отец Миколы помягчел — будь у него сейчас сын-школьник, он не заставлял бы его целыми днями просиживать в душном доме. Оставив кресло директора Оперы, он вышел на пенсию и занялся столярным делом — мастерил неуклюжие столики и табуретки, засыпáл супружескую спальню стружками. Его беззаветная преданность советской власти, за которую он сражался на фронтах Великой Отечественной и по зову которой переехал после войны из Харькова во Львов, с возрастом ослабевала: во-первых, многолетний

1. Польское объединение свободных профсоюзов, созданное в 1980 г. (с декабря 1981-го по май 1986 г. — в подполье) и превратившееся в массовое антикоммунистическое движение. В 1989—1990 гг. привело к мирной революции и падению коммунизма в Польше.

опыт работы на руководящей должности научил его, что лицемерие, кумовство и бюрократия в этой системе непобедимы; во-вторых, сделали свое дело годы жизни с женой, среди родственников которой был не один член УПА[1]. По мере того как отец Миколы дистанцировался от возвышенных идей, воплощение которых в жизнь наполняло его отвращением и ужасом, его взгляд мутнел и даже приобретал непривычное, женское выражение.

С матерью Миколы все было иначе. Чем больше мягчел ее деспотичный муж, тем резче высказывалась она сама, чем больше утрачивал влияние вне дома он, тем увереннее выходила за пределы дома она – сначала на собрания разных проукраинских кружков, а потом на демонстрации. Это был масштабный блицкриг. Подруги удивлялись ее стремительно прогрессирующей полноте, что, казалось, вовсе не заботило ее саму, ведь для нее расширение тела было равнозначно захвату новых неизведанных территорий и укрепляло чувство, что этот дом и этот город принадлежат ей.

Узнав, что Микола получил волчий билет за польский национализм, мать побледнела и схватилась за голову; первой ее мыслью было: надо любой ценой скрыть это от отца. Поэтому они договорились, что в последующие месяцы он будет как и прежде уходить из дому на целые дни, делая вид, что идет на занятия. Кроме того, она посвятила супруга в тайный план по захвату подвального помещения, которое недавно освободилось после смерти жильца, еще довоенного пьянчужки. Отец рьяно принялся за дело, освежил связи в горсовете, уладил все формальности и выбил помещение, идеально подходившее для его нового хобби. Однако пользоваться им ему довелось недолго; он умер от сердечного приступа через год после случая у памятника Мицкевичу, как раз когда Микола делал первые шаги в новом институте, куда его приняли.

Из-за смерти отца все будущие успехи Миколы – красный диплом Харьковской академии искусств, работа сценографа в Опере и даже диссертация, защищенная в львовской альма-матер, – имели горьковатый привкус. Голос Марианны освобождал его от чувства мнимой вины. Он уносил Миколу за пределы его собственной и семейной истории, туда, где есть тяжесть и легкость, и еще много разного, из чего складывается личная свобода человека.

1. Украинская повстанческая армия – партизанские формирования Организации украинских националистов, действовавшие с 1943 г. на территориях, оккупированных немецкими и советскими войсками.

То же самое, думаю, он искал во мне, потому и решился на наш нескладный, нелепый роман. Ничего хорошего из этого не вышло — как я уже упоминала, по части музыки я была полный бездарь.

Ленин

— Я бы не хотела брать тебя с собой, детям там не место. Но раз ты настаиваешь... Да и в конце концов тебе уже тринадцать, — сказала Аба.

Уже тогда я обходила Оперу стороной, но это был особый день, спектакль должен был состояться на улице, к театру отовсюду стекались зрители. На дворе стоял сентябрь 1991 года. Микола успел получить диплом сценографа и несколько лет проработал в Опере. В тот день мы оба стояли в толпе, не подозревая друг о друге, и думали о Марианне. Миколе казалось, что в происходящем слишком много политики и слишком мало искусства; на него накатила невыносимая тоска по ее голосу. Он думал о том, что этого голоса нет ни на небе, ни на земле, а еще о том, чем это "нет" отличается от его собственного "есть" и не стало ли случайно его "есть" — или "есмь" — после ее смерти более омертвевшим, чем до знакомства с Марианной. Я же, напротив, вспоминала ее слова: мы — гумус, мы отдаем свою жизнь, чтобы удобрить землю, а плодов увидеть не успеем. Я представляла себе, что участвую в опере, которая вышла на площадь: "Искусство принадлежит народу", — а голос Мамы исполняет ведущую партию.

Я смотрела вверх: тимпан театра, как обычно, венчала аллегория Славы с пальмовой ветвью в руках; может, Слава все это и устроила, устав от того, что спектакли всегда проходят внутри здания. Золотой лист у нее в руках сиял и переливался на солнце, но истинный гвоздь сегодняшней программы находился гораздо ниже, и одна только я не смотрела в ту сторону. Я вставала на бордюр клумбы с маргаритками, подбородком касалась Абиной макушки: она была городом на золотой карте Абиной головы, из которого в разные стороны бежали седые нити автострад, теряющиеся в темных дебрях. Вокруг нас образовалось сначала одно кольцо разгневанных лиц, потом два, потом три, я поняла, что еще чуть-чуть и отсюда будет не выбраться, судорожно застегнула пуговицы на модной джинсовой куртке, доставшейся мне от Мамы, куртка все еще пахла табаком и взрослыми духами, одну пуговицу заменяла английская булавка.

Я стояла, глядя на Славу, кивнувшую головой, когда вступил хор: сегодня решили обойтись без увертюры. Хор пел на

два голоса: альты не могли допустить бесчестья вождя, басы требовали его свержения, между ними молча стояли курсанты военного училища, еще не знавшие, включат ли их партию в общую партитуру. Помню, что альты — то есть противники свержения — были дерганые, плаксивые и казались завернутыми в шуршащий целлофан, как головки их красных гвоздик; басы — сторонники — были старые, но крепкие, на их стороне выступали темноокие святые с церковных хоругвей. Среди альтов обнаружились учительницы из моей школы. "Почему они его защищают? — думала я. — Зачем он им? Разве они не читали о красном терроре? Разве у них не расстреляли отца? Не сослали деда в Сибирь? Мы — гумус, мы отдаем свою жизнь, чтобы удобрить землю, а плодов увидеть не успеем, говорила Мама. А они что хотели удобрить своими слезами?"

— Руки прочь от Ленина! — заводили альты.

— Чемодан — вокзал — Россия! — кричали басы им в ответ.

— Забрали бы уже наконец труп из мавзолея и похоронили, — заметила Аба. — Тогда он перестанет насылать злые чары и мутить умы.

— Матушка Божья, Заступница наша, не допусти кровопролития, — вздохнула возле нас какая-то женщина.

— Вон! Вон! Вон! — два хора сливались в один.

"Сейчас начнется", — подумала я, и мне уже слышалось соло. Мы — гумус. Не успеем увидеть.

— Форте!

Я снова смотрела вверх: застывшие руки Славы будто раз за разом посылали оркестру один и тот же сигнал. Потом раздался грохот: позолоченный пальмовый лист упал на головы участников представления. Руки у Славы наконец-то были свободны.

— Форте! Форте! Фортиссимо!

Вдруг ноты хористов полетели на землю и смешались, голоса зафальшивили, я слышала вой, скрежет, стон, меня отпихнули от Абы, я присела, скрестила руки на груди, сжала кулаки, а потом сплела пальцы за спиной, мне на голову летел песок и окурки, а женщина, обращавшаяся к Заступнице, докладывала, стоя на цыпочках:

— Хоругви отставляют в сторону. Вырывают у тех цветы. Хлещут их гвоздиками по щекам. Те плюют на сине-желтые флаги. Их разнимают солдаты.

От сидения на корточках у меня болели ноги, я плюхнулась прямо на тротуар, хорошо, что Аба исчезла, а то нудела бы про воспаление яичников. Со своего места я заметила, что у женщины, молившейся Заступнице, мужские ортопеди-

ческие ботинки, один больше другого, наверное, в детстве она перенесла полиомиелит. Длинные шнурки связывали не только ее ботинки, но и ноги. “Она похожа на стреноженную лошадь, как она сюда доковыляла?” — недоумевала я, а потом подумала, что, может, у всех здесь ноги связаны шнурками, и любое движение одного из нас тянет за собой тысячи остальных. Аба исчезла. Мы — гумус.

— Форте! Форте! Фортиссимо!

— Матушка Божья, смилуйся над нами, они же сейчас поубивают друг дружку!

Таким же серым, как тротуарные плиты, был Владимир Ильич — творение рук московского скульптора Меркурова, известного автора каменных вождей. Я упрямо не смотрела на памятник, но он по-прежнему стоял у меня перед глазами: мял в руках и так уже мятую кепку, топтался на своем похожем на печную трубу пьедестале, смотрел вниз глазами приговоренного к смертной казни. Кто-то облил постамент красной краской: она напомнила мне о том, о чем я хотела забыть.

— Вон! Вон! Вон! — они то ли кричали, то ли рыдали, все тише и тише. Это был великий день. Даже Зигмунт Горголевский присел на серые тротуарные плиты посреди толпы, держа во рту незажженную сигару.

— Ну и дела, — машинально повторял он. — Дела. Дела. Дела.

— Что вы обо всем этом думаете? — спрашивала я, не открывая рта. — Вы рады? Ну, наверное. Но ведь вы столько лет провели рядом, вы и Ленин. Как в коммуналке.

— Почему ты сидишь на земле? С ума сошла? Заболеешь! Умрешь! — воскликнула Аба и потащила меня за руку.

— Ты жива? — удивилась я, как человек с посттравматическим симптомом, хотя тогда этого термина я еще не знала.

— Хорошо, что девочка пришла. По телевизору этого не покажут! — бросил кто-то.

Я оторвала кеды от земли, взлетела. Когда мне было шесть лет, Мама наградила меня собственноручно изготовленной медалью за лазание по деревьям. Картонный кружок, на нем три черные веточки, посредине золотистый кот, каждый волосок на хвосте торчит вверх. Эту медаль я сохранила, она лежит на письменном столе под стеклом. У вас такой нету, пан Зигмунт.

— Почему так высоко??? Упадешь! Голову разобьешь!

Взглядом я искала Черновола, но вместо него на танк взгромоздился изможденный мужчина в жеваном костюме. Он читал что-то с листочка, мегафон барахлил, слов было не разобрать.

— Перечисляет главные преступления коммунизма, — всхлипывая, предполагала женщина, молившаяся Заступнице.

Пение стихало. И вдруг — последний взмах дирижерской палочки. Пауза. Раз-два-взяли!

В первую секунду вождь мирового пролетариата повис над землей как огромный колокол, не способный выдавить из себя ни звука, а потом с грохотом рухнул в кузов покрашенного голубой краской грузовика с надписью на борту “Люди”. Все аплодировали: и те, что внизу, и те, что наверху. Справедливость восторжествовала, приближается новая хорошая эпоха. Можно возвращаться домой.

Вдруг снова раздался грохот, я сразу подумала о Горголевском, он пережил не одно колебание Оперы, но сейчас театр собрался рухнуть вслед за вождем, лицом вниз летели статуи из ниш: аллегория Трагедии с завязанными глазами и тучная Комедия.

— Пойдем уже домой!

— Ничего страшного, просто какая-то плита выпала из постамента памятника, даже несколько плит.

— Надгробия[1]. Польские, еврейские. Сечевых стрельцов с Яновского кладбища. Как они туда попали?

Из цоколя выпадали надгробия, следом посыпались кости и черепа убитых режимом львовян разной национальности, ударившись о землю, они превращались в живых молодых людей, которые возвращались к своим семьям, к себе домой, а идол клонился к земле, падал, рассыпался в прах. То же самое произойдет, когда уберут труп с Красной площади, из-под него вывалятся целые деревни и города, а толпы людей в тюремных робах и со следами смертельных выстрелов выйдут на улицы, тогда-то и наступит страшный суд с отделением овец от козлов. Раздастся соло, мы гумус, но удобрять уже ничего не понадобится.

— Золото! Там золото! Коммунисты спрятали в постаменте!

Женщина, молившаяся Заступнице, резко оттолкнула Абу и бросилась вперед, я помогла Абе удержаться на ногах, молодые парни в форме встали плотной цепью вокруг зияющей ямы от вождя, а надгробные плиты наваливали на другой грузовик, который, как и первый, уехал в неизвестном направлении. Мы с Абой пробивались к выходу, я держала ее за опухшую руку, набрякшие вены на тыльной стороне кисти были похожи на карту Советского Союза с отмеченными местами,

1. После демонтажа памятника Ленину во Львове выяснилось, что пьедестал сооружен из надгробных плит.

где еще не снесены памятники Ленину. Вокруг нас замелькали бутылки “столичной”, люди пили из горла, передавая бутылку из рук в руки. Разные группки распевали народные песни, дирижер был уже не нужен. Мы явно шли не в ту сторону: толпа перед нами сгущалась, нас выбросило ровно туда, где еще недавно стоял Ленин, солдат уже не было, я увидела, как мужик с расстегнутой ширинкой, стоя над свежей ямой, поливает ее обильной струей мочи. Поймала на себе осуждающий взгляд Абы: мне не следовало это видеть, сейчас я превращусь в соляной столб. “Дорогая Аба, — ответила я ей без слов, — да ведь все мои мысли заняты сейчас Зигмунтом Горголевским, мне его ужасно жаль, сама не знаю почему, сейчас расплачусь”. На самом деле слезы от избытка чувств вытирала украдкой Аба, и, когда мы уже шли в сторону дома по проспекту Ленина, она сказала:

— Не поклоняйся кумирам и не служи им. Сбылось слово Божие, мы тому свидетели.

Я горячо закивала в знак согласия и тут же почувствовала, как расстегнувшаяся булавка, соскользнув с воротника куртки и проткнув свитер, впивается мне в кожу где-то в области ребер.

М*астерская* II

Пройдя несколько улиц, мы оказались на Льва Толстого, спустились вниз, плотно закрыли за собой дверь и легли на диван, накрытый покрывалом с желтыми одуванчиками. Игла проигрывателя бороздила черное озеро пластинки. Ко мне ненадолго вернулся голос, я несколько раз повторила: нельзя, не надо, не нужно, не хочу, не умею, не знаю. Сама не любила такую болтовню, и Миколе она не понравилась, он отвернулся, одним резким движением убавил звук, встал с дивана и начал что-то наигрывать на стареньком пианино. Он слишком сильно ударял по клавишам, я боялась, что сейчас вдавит их внутрь, тогда придется приглашать специалиста, мне нечем будет заплатить, я выйду одна на морозную улицу, умру в подворотне, потому что возвращаться домой мне тоже будет незачем. Микола уже импровизировал, как в джазе, подпевая самому себе:

— *Куль-ба-ба! Куль-ба-ба!*[1]

Покрывало было жесткое и влажное, я лежала на спине, гребла в ритм его мелодии, буйки остались далеко позади,

1. Одуванчик (*укр.*).

маяки исчезли за горизонтом, спасатели давно ушли в отпуск, я сама стянула с себя серый шерстяной свитер, серую растянутую футболку и серый застиранный лифчик, перевернулась на живот, мне мерещилось, что моя голая спина зарастает одуванчиками, а он как раз о них, о *кульбабах*, поет, целое поле желтых весенних одуванчиков, по одному цветку из каждой веснушки, и все они вместе со мной раскачивались в такт мелодии.

— *Куль-ба-ба! Куль-ба-ба!*

Темп ускорился, одуванчики из желтых стали белыми и пушистыми. Микола сдувал их быстрым дыханием, моя спина превратилась в кладбище, на котором вместо крестов торчали облысевшие цветочные головки.

— *Куль-ба-ба! Куль-ба-ба!*

Неожиданно раздался стук в дверь, хотя мы не слышали шагов. Микола набросил на меня грязный халат и легонько подтолкнул в сторону пианино, чтобы я присела за ним и спряталась. Я вжалась спиной в частокол книг на нижних полках стеллажа, я — карманная женщина и сама не знаю, какое слово звучит более оскорбительно: “карманная” или “женщина”. Микола впустил в комнату мать, ее взгляд сновал по стенам, она принесла ему горячий обед, а он рассердился и сразу же ее выпроводил, словно сама мысль, что он мог испытывать голод, показалась ему унизительной, как и мысль, что он рожден женщиной. Я сидела на полу, уставившись в то место, где расходились полы халата, смотрела на свою грудь. “Молочные железы” — так было в описании рентгеновского снимка легких. “Молочные железы”, из которых не вытекло ни капли молока. Молочные железы. Молочко одуванчиков. Одуванчики. *Кульбабы.*

Мать ушла, закрыв за собой все двери, мы снова легли рядом, Микола снял брюки, ноги у него были тонкие и длинные, похожие на ходули, это выглядело как-то несерьезно, обычно ноги прикрывала одежда, а еще я увидела, что он носит голубые трикотажные кальсоны, наверное, и вправду был когда-то ребенком. Но сейчас эти хрупкие ноги превратились в логово дикого зверя, вставшего под кальсонами на дыбы, Миколе приходилось сдерживать его рукой, чтобы он не набросился на меня и не разорвал.

“Вот он, грех”, — думала я, не в силах отвести взгляд.

— Хочешь, познакомлю тебя со своими интимными органами? — спросил он обычным преподавательским тоном.

Я нерешительно кивнула, тогда его рука проскользнула в пещеру и изнутри отворила дверь, за которой дремало чудовище, я видела его подрагивающую кожу и страшную пасть.

Во время открытого урока Микола нежно гладил его по голове.

— Это мошонка, в ней находятся яички. Это головка, а это называют крайняя плоть. Отсюда писают. А то, что сейчас происходит, называется эрекция.

“Вот он, грех”, — в мозгу колотились слова, мешая усваивать новое знание. Между ног у меня все пылало, я боялась, что это заметно, там наверняка все светится красным, сейчас он это увидит и решит, что я падшая женщина.

— Неужели ты девственница?

— Я же хожу в храм.

— Мое поколение выросло без Бога. Нам о Нем никто не рассказывал.

— Но сейчас-то ты знаешь.

— Я крестился несколько лет назад.

— Ты не ведешь себя как неофит: не ходишь в церковь.

— Я не считаю грехом телесное проявление любви.

Я оторвала лицо от складок влажного покрывала, протянула руку, погладила его, как кота, хотя он вонял, как пес, я бы хотела, чтобы он позволил мне запустить пальцы в его жесткую шерсть, чтобы закрыл глаза и предался мурчащему блаженству, чтобы мы вместе наслаждались близостью наших тел, но у него была своя программа, он избрал противоположное направление, хотя наши сплетенные тела, казалось, говорили об обратном. Я погружала в него пальцы, чтобы лепить из него, как из пластилина, но они наталкивались на надвигающуюся гору, даже горы его слушаются, он сильный и высокий, как Говерла, я больно об нее ударялась, а он проникал в меня, словно гипс в форму, не спрашивая, хочу ли я еще при жизни стать памятником самой себе.

— Сними эти сережки, — внезапно простонал он, — это такой же китч, как твои картины.

Я вынула из ушей цветные камешки, хотя очень их любила, и швырнула на пол, а он продолжал блуждать по моему телу, не нуждаясь в компании. “Почему его так манит мое тело, жалкий братец-ослик, мечтающий лишь об одном, — чтобы его погладили и приласкали”, — думала я, а он вдруг вскрикнул, как будто только что обнаружил давнюю пропажу, заскулил с закрытыми глазами, прижимая мою руку к своему влажному члену, словно хотел, чтобы я сдала экзамен на тему его строения. Через мгновение объявил все тем же тоном преподавателя:

— Так выглядит эякуляция.

Надел кальсоны, встал, подошел к плите, всыпал в итальянскую кофеварку три ложки кофе “Форт” и стоял спиной ко

мне, пока горячая жидкость не начала с шипением проникать в верхнюю камеру. Затем налил кофе в две чашечки с толстыми стенками и молча протянул мне одну.

Когда мы вышли из дома, на улице было темно и морозно, мы поскальзывались на островках грязноватого льда, моя рука в его кармане, его рука в его кармане. Я изо всех сил старалась незаметно прошмыгнуть по улицам, где полно было его студентов и знакомых, прошли те времена, когда я шагала медленно, не отрывая взгляда от крошащихся голов польских поэтов в нишах на верхних этажах, сейчас улицы превратились в сплошную полосу препятствий, а мой подозрительный взгляд был лазутчиком, которого я выслала вперед. Микола, как всегда, шел не спеша.

Мы задержались возле одного здания неподалеку от политехнического — эклектика, обрати внимание на круглые башенки на самом верху — вошли в арку с белой лепниной — исполнение хорошее, художественной ценности никакой, — прошли через двор, заставленный вросшими в землю "запорожцами" под брезентовыми чехлами, мне бы тоже такой пригодился, небо как раз начало выплевывать шматки мокрого снега — мои руки на моей голове, его руки на моей голове — со двора попали в следующую арку — взгляни на кованый почтовый ящик, какой-то идиот покрасил его коричневой масляной краской, — а оттуда в следующий двор, там я увидела крытую жестью пристройку, град стучал по крыше, пробивая ее, а заодно и наши головы, насквозь. Мы постучали в дверь, нам открыл мужчина средних лет с клоками черных волос по бокам лысого черепа; он сразу же заметил наши сплетенные пальцы. Мы вошли внутрь, помещение было так плотно забито головами, что некуда было сунуть собственную; головы стояли рядком на длинном столе, с шеями и без, матовые и блестящие, из камня и дерева, все сразу же повернулись в мою сторону и начали меня рассматривать — в их глазницах не было снисхождения к моему греху. Посреди этих мертвых голов мелькала лысина хозяина, готовившего нам угощение. Он приставил к стене лесенку и забрался под самый потолок, чтобы снять с полки какие-то бутыли, при этом задевая головой росший там лес из ног: ноги были прямые и скрещенные, каменные и металлические, все босые. Стоящий рядом шкаф украшали бумажные Девы Марии в золотых коронах и портрет бывшего украинского премьера Виктора Ющенко. Микола с хозяином сели к нему лицом, разлили по стаканам мутное вино из оплетенной лозой бутыли. Я тоже пила, и после первых же глотков головы начали

накладываться: хозяин на Богородицу Язловецкую, волосы Миколы на волосы хозяина, волосы Миколы на лысину хозяина, волосы Миколы на лысины мертвых голов, все до единой Тараса Шевченко, их тяжеленные лбы нависали над выпученными глазами, ниже болтались длинные усы и завязки вышитых сорочек. Микола с хозяином обсуждали какие-то сложности, связанные с надвигающейся факультетской конференцией, жаловались на декана, делали пометки на обороте исписанных листков, а я пила непрозрачную жидкость, середнянское вино из солнечного Закарпатья, созревающее в изумительных подвалах, построенных турками четыреста лет назад. Головы были одинаковые, да не совсем, я заметила одну с лысиной и нависшим лбом, но без усов — внимание, посторонний! — интересно, как она сюда пролезла, я разглядывала ее все внимательнее, мы уже встречались, и ту встречу не назовешь приятной, я хлестала середнянское как воду и пыталась вспомнить точную цитату из "Руслана и Людмилы", когда влюбленный страдалец ищет невесту, а вместо нее находит в чистом поле огромную голову:

...смотрит храбрый князь —
и чудо видит пред собою.
Найду ли краски и слова?
Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объяты.

"Руслан справился", — подумала я, потому что, когда голова начала дуть на него изо всех сил и сбросила с коня, когда стала кричать и дразнить своим страшным языком, он в рамках самообороны быстренько пронзил ее копьем, я же была беззащитна да еще и голодна, пыталась углядеть что-нибудь съестное, но на столе стояло только варенье из красной калины, *червона калина*, терпкое и горькое. Аба давала мне такое по ложечке, когда болело горло. Микола с хозяином обсуждали проблемы с деканом, говоря о его старческом слабоумии, сочувственно цокали языком, а может, все дело было в калине: жесткая кожица приставала к языку и зубам, ее сложно было отлепить, а потом прожевать. Голова-чужак неплохо замаскировалась среди бюстов поэта-пророка, вторглась в его вишневые садочки с угнетенными крестьянками и вооруженными гайдамаками, но и это было ничто в сравнении с дюжиной распятых без креста Иисусов под потолком: интересно, смотрит ли он хоть изредка в их сторону, шлет ли им свои беззвучные атеистические проклятия?

— Откуда эта голова? — едва слышно спросила я.

Хозяин подмигнул мне, подлил середнянского и живо переключился на другую тему. Он говорил о лете 1990 года и офицерских женах, протестующих под Оперой против сноса памятника Ленину, о найденных в постаменте еврейских надгробиях и скульпторе Меркурове — якобы тот был единственным членом масонской ложи в Москве, которому посчастливилось умереть естественной смертью. Сюда же приплел легенду о мнимом самоубийстве архитектора Горголевского из-за оседания театра — мы с Миколой не стали его поправлять, но многозначительно переглянулись; под конец хозяин дошел до момента, когда голубой грузовик со свергнутым памятником въехал на задний двор одного из львовских заводов, и статую в присутствии небольшой кучки свидетелей положили лицом на землю. Тем не менее весть о низверженном вожде мирового пролетариата быстро облетела весь город, и на завод зачастили делегации любопытных. Из Киева даже приехала специальная комиссия, которая постановила, что условия хранения Ильича неудовлетворительны. Так и сказали — то было время, когда Ленина уже можно было демонтировать, но еще нельзя было утопить в грязи. От него следовало избавиться цивилизованным и недорогим способом, поэтому вскоре в укромном уголке состоялась еще одна казнь, на сей раз не столь помпезная — Ленину отрезали голову; туловище решили приспособить под памятник жертвам коммунистических репрессий, а до поры до времени спрятали на каком-то складе.

— А как к вам попала голова? — поинтересовалась я, но хозяин только рассмеялся, долил мне вина, хотя я еще не выпила предыдущую порцию, вино начало переливаться через край, это рассмешило его еще больше, он скорчил страшную рожу, похлопывая себя по напоминающим футбольные мячи коленям, я не знала, как заставить его продолжить рассказ, поэтому спросила:

— Что вы чувствуете, когда стираете с нее пыль?

— Я не стираю с нее пыль. Я вытираю об нее ноги, — расхохотался он.

Лицо Миколы перекосилось от отвращения, на него наложился Ющенко со стены, а на рожу хозяина — Ленин, который приблизил ко мне прищуренные глаза главного чекиста и хрипло признался:

— Я тебя узнал, ты дочь Марианны.

Стакан перевернулся, недопитое закарпатское вино потекло мне на джинсы, мой собеседник вскочил и начал вытирать меня куском красной ткани, заботливо заглядывая в глаза. Рассказал, что он тогда был в гуще событий, пел *Червону калину* так, что сорвал голос, у него есть двоюродный брат,

который собственными ушами слышал выстрелы, два или три, когда это было — в июле или в августе? Я отключилась и погрузилась в истому, сочащуюся из облака прославленного мученичества моей матери и тяжелого сигаретного дыма, мне нечего было сказать о той истории, они и так все знали лучше меня, хозяин продолжал умиляться собственным воспоминаниям, Марианна действительно была реинкарнацией Саломеи Крушельницкой: то же звучное меццо-сопрано, украинское от первой до последней ноты. Он сам, кстати, загорелся идеей издавать истинно патриотический журнал, посвященный культуре, только не знает, как найти спонсора, и не уверен насчет названия. Лучше всего “Незалежність” или “Червона калина”, что скажем?

— Мы знакомы много лет, — произнес Микола, когда мы вышли во двор. — Я многим ему обязан: с его помощью попал в институт, он уговорил меня защитить диссертацию. Но правда и то, что когда-то он специализировался на бюстах Ленина.

Мы брели по колено в свежем снегу через проходные дворы, моя голова на его плече, его голова на моей голове, оба безуспешно пытались прожевать горькие ягоды, которыми нас угощали.

“Желаю всего самого лучшего тебе и твоей ученице”, — сказал Миколе на прощание хозяин, и теперь я не могла избавиться от ощущения, что взгляд, который он бросил в мою сторону, выжег на моем лице клеймо.

Ш*катулка*

Снег уже почти стаял, лишь кое-где наши ноги скользили по грязным снежным ошметкам: мои в розовых сапожках, Абины — в черных ботинках на толстой подошве, Мамины — в фетровых белых ботиках, цветом напоминавших подснежники, которые продавали теперь на каждом углу Академической. Эти простые цветы не годились для сегодняшнего повода, поэтому мы шли на Галицкую площадь.

— Разве это весна, пришел марток — надевай семь порток, — ворчала Аба, — а еще шапку. И теплые зимние ботинки. О своем организме нужно заботиться.

— А может, я этой своей организмы не выношу? — спрашивала Мама, то ли в шутку, то ли всерьез. — Может, я эту суку хочу прикончить?

Я давно знала: внутри Мамы жили две женщины, ненавидевшие друг дружку.

Тетки с цветами стояли сразу при входе на площадь: гиацинты и нарциссы, дальше, под крышей, гвоздики и розы. Мы прошли внутрь за большим букетом гвоздик в твердом, будто стеклянном, целлофане.

— Терпеть не могу эти мещанские обеды! — вздохнула Мама.

— И не стыдно тебе, Марианна? — возмутилась Аба. — Чуть больше уважения к людям! И благодарности!

Машины, мчавшиеся по улице Ивана Франко, поднимали в лужах серебряные цунами, оправленные в золото весеннего солнца. Мы ждали на трамвайной остановке двойку, я смотрела на уходящую вверх улицу Ленина, и мне казалось, что она ведет к морю или другому прекрасному месту, где я еще никогда не бывала. На самом деле трамвай сначала проезжал мимо серого костела Святого Антония, потом мимо белой церкви Петра и Павла. Мы вышли там, где перед параллелепипедом неведомой мне святыни стоял зеленый танк с направленным в нашу сторону дулом. Мы искали дом с надписью “Наш прапор”[1], соседний под названием “Ленінізм” был уже не наш. К входу вели три ступеньки — две низкие и одна высокая. С низкой Абины ноги справились без труда, но перед высокой вынуждены были остановиться. Аба развернула одну стопу боком и безуспешно пыталась поднять ее на нужный уровень. Опираясь на наши руки, она раскачивалась, закрывала глаза, пока наконец не сумела подбросить вверх свое маленькое тело, а на ее гладком, почти не тронутом морщинами лбу выступила испарина.

В отличие от большинства подъездов, лестничная клетка в этом доме была светлая и чистая, на каждом этаже стояли кактусы в горшках, а на ступеньках даже лежало нечто вроде ковров. Современный лифт гудел, как заводы нашей бескрайней социалистической родины.

Дядя Алексей, брат моего давно умершего дедушки, вместе с женой, тетей Марией, поджидали нас в дверях своей квартиры. У обоих были торжественные мины, которые они надели вместе с нарядной одеждой по случаю сегодняшнего торжества. Я знала, что мины у них бывают и другие, — видела как-то раз, когда мы случайно встретились в городе. После приветствий, вручения цветов и завернутого в газету подарка — тяжелой керамической вазы — дядя как заправский дамский угодник помог каждой из нас снять пальто. У него были длинные редкие волосы, старательно зачесанные назад, и

1. Наш флаг (*укр.*).

большой овальный живот, который он нес перед собой так бережно, словно его содержимое было бесценно. Дядя был в светлой накрахмаленной рубашке и брюках от костюма. После его приветственного поцелуя меня передернуло от отвращения: влажными губами он втянул в себя кусочек моей щеки и мгновение нежно его пережевывал. Вытереть щеку после этого было бы невежливо. У тети тоже был немаленький живот, обтянутый серым шерстяным платьем с пояском, вся она была будто сделана из сухой бумаги — вместо меня поцеловала воздух. У дяди с тетей не было детей, Мама была единственной племянницей дяди, и, сколько я себя помню, каждый год мы ходили к ним в гости на званый обед по случаю его дня рождения.

В прихожей, залитой бледно-зеленым светом, тетя Мария вынимала из тумбочки тапочки — все неношеные, все заграничные. Новыми были и книжки в застекленных шкафах, стоявших вдоль стен прихожей. Корешки были тщательно подобраны по цвету, на самом верху стояло темно-синее собрание сочинений Ленина.

— Дорогие гости, милости просим в комнату!

Неуверенно ступая по ковролину, похожему на румяную корочку бисквита, пахнущего ванилью и лимоном, мы вошли в гостиную, где на нас обрушился блеск и жар. Зеркала и люстры, свечи и серебро, посредине заставленный стол, вокруг него гости — пожилые и молодые мужчины в костюмах, дамы разного возраста, лысеющие и с шестимесячной завивкой. Старшее поколение представляли военные товарищи дяди, с которыми он сражался под Сталинградом, Курском, Краковом и Берлином. Когда я была помладше, то не могла поверить, что толстый дядя был солдатом, поэтому на одном из предыдущих приемов к радости присутствующих он снял штаны и продемонстрировал мне два неровных углубления на бедре, — в том месте, где его пронзили пули, — а я, как Фома неверующий, вложила в них пальцы.

На столе нас ждали закуски: фаршированные яйца с грибами и майонезом, бутерброды с черной и красной икрой, свекла с черносливом, неизменный оливье, домашние маринованные перцы, помидоры и огурцы, селедочка и грибочки, тонко порезанный сыр и разные колбасы, с маленькими и большими кусочками жира. На подоконнике стояли бутылки: вино, шампанское, водка, коньяк, “Боржоми” и лимонад.

Гости сидели в легких современных креслах и на стульях возле зеркального серванта, а также на пружинном диване, покрытом тонким ковром. Одной из них была Фиолетовая — ее голос я услышала еще в коридоре, — “любимая крестница”

дяди. Имелось в виду не церковное таинство, а близкие связи, для которых советские люди порой использовали религиозные термины. Забавно: Фиолетовая родилась в один день и в один год с Мамой, и каждая играла в жизни дяди особую роль: Мама была его единственной племянницей, Фиолетовая – дочерью ближайшего друга и товарища по оружию, как и мой дедушка, уже покойного.

– Дядя дорогой, сядьте уже! – трубила Фиолетовая. – Давайте поднимем бокалы и поздравим юбиляра!

Слова были вполне нейтральные и уместные, но я не могла избавиться от ощущения, что Фиолетовая врет.

– Ба! Кого мы видим, наша артисточка! – пренебрежительно прокомментировала она появление Мамы.

Сколько я ее помнила, Фиолетовая красила волосы, губы и ногти в фиолетовый цвет, поэтому я и придумала ей такое прозвище, а на том обеде на ней была еще и мохеровая кофточка того же цвета. Мама села напротив нее, Аба присоединилась к другим пожилым дамам во главе стола, а я воспользовалась суматохой и пошла в спальню.

Посредине комнаты стояла тяжелая двуспальная кровать, прикрытая чем-то вроде тюлевой занавески – ледокол в кружевах, – и такая высокая, что, для того чтобы на нее вскарабкаться, требовалась специальная лесенка. Я мяла руками подушки, но мне не хватало смелости взобраться наверх. Над кроватью висела черно-белая фотография – портрет молодой пары с сияющими глазами и белозубыми улыбками; я понятия не имела, кто на ней. Вещей в комнате было немного: ночной столик с горсткой таблеток в хрустальной вазочке, тяжелый шкаф, элегантная вешалка для костюмов, туалетный столик. На подоконнике стояли фарфоровые статуэтки: охотничья собака с уткой в пасти, танцующие балерины, кукольный домик – я переставила все по-своему. Открыла ящички туалетного столика, вынула тяжелые нити жемчуга, массивные золотые сережки, блестящие запонки, по очереди примерила все это перед зеркалом, ничего мне не понравилось. Потом перебрала духи в больших и маленьких флаконах, понюхала с отвращением – они ассоциировались у меня со словами "коньяк" и "ресторан". Из окна спальни виднелась длинная лестница, ведущая куда-то в сторону Кайзервальда[1], – мы по ней никогда не ходили из-за Абиных больных ног.

– За здоровье дорогого юбиляра!

1. Кайзервальд – холмистая, покрытая лесом местность во Львове. Здесь расположен Музей народной архитектуры и быта "Шевченківський гай".

— За здоровье!

— Это точно, здоровье важнее всего!

Из одного ящика я достала небольшую черную шкатулку. У Абы была точно такая же, с вырезанным на крышке профилем мужчины с длинным носом. Тетина шкатулка была заперта, ключа я нигде не видела.

— Шопен! — часто вздыхала Аба, и по ее тону я понимала, что имеется в виду нечто невероятно важное.

Вернувшись в гостиную, я села за стол, положила на тарелку маринованные перчики. Мне хотелось шампанского, которое пили взрослые, и я попросила Маму дать мне попробовать.

— Загадай желание. Всегда так делай, когда пробуешь что-то новое, — шепнула мне Мама, протягивая свой бокал.

Только одно желание. Надо придумать что-то важное. Чтобы Аба поправилась? Счастливая любовь? Развал Советского Союза?

За столом обсуждали новости: с завода, на котором дядя служил заместителем директора, из больницы, где тетя работала медсестрой.

Случайно разговор зашел о двух пейзажах маслом, недавно появившихся на стене гостиной. Все их хвалили.

— По-моему, они слишком мрачные, им не хватает легкости и воздуха.

В комнате повисло тяжелое молчание, а мне стало стыдно, может быть, потому что Аба сказала это с набитым ртом, а может, потому что никто здесь не считал ее экспертом.

— А впрочем, возможно, я и не права... Действительно симпатичные картинки!

Теперь мне было стыдно, что она так легко идет на попятную. В этом доме Аба часто становилась уступчивой и робкой. Я присмотрелась к ней повнимательнее: она казалась лишней посреди этого хрусталя, мебели и дам, хотя на дамах гораздо заметнее сказался возраст — у них были глубокие морщины и поредевшие волосы. Абе, однако, не хватало того искусственного лоска, в который они облачались по случаю торжеств, вешая его потом обратно в шкаф вместе с выходной одеждой. Она выглядела как всегда, в своем поношенном нимбе, в своем плохо выглаженном платье.

— Хочу произнести тост за уважаемую супругу! — крикнул кто-то. — За верную боевую подругу и спутницу мирных лет. Твое здоровье, Мусенька!

Я незаметно вернулась в спальню.

В своей шкатулке Аба хранила бумаги, рисунки и письма, она их мне иногда показывала, но после этого обязательно закрыва-

ла шкатулку на ключ. Что́ тетя хранила в своей, я не знала. Обе шкатулки были старые, еще тех времен, когда дядя-солдат и тетя-санитарка освобождали от фашистов сначала города России, потом Украины, потом Львов и Краков. Львов им так приглянулся, что они решили осесть тут навсегда, и дядя вызвал к себе младшего брата, моего будущего дедушку. Но до дедушки у Абы был Шопен. Он был частью Польши, той самой, которая после войны как ни в чем не бывало существовала во Львове. Разве мог кто-нибудь сразу поверить, что сдвинутые границы — это навсегда? Господа продолжали носить шляпы и целовали ручки дамам, ксендзы служили мессы, а вместо Ленина главную пешеходную улицу украшал бронзовый Собеский, которого приезжие с востока принимали за Хмельницкого. В те послевоенные годы Аба разыскала своего далекого родственника, элегантного профессора медицины, жившего в прекрасном особнячке на Кастеливке[1]. Их общая фамилия была довольно редкой, девушка — прелестна и беззаветно предана идее возвращения к корням, а посему профессор начал приглашать ее к себе на встречи с людьми искусства и культуры. На одной из встреч Аба и познакомилась с Шопеном — не знаю, как его звали на самом деле, из намеков и полуфраз я поняла только, что он был пианист и обладал выдающимся профилем. Позже он уехал на Запад вместе со своей передвижной родиной. Абу они с собой не взяли.

— Ваше здоровье! Ваше здоровье! — кричали гости, поднимая бокалы, а смущенная тетка, потупившись, подкладывала им на тарелки еды. Я постояла в дверях гостиной, а затем перешла в кухню. Здесь притаились две большие миски с очередными вкусностями: домашними пельменями, кусками тушеного мяса, картофельным пюре, шницелями, а также кастрюля с борщом. На шкафах на недоступной для меня высоте пряталось то, чего ждать приходилось дольше всего: вафли, рогалики с розовым вареньем, трубочки с кремом, песочные пирожные и большой, накрытый фольгой, многослойный ореховый торт. Из кухонного окна были видны громыхавшие вниз по улице Ленина трамваи, следом мчались танки, сначала тот, на котором дядя ездил в молодости, потом тот, что стоял возле дома на постаменте. Я распахнула дверцы белого шкафчика: на верхней полке расположился ряд алебастровых слоников, гладких и манящих. Они выстроились по росту, я быстро поменяла их местами. Рядом с шкафчиком стоял электрический самовар, я подняла крышку — он был доверху наполнен водой с белесыми разводами.

1. Район Львова.

Я вышла в коридор. Стеклянные дверцы одного из книжных шкафов были открыты, рядом с ним Мама что-то читала. Присев возле нее, я взяла журнал “Работница”, и какое-то время мы обе молча читали. Из гостиной доносилась иерихонская труба Фиолетовой — она рассказывала о школе, в которой работала. “Наверняка бьет детей линейкой по рукам”, — подумала я. Ее муж, щуплый брюнет, редко поднимал голову над тарелкой и говорил только в крайних случаях. Я знала от Мамы, что он занимает высокую должность в КГБ.

— Сейчас подадут второе!

Мы вернулись в гостиную. Там было душно и шумно, лица гостей раскраснелись, кто-то уже успел пролить вино на скатерть и присыпать пятно солью. Дядя ходил вокруг стола и со сноровкой опытного тамады наполнял бокалы, на его рубашке под мышками расплылись мокрые пятна.

— За мирное небо над головой!

“Дзынь-дзынь”, — стукались хрустальные бокалы. “Мир — важнее всего”, — часто повторяли на этих встречах гости, в первую очередь те, кто пережил войну.

— За то, чтобы никогда больше не повторился ад войны!

“Мир — безусловно, но не ценой свободы”, — говорил Абе Шопен, чей старший брат освобождал Львов плечом к плечу с дядей Алексеем, но шанса на знакомство у них не было. Дядя не успел увидеть бело-красный флаг на ратуше — флаг провисел там совсем недолго. А брата Шопена вместе с другими солдатами Армии Крайовой[1] дядины командиры предали, отняли оружие и бросили в одну из тюрем НКВД. У Шопена на письменном столе остался его портрет.

Горячее подавали на красивом фарфоровом сервизе с нежными розами. Я, как партизан, отбивалась от еды, но меня никто не слушал, а тетя подсунула румяную куриную ножку в липкой прыщеватой кожице. Я умоляюще посмотрела на Абу — удастся ли ей незаметно забрать у меня тарелку?

— Бандеровцы начали поднимать голову, — неожиданно сказала Фиолетовая. — Неужели забыли, как после войны наши дали им прикурить?

— Кто, кто? — не расслышала Аба.

— Местные, — объяснила Фиолетовая. — Фашистские прихвостни.

1. Армия Крайова (АК) — подпольные вооруженные формирования в годы Второй мировой войны, подчинявшиеся лондонскому польскому правительству в изгнании. После войны в коммунистической Польше бывшие солдаты АК подверглись репрессиям.

Местные. Она тоже употребляла это слово и, как Прабабка, выговаривала его по-особому: в нем звучал и страх, и насмешка. Мне не нужно было поднимать глаза, я и так знала, что случится дальше. Мама в развевающемся пальто была похожа на амазонку, ее меч рубил быстро и безжалостно, остановить его было не под силу никому.

— Местные? — спросила она. — Они-то как раз у себя дома. А вот вас сюда никто не звал. Вы — оккупанты.

В наступившей тишине послышались ее шаги и грохот входной двери, открывшейся и тут же захлопнувшейся.

— Дядя, дорогой!.. — плаксиво пожаловалась Фиолетовая, а потом внезапно взвизгнула: — Врешь, сука!

— Извините! — многозначительно произнесла Аба и медленно покинула гостиную.

Я низко опустила голову и принялась изучать сплетения нитей на ковре, прикрывавшем диван.

— У всех налито? — спросил дядя Алексей. — Я хочу произнести тост за дорогих гостей. За то, чтобы в этом доме всегда царило согласие и чтобы мы еще много-много лет здесь встречались!

Дзынь-дзынь... гости с облегчением вернулись к прерванной беседе, дядя уселся на почетное место, одним махом опрокинул в рот рюмку коньяку, закусил отбивной.

В целом они с тетей Марией были довольны выбором дядиного брата: Аба была девушка скромная, с дипломом врача. Предусмотрительные и осторожные, они явились только на гражданскую церемонию бракосочетания, сделав вид, что знать не знают о венчании, одном из последних в костеле Марии Магдалины — вскоре костел переделали в студенческий клуб Политехнического. После этого братья каждый год встречались у нас и у них на днях рождения. Дядя Алексей уверенно продвигался по карьерной лестнице в администрации больниц и заводов, дедушка получал одно за другим воинские звания, руководил гарнизонным оркестром. Чем меньше было у братьев волос на голове, тем больше становились животы и обильнее праздничные столы. Даже когда у дедушки началась депрессия и он целыми днями сидел в темной комнате, дни рождения оставались для него единственным поводом надеть выглаженную рубашку и торжественную мину. Абу сразу же после замужества перестали приглашать в особняк профессора медицины на Кастеливке, тонко намекнув на причину: она вышла замуж за русского. Но, боже правый, почему Шопен уехал в Польшу без нее?

Тетя начала убирать грязные бокалы и тарелки, женщины взялись ей помогать, мужчины тоже встали из-за стола, движение принесло облегчение всем; я пошла на кухню следом за остальными, подключилась к уборке. Возле окна стояла ог-

ромная бесформенная тетка — мать Фиолетовой, я слышала, как она говорила другой женщине:

— Помнится, она хотела ехать в Чили, поддержать тамошних коммунистов, боровшихся с Пиночетом. А теперь с бандеровцами связалась! — и тетка долго крутила пальцем у виска, пока не заметила, что я на нее смотрю.

Десерт подали, когда за окном уже совсем стемнело, дядя зажег в гостиной шикарные люстры, налил кофе в позолоченные чашечки, а к кофе предложил ликеры. Включили телевизор — шла прямая трансляция чемпионата по хоккею.

— Кто-то Алексею прислал эти кассеты из Польши. Скажу честно, ничего интересного! Танцуют красиво, ноги длинные. Но как лифчики скинут, так и посмотреть не на что. Прыщики! К русским женщинам природа щедрее.

"Ого! — удивилась я. — Тетя-то, оказывается, что надо. Аба ни за что бы не стала смотреть такую кассету". Я взглянула в ее сторону: она уже вернулась в гостиную, с аппетитом ела торт, одновременно говорила что-то соседке, изо рта у нее летели крошки.

Я уже давно заметила, что любые намеки, связанные с темой пола, вызывали у Абы гнев или смущение. Мне трудно было представить ее в роли влюбленной девушки, тем более такой, которая пытается сама решать свою судьбу. Должно быть, это выглядело примерно так:

— Мама, он попросил моей руки, и я хочу выйти за него замуж.

— За этого музыкантишку? И речи быть не может.

— Но почему, мама?

— Ты что, за границу собралась уехать? Навсегда бросить мать? Так хочешь меня отблагодарить за все, что я для тебя сделала?

Молодая Аба с сияющими глазами и здоровыми ногами осела на пол, как мертвая. "У нас одно сердце", — часто говорила ей Прабабка, это означало, что у Абы нет права на собственное. За хлеб, отданный ей во время войны, она должна была теперь посвятить свою жизнь матери. Аба рассталась с Шопеном, осталась во Львове, сделалась тяжелая и неуклюжая, в сказке о Щелкунчике все было наоборот.

Фиолетовая как ни в чем не бывало громко трещала о новой реформе, по которой учеба в школе продлевалась на один год. Мама, выкурив сигарету на лестнице, вернулась и сидела в прихожей с томиком Чехова на коленях.

Я съела десерт и пошла к ней. Она не отрывала взгляда от книги, а я, открыв стенной шкаф, рассматривала висящий там

пиджак дяди Алексея. Пиджак был темный, почти черный, залоснившийся на локтях, подогнанный под размер дядиного живота. Я быстро понюхала его — он пах потом и металлом; попробовала поднять — тяжелый... Спереди ни кусочка свободной ткани: пиджак весь был увешан военными наградами, орденами и медалями. Справа висели красно-золотые звезды с надписями типа "За оборону Курска", слева — желтые кружочки полегче на полосатых ленточках. Тоже справа, там, где дети обычно рисуют сердце, был ряд длинных и коротких нашивок — знаки полученных на фронте ранений. Я знала, что каждый год девятого мая дядя Алексей надевал этот пиджак и вместе с тетей Марией в темно-синем платье с орденами отправлялся на расположенный неподалеку Холм Славы, место захоронения советских солдат. Они навещали похороненного там отца Фиолетовой и других товарищей, приносили им охапку красных тюльпанов, завернутых в жесткую бумагу, возле некоторых могил щеки у дяди и тети увлажнялись. Еще я знала, что после этого у них в квартире устраивался прием, похожий на сегодняшний; нас туда не звали.

После кофе пришло время прощаться. Хозяева проводили нас до дверей, вежливо ждали, пока мы найдем свою обувь, а дядя Алексей неторопливо подал каждой из нас пальто. Лица дяди и тети ничем не выдавали, что они сердятся на Маму за сегодняшний инцидент.

— Спасибо, что пришли! — неутомимо повторяли они. — Приходите еще!

После прощальных поцелуев мы оказались на лестничной площадке. Я вспомнила, что, когда мы только пришли, весь подъезд был залит солнцем, а сейчас на лестнице царил кромешный мрак. Этот контраст, а также переполненный желудок вынуждали жалеть о безвозвратно потерянном дне.

— Помоги мне! — попросила Аба Маму на улице. Спускаться по ступенькам ей было еще труднее, чем подниматься.

Мы прошли мимо едва различимого танка, дошли до улицы Ленина. Мама подняла правую руку, и уже через мгновение возле нас остановилась раздолбанная черная "волга"; гладкие сидения в ней пропахли куревом. Аба села спереди рядом с усатым водителем, мы с Мамой сзади. Машина помчалась вниз, лишь раз затормозив на светофоре возле площади имени Ленина.

Когда много лет спустя я ехала туда снова, машина остановилась на том же светофоре, только площадь называлась уже Винниковской, улице вернули название Лычаковская, а раздолбанным черным автомобилем оказался "шевроле".

Женщину, открывшую мне дверь, я не знала. Она впустила меня и сразу же исчезла, я услышала, как она разговаривает по телефону где-то в глубине квартиры. Я включила дрожащую светло-зеленую лампу в прихожей, надела те же, что и всегда, тапочки, взглянула на не изменившиеся ряды книг на полках и направилась в спальню. Здесь тоже все было на своих местах, только кружева на кровати посерели, а на трюмо стояла открытая пачка памперсов для взрослых и небольшая оправленная в золото икона. Я машинально потянулась к подушкам, подняла одну — она чуть не рассыпалась у меня в руках, из дырок в наволочке полетели полусгнившие перья. Я отложила подушку и пошла в кухню, открыла шкафчик, быстренько кинула в сумку кучку слоников, и тут вошла Фиолетовая. Я узнала ее не сразу, потому что она выглядела так, словно прежнее тело проглотила огромная баба-кит. Теперь она вещала из чрева этого кита своим прежним голосом училки:

— Спасибо, что пришла. Нам нужно кое-что обсудить. Но давай сначала выпьем за встречу!

В припорошенной пылью гостиной на диване в пластиковом пакете лежал прикрывавший его когда-то ковер. Фиолетовая открыла дверцы серванта.

— Шампанское, вино или коньяк? — спросила она и сразу же добавила: — Да что я спрашиваю, только у коньяка нормальный срок годности.

“Дзынь-дзынь”, — звенел знакомый хрусталь, и я поняла, что сбылась моя давнишняя мечта. Фиолетовая стала блондинкой, у нее был перламутровый маникюр и темно-синий костюм с золотым трезубцем[1] на лацкане.

— Я уже десять лет преподаю историю Украины, — объяснила она, заметив мой взгляд. — Все в той же школе. Могла бы выйти на пенсию, но люблю свою работу.

Она опорожнила рюмку, после чего вынула из сумки тетрадь.

— Перейдем к делу. У меня есть предложение. Мы унаследовали эту квартиру вместе, но я не хочу ее продавать. Кое-что придумала. Взгляни, это вроде бизнес-плана.

Я взяла в руки тетрадь под названием “Хостел ‘Красный Львов’” и прочитала текст, написанный старательным каллиграфическим почерком:

“Это квартира конкретных людей, бывшего солдата Красной Армии и медсестры, в которой они прожили сорок лет. Краткая история семьи доступна на сайте и на информационном листке при входе вместе с описанием квартиры (что где

1. Герб Украины.

лежит, что можно, чего нельзя). На полках есть советские дипломы (можно брать в руки, рассматривать), книги о Ленине и партии (можно листать, читать), в шкафу висит пиджак с орденами (можно примерить, сфотографироваться), есть старые электробритвы (такие были у каждого советского мужчины), картины и фотографии на стенах создают домашнюю атмосферу. Дополнительные преимущества: с балкона открывается панорамный вид на Львов, прекрасное транспортное сообщение с центром города.

Спальные места: три-четыре (диван-кровать плюс двуспальная кровать), возможны дополнительные спальные места (раскладушки). Цена за ночь с человека: 15 евро.

Для желающих: торжественный ужин в стиле эпохи Брежнева (хрусталь, вазы, цветы). Блюда: салат оливье, пельмени ручной лепки, торт 'Красная гвоздика'. Цена: 15 евро с человека. Алкоголь оплачивается отдельно.

Гаджеты: CD/DVD с советскими песнями, футболки с логотипом квартиры и адресом интернет-сайта, сувениры — пластмассовые танки".

Под основным текстом значилось: "Целевая аудитория: молодые поляки 25—30 лет, ищущие нестандартные формы отдыха".

— Если говорить о польских туристах во Львове, то рынок сейчас отличный, — прокомментировала Фиолетовая, — а если верить прогнозам, будет только лучше.

На полях мелкими буковками было приписано: "Положить керамическую плитку на пол — блюют!" В этом месте она многозначительно подмигнула.

— Я учусь за границей, во Львове бываю редко, — с трудом выдавила из себя я.

— Знаю-знаю, ничего страшного. Я сама всем займусь. После вычета расходов и выплаты начальных инвестиций будешь получать тридцать пять процентов ежемесячно. По-моему, отличное предложение.

"Дзынь-дзынь", — увереннее, чем в прошлый раз, звякнули бокалы.

— Мне нужно время подумать, — мой голос дрожал. — Дам вам ответ завтра.

— Без проблем, — сказала Фиолетовая, а потом спросила: — Ты уже была на кладбище?

— Да.

— Тебе повезло, что твои все на Лычаковском, — вздохнула она. — Там шикарно. Скоро гольфкары начнут ездить. На Голосковском страшно. Сейчас расскажу, только нужна какая-нибудь закуска.

Она вынула из сумки две пачки крекеров “Світоч” и две коробочки плавленого сыра “Янтарь”, вместе с коньяком мы отнесли их в гостиную, поставили на полированную столешницу, и, в процессе опорожнения бутылки с надписью “Арарат”, я выслушала рассказ Фиолетовой о том, что случилось с ней прошлым летом. Она решила заказать гранитный памятник на могилу дяди Алексея. Сначала долго ехала на кладбище на нескольких маршрутках, потом заблудилась в лабиринте надгробных плит с выгравированными портретами цыган в меховых шапках в натуральную величину, потом безуспешно искала сороковой участок, поскольку таблички с номерами исчезли, как исчезла и расколотая надвое ударом молнии сосна, издалека указывавшая нужное место. Наконец и сосна, и участок нашлись, но теперь могил было в пять раз больше, а весь склон — сороковой участок на Голосковском кладбище находился на крутом склоне — зарос бурьяном с Фиолетовую ростом.

— От чего умер дядя? — спросила я. — Знаю, что у тети в последние годы был Альцгеймер...

— Ее болезнь прикончила их обоих. Всю жизнь тетя обслуживала дядю, а тут ему пришлось заниматься ею, а он этого не умел и не хотел.

“Дзынь-дзынь” на сей раз прозвучало как тихое пение, потому что Фиолетовая внезапно разрыдалась, плач накапливался в ней, как дождь в темных тучах, сгустившихся над сороковым участком на Голосковском кладбище.

— Это было ужасно, непролазные заросли с колючками. У меня не было ни ножниц, ни перчаток. В том месте, где должен был лежать дядя, настоящие джунгли. Я вырывала все это голыми руками, истоптала соседние могилы. Вокруг ни души. Я вся исцарапалась, искололась, пришла в блузке с коротким рукавом и сандалиях на босу ногу. В какой-то момент поняла, что приближается гроза.

“Она переживает за горькую судьбу дяди с тетей, — думала я, наблюдая за беспорядочными струйками на ее лице, — или жалеет себя?” И вдруг до меня дошло, что это не важно. Я очень удивилась такой мысли. Но мысль не отступала, велела мне забыть о стеснении и погладить Фиолетовую по руке, а потом наполнить рюмки и спросить о ее муже.

— Официально мы не развелись, но... — всхлипывала она, — он уже несколько лет живет в Киеве. Большая шишка в СБУ[1]. Меня к себе не зовет, я сама по себе.

Через минуту она вернулась к прежней теме:

1. Служба безопасности Украины.

— На кладбище мне в ногу впилась заноза, а я не заметила. Нога воспалилась, вот здесь, вот в этом месте, чуть выше косточки. Мне делали серьезную операцию, под наркозом. Врач сказал, что я могла даже умереть.

Когда крекеры были съедены, бутылка опустела, а за окнами стемнело, мы перешли в спальню. Фиолетовая разложила на кровати драгоценности тети Муси. На палубе бывшего ледокола появились золотые колечки с камешками разных цветов, знакомые нити жемчуга и запонки, а также две пары массивных платиновых часов.

“Разнузданность и разврат”, — думала я, глядя на все это.

— А вам не попадалась черная шкатулка с профилем Шопена? — спросила я.

Вместо ответа Фиолетовая театральным жестом выдвинула все ящики туалетного столика.

— Эти руки ничего не крали, — засмеялась она, протягивая ко мне ладони.

Мы вместе влезли по лесенке на старую кровать, неспешно выпили просроченное шампанское, играя при этом в бридж, болтая о том о сем, в частности о неудачном освещении супружеской спальни: одинокая лампочка под потолком светила слишком слабо, чтобы рассеять мрак большой комнаты, а тусклые бра по обеим сторонам кровати не позволяли прочитать ни строчки. При таком свете наверняка плохо было разглядывать альбомы с фотографиями, на которых белозубая пара с сияющими улыбками снималась на фоне различных достопримечательностей самой счастливой страны на свете и других стран соцлагеря — Польши, Болгарии и Монголии.

— Дядя был страшный кобель, — призналась Фиолетовая. — Трахал все, что двигалось. Тетка знала, но закрывала глаза. Так уж у них было заведено.

В ответ я лишь вздохнула. Мы продолжили игру.

Когда я утром проснулась, рядом не было ни Фиолетовой, ни пустых бутылок, а на трюмо лежала милая записка и ключи. Вычесав пальцами перья из волос, я вышла на улицу. Светило солнце, похрустывал снег, слышался звон падающих сосулек, вдалеке пели трамваи. Я не свернула в сторону Лычаковской, а пошла по лестнице, ведущей к Кайзервальду, считая по дороге ступени, — загадала новое желание и верила, что оно исполнится, если ступеней окажется больше, чем сто.

Полтва

— Я пойду с тобой! — привычно потребовала я; на сей раз Мама не возражала. Она только что приняла ванну, а теперь за-

канчивала краситься: в руке держала коробочку туши “Ленинградская”, плевала на прямоугольный черный брикетик, водила туда-суда маленькой пластмассовой щеточкой, а потом наносила тушь на свои длинные ресницы, таких больше ни у кого не было, разве что у Снегурочки, но у той были искусственные. В ванне образовался пенистый водоворот, и мне казалось, что пахнущий Мамой поток хочет мне что-то сказать, но запинается, поскольку течение сильное, и воду затягивает под землю, в Полтву, которая, как известно, сливается с двумя другими подземными реками ровно под нашим домом. Мы жили на водоразделе, и все равно воду нормировали, она текла из крана между шестью и девятью утра, опоздавшим приходилось довольствоваться содержимым ведер и кастрюль. На сломанной стиральной машине лежала программа на июнь: сегодня, четвертого, давали “Кармен” с Марианной Астафьевой в главной роли.

Услышав, что Аба включила телевизор, я пошла в комнату.

— Трагедия в Башкирии... — рассказывал диктор в новостях, — утечка газа... вагоны сошли с рельсов... сотни жертв... ожоги...

— Что случилось? — спросила я.

— Два поезда взорвались, в газопроводе рядом с железной дорогой произошла утечка газа. Когда они проезжали мимо, случился взрыв. Сотни жертв.

— Где?

— Рядом с Уфой.

Стоя в дверях, я видела на экране вагоны, слетевшие с насыпи, оторванные двери, разбитые стекла и много-много железа, потом появились помехи, из них вынырнуло лицо популярного ведущего Влада Листьева:

— Вчера московский стадион “Олимпийский” трещал по швам во время концерта легендарной рок-группы “Pink Floyd”, которая впервые в истории СССР посетила...

Цветные полоски проглотили усатого Листьева, вернулись кадры из Башкирии.

— Сначала Чернобыль, теперь этот взрыв, — вздохнула Аба. — Что нас еще ждет?

Я на цыпочках прокралась в комнату к Маме, открыла ее шкаф, взяла красную мини-юбку и черные колготы. Мама не прокомментировала моих новых гардеробных пристрастий, она как раз говорила с кем-то по телефону, морща лоб, хотя Аба повторяла, что если Мама не будет следить за мимикой, то скоро будет выглядеть как старая старушка. Мы вышли из дому, Мама обогнала меня на лестнице, а я застыла на нашем этаже возле витражного дуба — обрамляющие его свинцовые

рамки были рельсами, по которым ехали два длинных пассажирских состава. Я с тревогой следила: столкнутся или нет, загорятся или нет, взорвутся или уцелеют.

— Быстрее! — крикнула снизу Мама.

Солнце безжалостно раскаляло улицу. Мне хотелось мороженого в вафельном стаканчике, но пришлось подчиниться Маминому ритму, иначе меня бы выбросило за борт корабля, который безостановочно летел вперед — Мама не ела сладкого.

Мы миновали Дом профсоюзов с крупной надписью "Да здравствует КПСС!", затем грязные стены гостиницы "Интурист". Вместе с нами по бывшему руслу реки Полтвы плыла колонна Мицкевича, плыл книжный магазин "Дружба" и растущая из венчающего его факела надпись "Вперед к коммунизму". Мы влились в проспект Ленина и на уровне Этнографического музея разбились о Клумбу. Забастовка, демократизация, украинский язык — я читала слова, вырванные из заголовков газет, пришпиленных к деревьям канцелярскими кнопками, а среди всего этого клекотали голоса пожилых мужчин. "Только бы они ее не узнали", — с надеждой подумала я, но поздно: какой-то дед в хлопчатобумажной шапочке с козырьком и торчащими по бокам клоками волос уже брал ее под руку.

— Дорогая Марианна, — скрипел он, — я верю в возможность свободных выборов. Вы наш кандидат в Верховный совет СССР.

Мама ласково посмотрела на старичка, ее зеленые с золотыми искорками глаза сияли для него, для него же струился ручей моего любимого голоса, при этом она высвобождала свой локоть из вцепившихся в него пожелтевших пальцев. Мы отошли, старичок остался, провожая нас недвижным козлиным взглядом, и на мгновение я испытала к нему что-то вроде сочувствия.

Что с того, что здесь некогда текла река, если ни один из раскаленных камней об этом уже не помнит, что с того, что по легенде в давние времена рыбацкие лодки скользили по водам Полтвы до самого Балтийского моря? Я взяла мою сирену под руку, стараясь шагать с ней в ногу, мы были почти одного роста, наши тени бежали перед нами, пока их не сожрала тень Ленина, окруженная кустами роз. Я смотрела на пять широко расставленных букв его имени и думала, что их можно было написать иначе, чтобы они, как в каллиграфическом орнаменте, слились в непрерывную линию, по которой поедут два пассажирских состава. Ле-нин. Ни-нель.

— Быстрее!

Мы обогнули театр слева, поднялись по ступеням к служебному входу, за нами захлопнулась застекленная дверь с ажурной кованой решеткой, в завитушках которой застряли пучки солнечных лучей. Вахтерши разложили свои расплывшиеся тела на неудобных стульях, струившиеся по ним складки темно-синих халатов прикрывали початую четвертинку водки под сиденьем. Маме дали ключи от гримерной, я направилась к лестнице, но Мама сделала мне знак рукой, и я вспомнила, что в марте директор выставил ее из прежней гримерной и перевел в подвал, в мамином распоряжении оказалась репетиционная комната недавно умершей перкуссионистки. Мы шли по длинному коридору без окон вдоль ряда одинаковых белых дверей, из-за них долетали звуки разных инструментов, но я слышала только ударные.

В комнате она бросила сумочку на стул, закурила, отметила галочкой сегодняшний спектакль в графике на стене. Я наугад открыла лежавшую на шкафчике книжку в серой обложке: “В начале XX столетия на мировой оперной сцене царили четверо мужчин — Карузо, Баттистини, Шаляпин, Титта Руффо. И лишь одной женщине удалось вознестись до их высот — Саломее Крушельницкой. Если же говорить о масштабах личности, то она переросла их всех”. Мама стряхивала пепел прямо на ковер — наверху она с сигаретой никогда не показывалась. Достала из шкафа платье Кармен с посеревшим потрепанным кружевом. А вот красная юбка на мне была совершенно новая.

— Тебе идет, — заметила Мама. — Можешь брать из моего шкафа все что хочешь. Ты выросла.

Я заглянула в открытый шкаф с костюмами, внутри, как и в нашем домашнем, висело зеркало, в нем отражалось длинное тело, какие встречались мне в учебниках ботаники: дерево с наземной частью-колонной, яблоки-груди, пунктирные стебли рук, мохнатые стебли ног, поллиний орхидеи между ног.

— Застегни молнию, — попросила Мама, повернувшись спиной. — Я устала, — прошептала она скорее зеркалу, чем мне, — нормы для артистов оперы — это абсурд. Двадцать четыре спектакля в месяц плюс репетиции. Каждый день! “Доярки, добьемся высоких удоев от каждой фуражной коровы!”

Пропагандистский лозунг Мама произнесла по-русски, а все остальное — по-украински. Однажды она решительно и бесповоротно сменила язык, для нас с Абой это было как гром среди ясного неба. Спор, в ходе которого Мама объясняла свою точку зрения, стал последним разговором на родном для нее русском. Она говорила, что она дочь этой земли,

а земля — украинская. Еще говорила, что Аба оккупантка и никто ее сюда в сорок четвертом не звал — надо было после войны вернуться в свой Петербург. Говорила о боях за Львов в 1918 году и разоренных могилах Сечевых стрельцов. Говорила о столетиях русификации и "расстрелянном Возрождении". О неслыханно низком проценте школ, в которых автохтоны могли учиться на своем языке, и о надменных захватчиках, которые прожили во Львове всю жизнь, так и не сказав ни слова по-украински. Вспоминала, как из словарей убрали множество исконных украинских слов, чтобы язык стал еще больше похож на русский, а потом и вовсе слился со "старшим братом".

Аба в ответ стала рассказывать о польском Львове и многочисленных этнических меньшинствах, живших в мире и согласии. О боях за Львов в тысяча девятьсот восемнадцатом. О разрушенном кладбище Орлят. О больнице, в которой проработала тридцать лет, где каждый сотрудник говорил на своем языке — украинском, русском или польском, — и никому не приходило в голову менять его из идеологических соображений. Вспомнила о польских колыбельных и русском букваре, цитировала русских поэтов Серебряного века, которых они обе очень любили.

На Маму все сказанное Абой не произвело ни малейшего впечатления. Я-то сразу поняла и поддержала ее решение, но, с тех пор как Мама сменила язык, начала избегать разговоров с ней, как будто сама превратилась в словарь, из которого кто-то потихоньку выбрасывал слова.

В этот раз я тоже промолчала и вышла в коридор, намереваясь навестить знакомых балерин.

В коридоре я столкнулась с тремя драгунами в белых шелковых жилетах, с треуголками в руках, длинные перья волочились за ними по земле, драгуны хохотали, один из них, с мутными глазами, пошатывался и чуть не упал. Я отправилась за ними, не помня точно, где выход, мы шли по полукруглому туннелю, мимо пожарного поста, схемы эвакуации, плаката с надписью "Артист! Помни, что ты — сын советской земли!", как вдруг коридор внезапно закончился: тусклые лампочки, чугунные подставки для пепельниц, табличка "хода нет". Я сошла с рельсов, словно уфимские вагоны, развернулась было, но поздно: мне в лицо дымили нахальные сигареты, летели шуточки и забытая кем-то увядшая роза. Я кинулась бегом по пустому коридору, опять мимо вереницы закрытых дверей, влетела в одну открытую, чтобы сбить с толку драгун, которые и не думали меня преследовать, и оказалась в темном просторном помещении, где раньше никогда

не была. Стены тут были оплетены трубами и разными железяками, украшены вентилями, клапанами и дверями, ведущими в никуда, над головой слышались приглушенные шаги и голоса. Я находилась под сценой, то есть четырьмя уровнями ниже зеркального зала, где репетируют балерины и куда еще минуту назад я так спешила. В глаза мне бросился большой ящик непонятного назначения и подсвечник высотой с меня, а сама я стояла на краю открытого канализационного люка со вставленной в него лестницей.

В балетном зале я любила сидеть на полу и наблюдать за маневрами балеток, таких же посеревших, как и кружево на платье Кармен, любила смотреть на твердые, почти сросшиеся со спиной животы балерин, в которых не было места детям.

— Ты заблуждаешься, — как-то раз сказала при мне одна балерина другой, — у театра нет сообщения с каналами Полтвы. А если когда-то и было, то входы давно замуровали.

Теперь у меня появилась возможность проверить это лично, но я не знала, стоит ли. “Мама будет волноваться”, — врала я самой себе. Выйдя в коридор, снова наткнулась на возвращающихся из курилки драгунов, лацканы их шелковых жилетов были усыпаны пеплом и лепестками розы, теперь уже пошатывалась вся троица — зрители об этом никогда не узнают. За драгунами бежала Мама, лицо у нее было густо напудрено.

— Мне нужно на минутку к парикмахеру, иди в буфет, купи себе пирожное!

В красной юбке карманов не было, зажав монеты в ладони, я бежала за Мамой, забавы ради проводя рукой по всем закрытым дверям, от которых рябило в глазах, Мама мчалась наверх, и — не знаю, как так случилось, но я снова вошла в ту же дверь.

“Тело двенадцатилетней девочки было найдено в зловонных каналах, — скажет по телевизору Влад Листьев. — Состояние ее матери, известной оперной певицы, близко к помешательству: она обвиняет себя в случившейся трагедии”.

“Не бросать, не кантовать” гласила надпись на странном ящике рядом с подсвечником. А еще: “Музыкальный инструмент. Арфа номер 969”. Я представила себе конвейер, по которому тысяча арф ехала прямо в ловкие руки советских рабочих, такой конвейер мог находиться где-нибудь в Сибири, посреди вечной мерзлоты.

“Дочь известной оперной певицы была задержана милицией, когда бросала в открытый канализационный люк старинную арфу, на которой играли советские солдаты во время

торжественного вступления во Львов 17 сентября 1939 года[1]", – напишут потом в газетах.

В буфете продавали пирожные двух видов: корзиночки с белым кремом сверху и трубочки с белым кремом внутри. На лестнице перед буфетом дремал музыкант в смокинге, в руке он держал скрипку, смычок лежал у него на коленях, точно кинжал, с помощью которого он только что покончил жизнь самоубийством. "Артистам, занятым в первом действии, приготовиться к выходу на сцену!" – раздался голос Наташи, помощника режиссера. В первом же действии на сцену должна была выйти Кармен, спеть хабанеру. Все ли помнят, что в четвертом действии ей предстоит умереть?

Немножко сладкого крема осталось на блузке – это я обнаружила, присев у ног Наташи на свернутом кабеле: отсюда мне были видны все актеры, руки дирижера и черная пропасть зрительного зала. Перед Наташей был экран, и она командовала в микрофон, подключенный к пульту.

– Внимание, начинаем!

Слышали ли оркестранты в паузах, как плещется река под театром? Влияло ли подземное течение на ход спектаклей и судьбы актеров?

– Конечно, есть проход, – сказала Наташа. – Я сама была в каналах под театром, с твоей мамой.

Чем старше становилась Наташа, тем больше хорошела. Кожа у нее была белая и отливала позолотой. Глаза узкие и длинные, как у египтянок с папирусов. Крупные бело-желтые локоны уложены на голове, как горка трубочек с кремом. Сегодня на ней было длинное черное платье. Жаль, зрители ее никогда не увидят.

– Почему ты не стала актрисой?

– Мне хотелось быть кем-то поважнее. Помреж – это как диспетчер на железной дороге, от него все зависит.

– Почему у тебя нет ни мужа, ни детей?

– Театр – вся моя жизнь.

– Как выглядит то, что под театром?

– Подожди минутку, – Наташа передвинула два рычажка на пульте, торопливо прикурила сигарету.

– Это было чистое безумие, – прошептала она. – Никакой подготовки, никакой защитной одежды, два слабеньких фонаря. После вечернего спектакля, то есть в самое опасное

1. 17 сентября 1939 г. Советский Союз ввел войска на территорию Польской республики, после чего произошел раздел польских территорий между Германией и СССР. Этому предшествовало подписание пакта Молотова–Риббентропа 23 августа 1939 г., за неделю до начала Второй мировой войны.

время, когда большинство жителей города моется и уровень воды резко возрастает.

– Кто? – спросила я тоже шепотом.

– Твоя мама, я и молодой сценограф.

– И как?

Она не ответила, внимательно вглядываясь в экран; я знала, что она не всегда может разговаривать во время работы. На сцене плыл голос Кармен, текли воды в коллекторе под театром, мутнела картинка на экране телевизора, силуэты актеров исчезали, вместо них появилась шипящая серая вода.

– Ну вот опять! – крикнула Наташа. – Электрик! Когда уже уволят этого бездельника?

Со сцены доносился подозрительный звук, напоминающий завывание собаки. Его было слышно на фоне арии Кармен, и мне казалось, он даже попадал в нужную тональность, хотя я знала, что в этом не разбираюсь. Через мгновение на экране вновь появились актеры.

– Эта борьба нужна мне, чтобы не впасть в самонадеянность, – сказала одна из актрис по-украински. – Я чувствую в себе страх, много огня и энергии.

Тогда они втроем шли по тому же самому ходу под сценой, который я случайно обнаружила позже, спустя два года после злополучной "Аиды", когда умер один из зрителей, и за две недели до "Кармен", последней оперы моей Мамы. Перед этим в гримерке разыгралась небольшая сцена. Микола пришел после спектакля и ждал, пока Мама переоденется и смоет грим. Они никак не могли спокойно поговорить, Мама уже давно не заглядывала к нему в мастерскую – политическая деятельность съедала все ее свободное время. Микола злился: ему уже было недостаточно ее неожиданных визитов, раздражал неопределенный статус их отношений. Злость вскипала в нем так быстро, что даже ее голос не принес ожидаемого катарсиса. Он пришел за обещаниями и совместными планами. Когда Мама села напротив, он прямо спросил, любит ли она его, – она молчала и смотрела в сторону. Он спросил, выйдет ли она за него замуж, – Марианна даже не шевельнулась. Тогда он приблизился к ней и схватил за запястья. Она вздрогнула, но по-прежнему молчала. Микола, потрясенный тем, что сделал, смотрел на ее посеревшее лицо и сжимал руки все сильнее.

– Скажи: я тебя люблю.

Сказала – тихо и не глядя в глаза, и внезапно он понял, что ему было важно совсем не это. Он отпустил ее руки, поднялся наверх, позвал Наташу. Втроем они распили четвертинку и решили исследовать подземный ход.

Канал под театром был в хорошем состоянии: высокие полукруглые своды — лишь кое-где широкие дорожки сужались, а потолок становился ниже. Раньше коллектор соединялся с подвалами домов, на стенах виднелись забетонированные квадратные входы, которые они ощупывали в поисках опоры, блуждали пальцами по слепым отверстиям. Под ногами было скользко, они чуть не наступали на крыс, впереди шла Марианна, задавая ритм. Она высоко держала фонарь со старомодным козырьком, а когда рука уставала, ненадолго его опускала, и тогда развевающиеся складки платья закрывали огонек.

Когда свернули с широкой дороги, пришлось идти, согнувшись пополам, проход сильно сузился, это их встревожило; вернулись на широкую "улицу", попробовали другое ответвление.

На сей раз впереди шел Микола, держа фонарь, за ним Наташа, а замыкала процессию Марианна, тоже с фонарем. Вода прибывала, гул реки заглушал голоса и мысли, они шли вперед, туннель упорно вел вверх; миновали большой водопад, справа появился следующий туннель, неподалеку был водораздел.

Тут все опомнились и пожалели, что ввязались в это приключение:

— Кажется, мы под моим домом! — крикнула Марианна, приблизив лицо к своим спутникам, чтобы они ее услышали. Тогда Микола поднял фонарь повыше — будучи сценографом, он, естественно, должен был разбираться в освещении, — и на глазах у Марианны поцеловал Наташу в губы. Марианна отпрянула. Наташа ответила на поцелуй. Они развернулись и молча направились в сторону театра. По пути Микола еще несколько раз останавливался, поднимал фонарь и целовал красавицу-помрежа.

Я дошла до того же места — где был виден испод нашего дома, и эта мысль меня окрылила, словно я вдруг поверила, что могу проходить сквозь стены, не хуже волны покорять бетон, дерево и стекло, что вот-вот прильну к теплому обвисшему животу Абы, спавшей в своей кровати где-то над нами. Женщина, шедшая впереди меня, обернулась, указала на ведущие вверх каменные ступеньки, я начала бодро по ним взбираться, опасаясь только одного: как бы люк, через который мы должны выйти наружу, не оказался слишком близко от поста милиции и караулящие там милиционеры не отвезли нас прямиком из подземелья в какой-нибудь из своих мрачных застенков.

Я изорвала в клочья твои черные ажурные колготы, Мама, испачкала юбку, а холодные ступеньки все не кончались, вели

все выше, я начала задыхаться, вокруг становилось светлее и теплее, ступеньки были уже не каменные, а деревянные, тоже крутые, сложные, сложные, слишком сложные для маленьких ножек не больше тридцать третьего размера. Такие ножки были у карлиц, носившихся по деревянным лестницам в голубых джинсовых комбинезонах и с подносами, заставленными едой и напитками. То и дело какая-нибудь из них выпускала из рук поднос и летела кувырком вслед за тарелками. Да, здесь было светлее, чем под землей, но свет был тусклый и мутный, а воздух спертый, пропитанный запахом горелого прогорклого масла. Мы оказались внутри длинного и узкого здания, где каждый этаж занимало только одно помещение: на первом была какая-то лавчонка, на втором — библиотека, на остальных расставлены столы, за которыми сидели высокие люди, а коротышки их обслуживали. Одной из карлиц с неестественно длинным и узким, как этот дом, лицом разносить заказы было особенно трудно: она чаще других падала на лестнице, ранила колени, на голубых джинсах проступала кровь, и я неизвестно откуда точно знала, что этим вечером она умрет.

Наконец мы добрались до верхнего этажа, где стоял пузатый трубочист с помятым лицом шута и как будто по радио вещал: пересказывал многокультурную историю Львова, крутя толстыми пальцами оловянную пуговицу на своей куртке; каждый, кто замечал этот жест, понимал, что в его словах нет ни крупицы правды. Трубочист нас не заметил, мы спокойно его обогнули и по железной винтовой лестнице поднялись на чердак.

Наверху теплый ветер сорвал шляпку с головы моей спутницы, и мне на секунду почудилось, будто я вижу ее точеное лицо на черно-белом снимке, но из ночной почвы неба уже пробивались лиловые росточки света. Мы были в самом центре площади; с одной стороны — треугольник монастыря бернардинцев, с другой — прямоугольник ратуши и полукруг доминиканского монастыря, над крышами парили стаи белых чаек, как будто Львов лежал у моря. Я села в белый кабриолет, припаркованный на краю крыши, готовая продолжить путешествие, но женщина остановила меня решительным жестом.

Наконец я могла разглядеть ее вблизи. Она была полнее Мамы, величественная, как памятник самой себе, тоже в красном платье Кармен, обшитом снежно-белой кружевной тесьмой. Руки у нее были маленькие и слабые, я знала: покатись я вниз по крутой крыше, они меня ни за что не удержат.

— Галиция, лицемерная Галилея, — произнесла она, не глядя на меня, и ее круглые глаза наполнились гневом. — Насмехаются надо мной из-за того, что я пою по-итальянски. Го-

ворят, у меня не поставленный голос. Притащили в Оперу собаку, которая своим воем подражает моему пению.

Каждое слово было словно отлито в золоте; я уселась на скользкой черепице, страшно боясь, что ее монолог прервется.

– Но я решила: выдержу до конца! Я должна убедить всех наших пессимистов, что украинская душа тоже может достичь высочайших вершин в искусстве.

Мой взгляд перескочил на ее обтянутый красной тканью живот, за которым вырастал многогранник костела иезуитов.

– А любовь? – тихо спросила я.

– Музыка – вот что меня по-настоящему волнует. Удивительно, ведь темперамент у меня холодный, а нервы крепкие, как стальной канат. На сцене меня обнимали и целовали, – добавила она. – Условные знаки, сигналы, чтобы подняли занавес или зажгли свет в зале. Все думали, что я очень опытная и даже хитрая, а я была наивна. Никаких страстей! Видишь, какая странная порой жизнь у актрисы.

Я смотрела с нежностью, как ее тело становится все прозрачнее, через него проступало серое пятно моря на горизонте.

– Поедем туда, Саломея? – умоляла я, но она не отвечала. Я поднялась, распрямила ноги и почувствовала, что мне срочно нужно в туалет. Ринулась вниз, по дороге спрашивая у карлиц, где уборная, они показывали в разные стороны, а мой живот набухал, еще секунда – и он не выдержит давления и лопнет, наконец, на первом этаже я отыскала клетушку с бетонным полом. Закрылась изнутри, задевая головой сохнущие простыни, и уже задрала юбку, как вдруг увидела язвительную мужскую рожу – она пялилась на низ моего живота, ржала, скаля зубы с телевизионного экрана на двери и кричала: “Вижу! Все вижу!”.

– Внимание, третье действие! Кармен, девочки! Эскамильо!

Это кричала Наташа, я проснулась у ее ног, сидя по-турецки на свернутом кабеле.

Потом было четвертое действие с его заранее запланированной и такой известной смертью.

После спектакля мы возвращались с Мамой домой по пустому и темному проспекту Ленина, я несла букет белых роз, бордовые она всегда называла “свеклой” и оставляла в театре.

– Когда тебе разрешат вернуться в прежнюю гримерную? – спросила я с вызовом, который удивил меня саму.

– По-моему, уже никогда, – ответила Мама, и я еще больше удивилась: так спокойно и серьезно с детьми не говорят. Потом в такт нашим усталым шагам она произнесла что-то вроде речи, из которой я боялась пропустить хоть слово.

— Я посвятила всю свою жизнь искусству. Только музыка волнует меня по-настоящему, поэтому я отдала ей все — ничего не делаю наполовину. Мужчины? У меня были кое-какие романы, немного и все так себе. Материнство? Мне никогда не хватает на это времени, я забочусь лишь об одном: привить тебе принципы. Чтобы ты умела отличать добро от зла, никогда не шла на компромисс с собственной совестью, не терпела предательства ни в каком виде. Люди думают, что сейчас меня преследуют из-за моих взглядов, поэтому я теряю положение в театре. Действительно мне не дают новых ролей, меня сослали в подвал, были и другие неприятности — меня травят. Но есть еще кое-что. Я пою все хуже, и кое-кто это понимает. Я потеряла мотивацию к тому, что было моей единственной целью. Почему? Когда я узнала правду о советской системе, весь мой мир рухнул. Я почувствовала, что должна с этой системой бороться, но долго не знала как. Теперь знаю. Я нужна людям. Не тем, в театре, а тем, что на улице. Я спрашиваю себя: есть ли сегодня время на театр. На пение для избранных, для знатоков! Не исключают ли друг друга искусство и борьба? Не стоит ли посвятить себя чему-то одному, но целиком? Не знаю. Я начала терять голос. Может, позже, когда мы победим империю и построим новую свободную страну, я снова смогу...

Мама не окончила фразы, мы остановились возле какой-то скамейки. Я искала взглядом что-нибудь, что могло бы ее отвлечь, но ничего интересного вокруг не происходило, только летний ветерок гонял бумажки от мороженого, брошенные кем-то на землю.

Вскоре прогремел выстрел, а я надолго забыла об этом разговоре. Позже, когда он неожиданно вынырнул из глубин памяти, я уже не знала, состоялся ли разговор на самом деле или же я его выдумала ради своих изменчивых, как вода, теорий.

Матрешки

Прабабка умерла, когда ей было девяносто лет. Всю свою жизнь она избегала любых напоминаний о смерти: чуралась больных, не ходила на похороны и сердилась, если эта тема проскальзывала в разговоре. Смерть застала ее врасплох тогда, когда ей наконец удалось о смерти позабыть. В отличие от многих пожилых людей, Прабабка к ней никак не готовилась, все ее дни протекали одинаково: она таскалась по магазинам, смотрела телевизор, молилась, писала на горшок, изводила свою далеко не молодую дочь. Однажды — мы с Абой были в кухне — из-за двери ее комнаты послышался звук сильного удара: Прабабка потеря-

ла сознание и упала, стукнувшись затылком об пол. В момент падения она стояла возле белого шкафа для белья, который, как я позже узнала, сыграл в ее жизни важную роль. Врачи "скорой" поставили диагноз "инсульт" и заявили, что "везти ее в больницу нет смысла". Помню, что это "нет смысла" прозвучало так, будто какой-то мастер решает, что делать с устаревшей техникой. Я подумала, что теперь все то, что на протяжении девяноста лет выполняло разные функции и, в общем-то, неплохо справлялось, то, что Прабабка имела в виду, говоря "я": мышцы, кровеносные сосуды, глаза, волосы, кожа — в одно мгновение сочли вещью... ну или несколькими разными вещами, в которых никто уже не видел ни смысла, ни ценности.

В те дни, что она провела в коме, я заходила к ней в комнату, открывала занавески и немного играла на пианино — я знала, что Прабабка единственная, кому эта какофония могла показаться музыкой. Я приподнимала ей веки и исследовала глазные яблоки, эту пару упругих влажных улиток, которые теперь были ни к чему, словно шарики для какой-то игры, бильярда, например.

День, когда Прабабка умерла, был постирочным днем. Стирали мы раз в месяц, начинали всегда в шесть утра, потому что горячая вода была в кранах только до девяти. У нас была стиральная машина полуавтомат, а полоскали мы вручную. Примерно в восемь, в перерыве между простынями и покрывалом, Аба на секунду зашла к Прабабке, а когда вернулась, я сразу все поняла по серьезности, траурной ленточкой свисавшей с оправы ее очков. Мгновение мы молча смотрели друг на друга, после чего Аба предложила:

— Давай закончим со стиркой. Остался всего час.

И только когда постельное белье и полотенца повисли на веревках в ванной, а вода с бульканьем исчезла из кранов, мы занялись Прабабкой. Три дня она пролежала у себя в комнате; я к ней больше не заходила. По вечерам Аба читала у ее тела молитвы и зажигала громницу[1].

Позже я узнала, что белый бельевой шкаф, стоявший в ее комнате слева от пианино, был важным атрибутом Прабабкиной любви. Еще позже выяснилось, что моя Прабабка Станислава и моя Мама Марианна были очень похожи, с одной только существенной разницей: Станиславе довелось без памяти влюбиться.

1. Особая свеча, которую используют в католических обрядах крещения, первого причастия, конфирмации, венчания и похорон. Громницу вкладывают в руку умирающего, чтобы осветить его душе путь в загробный мир.

Не в мужа, который был гораздо старше, обожал Прабабку и носил на руках, а она все равно регулярно выставляла его за дверь — об этом она сама рассказала мне в старости, объясняя, что женщина должна уметь "поставить себя" с мужчиной. В день ареста он как раз вернулся из такого "изгнания", вторую половину дня супруги провели втроем с дочерью на примирительной прогулке, а вечером явились *они*, и ему пришлось отправиться туда, откуда не возвращаются.

И не в инженера, который в начале войны стал ее любовником и за которым она поехала в Казань, вместе с его женой, разумеется. Жена эта потом частенько наведывалась в квартиру, где Станислава с дочкой занимали одну комнату, становилась на пороге и выкрикивала все известные ей русские эпитеты для определения падшей женщины.

И не в красивого и необыкновенно музыкально одаренного майора Павлова, который под конец войны увез ее из Казани и благодаря которому позже вся семья оказалась во Львове. Нет. Она влюбилась в молоденького немца по имени Герман, единственного не связанного с музыкой мужчину ее жизни.

Для Станиславы жизнь в послевоенном Львове была окрашена в разные цвета, и прежде всего в ее любимый зеленый. Ей не было еще и тридцати пяти, она была вдовой с ребенком, курила самокрутки с дешевым табаком, любила свое исхудавшее до невозможности тело цвета опала и большие матовые нефритового оттенка глаза, работала секретаршей в недавно созданном облсовете, спешно организованном в бывшем Воеводском дворце. Весной она могла расплакаться от умиления, гладя кусты и деревья: после работы заворачивала в сквер, тогда еще называвшийся Рецеймувка, трогала побеги каштана, растущего во дворе их дома на Панской улице, которую вскоре переименовали в улицу Ивана Франко. К слову сказать, к растениям она испытывала больше нежности, чем к собственной дочери-подростку. Она носила зеленое полотняное платье — подарок кого-то из ее "бывших", а на воротник прикалывала одну из трех своих брошек: стрекозу, бабочку или шишку.

В тот день, когда Станислава впервые увидела Германа, на ее воротнике красовалась шишка — нежный резной овал бледно-зеленого цвета. Ему было лет двадцать, он был платиновый блондин и военнопленный, вместе с другими своими соотечественниками выполнял для города разные работы и ждал возвращения в Heimat[1]. Герман худо-бедно говорил по-русски, благодаря чему стал посредником между пленными и

1. Отечество, родина (*нем.*).

местными властями, потому в тот день он и пришел в облсовет. Улыбался он редко, но, когда все-таки улыбался, становилась видна щелочка между верхними передними зубами — с первого взгляда Станислава поняла, что он будит в ней нестерпимое желание, а еще чувство, сродни безграничному обожанию матерью своего ребенка (ее собственной дочери так и не удалось этого чувства в ней пробудить).

Германа стерегли меньше других, поэтому он начал с наступлением темноты выскальзывать из казармы и проводить ночи в квартире на Панской.

Впервые в жизни Станислава не думала о том, как "поставить себя" с мужчиной. Ее захлестывали эмоции: получив известие, что любовник вечером не придет, она часами рыдала. Когда они спали вместе, просыпалась, чтобы полюбоваться им и предаться экзальтированным фантазиям: Германа как бывшего солдата вермахта приговаривают к смерти, и она падает судьям в ноги и умоляет казнить ее вместо него. Будильник звонил в пять утра, Герман вставал не выспавшийся и злой, за тонкой перегородкой просыпалась дочь, для которой в фантазиях Станиславы места не было.

Молодой любовник вел себя со Станиславой сдержанно: с аппетитом ел то, чем она его угощала, принимал ванну, для которой она грела воду, овладевал телом, которое она ему предлагала. А вот к ее дочери он испытывал иррациональную неприязнь — возможно, его раздражало, что она была свидетельницей их романа. Кульминацией и романа, и неприязни стал один роковой вечер.

К Абе заглянула соседка сверху, одинокая эксцентричная вдова: они договорились, что соседка принесет бумагу и пастель, а Аба нарисует ее портрет. Через несколько часов пришел Герман. Соседка восседала на *их* подушках, завернувшись в покрывало с *их* кровати, вокруг был в беспорядке разложен реквизит — подносы, бутылки, овощи, но самое ужасное — они с Абой обе курили! Подобная распущенность явно разозлила молодого немца: он что-то буркнул и закрылся в кухне. Станислава ледяным голосом попросила дочь навести порядок и пошла к нему. Через секунду из-за двери донесся грохот сброшенных на пол предметов и приглушенные стоны.

— Это уже не первый раз, — призналась вдруг Аба соседке. — На днях мама ходила с подбитым глазом.

— Я сообщу в милицию! — крикнула соседка и бросилась вниз по лестнице.

Аба почувствовала, как у нее холодеет затылок: воспоминания 1937 года, призрак ареста, поезда, лагеря, Сибирь.

Вскоре явились милиционеры, стучали в дверь, кричали: “Откройте!”

— Иду, иду, — мелодично ответила Станислава, на ходу переодеваясь в халат, словно она только что встала с постели.

Милиционеры задали несколько вопросов и устроили в квартире обыск — опаловое лицо Прабабки приобрело голубоватый оттенок, а дочь крепко схватилась за щеки, чтобы унять клацанье зубов. К счастью, милиционерам не пришло в голову заглянуть в бельевой шкаф — Герман сидел внутри.

После этого происшествия он стал приходить все реже, а вскоре и вовсе уехал в Германию. Перед его отъездом состоялась прощальная прогулка втроем по ночному Кайзервальду, во время которой Станислава велела дочери отстать на несколько метров и закрывать глаза, когда они целовались. Думаю, она взяла дочь только для того, чтобы было на чье плечо опереться на обратном пути. Острые металлические усики бабочки-брошки цеплялись за Абину вязаную кофту и выдергивали из нее клочки пряжи, а девочке казалось, что это рот Германа с щелью между передними зубами догоняет их и кусает ее за плечо.

А потом... Вообще-то Герман мог бы и не писать этого письма. Кто знает, почему он не захотел остаться лучшим в жизни воспоминанием Станиславы?

Письмо пришло спустя три месяца. Оно было написано по-русски, но латиницей, на том специфическом воляпюке, с помощью которого Герман изъяснялся во Львове. В письме он обзывал Станиславу “старой обезьяной”, “сукой” и “ведьмой” и утверждал, что встречался с ней только для того, чтобы согреться и как следует помыться. Недосягаемый в своем Heimat за опускающимся железным занавесом, он просто так, без объяснения причин, поносил Станиславу, ее дочь, ее город и страну. Она обливалась слезами, вновь и вновь перечитывая эти ни на что не похожие, корявые нагромождения слов, которые могли бы показаться смешными, если бы не трагическое содержание. Дочь сидела у ног матери и гладила ее руки. Тогда-то и начались первые истерики и связанные с ними ритуалы — после фиаско единственной настоящей любви характер Станиславы окончательно и бесповоротно испортился.

Прошло много дней со дня похорон, прежде чем мы наконец занялись уборкой. Помню, мы отнесли на помойку тяжелые зеленые шторы из Прабабкиной комнаты, и вдруг оказалось, что между двенадцатью и часом дня в комнату врывается желтый солнечный прямоугольник и лежит под окном, словно

раскаленный слиток золота. Холодные и гладкие ручки ящиков бельевого шкафа тоже оказались золотого цвета. Помню, как я вытягивала ящики по очереди и ни один не вставила обратно. На самом верху лежали сокровища: завернутые в пожелтевшую бумагу серебряные цепочки, кольца и брошки.

— Бижутерию нужно отнести в комиссионку, да только кто сейчас захочет носить такие старомодные вещи? — изрекла Аба. Перед уборкой она заколола волосы на макушке, и что-то в ее открывшемся лице напомнило о том, что Аба была когда-то девочкой.

В остальных ящиках были спрятаны бумаги и фотографии. Сложив их стопками на полу, Аба озабоченно склонялась над ними, словно хотела собственным телом защитить от моего любопытного взгляда.

Я открыла дверцы большого шкафа цвета охры, чтобы помочь ему разродиться одеждой, не спасшейся от нападения моли. Плащи, шубы и платья, пересыпанные сухими апельсиновыми корочками, с шелестом падали на пол. Одежду решено было отдать “бедным”, себе Аба не оставила ничего.

Наши столовые приборы, темные и тяжелые, с осуждением наблюдали за попытками подложить к ним легонькие алюминиевые вилки и ложки, найденные на Прабабкином столе. В итоге те отправились в мусорное ведро, а за ними следом и выцветшая клеенка, на которой они пролежали много лет. Не нужна нам была и пол-литровая банка с белым налетом, из которой Прабабка пила подслащенный кипяток. Отдраенный до блеска эмалированный горшок на веки вечные спрятался под диваном, покрытым зеленым покрывалом: еще несколько дней назад на изумрудной поверхности колыхался корабль тела, а сейчас наступил полный штиль — гладь не нарушала ни единая морщинка.

Трудились мы долго: желтый прямоугольник под окном сначала растягивался, а потом переместился на ограду двора. Ребра кирпичей, торчащие там и сям из ее неопрятной поверхности, цветом напоминали мне волосы прадедушки, которого я никогда не знала.

Отодвинув пианино от стены, мы сняли с него темные пласты паутины, я извлекла из угла какие-то брошюры, села на пол и начала их просматривать. Брошюры были довоенные, а может, и дореволюционные, с давно упраздненными буквами гражданки; попадались среди них и ноты.

— Что это? — спросила я. — Мамино?

— Ее либретто, — неохотно ответила Аба, глядя в сторону, как всегда, когда чего-то недоговаривала. Между нами существовал неписаный уговор: о Прабабке мы говорили “она”, а

о Маме — "мама". — Она хотела стать оперной певицей, — продолжила Аба. — У нее был абсолютный слух, изумительное меццо-сопрано...

Я слушала с удивлением: зачем она рассказывает мне то, что и так каждому известно?

— Думаю, Мама унаследовала тембр голоса от нее. В Петербурге она была ученицей Наталии Преображенской, эта фамилия должна быть тебе знакома. Но к сожалению, ни разу в жизни так и не спела в театре. Не получила даже самой маленькой роли. Она ростом не вышла, а ты же знаешь, для сцены рост имеет огромное значение.

Прабабка — оперная певица? Я не могла поверить своим ушам. Смотрела на освещенную ограду за окном: она превратилась в театральную сцену, на которую я пыталась водрузить Прабабку, наряжала ее в черно-красное платье, на голову надевала сверкающую диадему, пальцы украшала кольцами из ящиков шкафа — все впустую, потому что вместо костюмов Кармен или Амнерис я видела застиранный халат, стоптанные тапки и сморщенный большой палец, щупающий стенку чайника, чтобы проверить, теплая ли в нем вода. Вслед за ней передо мной возникла сцена Оперы, на которой стояла моя собственная мать. Тогда я поставила Прабабку с ней рядом и заставила их петь дуэтом — бабку и внучку, старую и молодую, низенькую и высокую. У одной получилось, у второй нет, обе умерли. Та, у которой получилось, умерла молодой; та, у которой не получилось, несла бремя своего поражения много десятков лет.

— Получив отказ в театре, она поступила в хор, на репетиции познакомилась с прадедом.

— А потом прадедушку арестовали и началась война?

— Хуже всего было в Казани: она молчала и худела, молчала и худела — смотреть на это было невыносимо. Она устроилась на фабрику, работу свою ненавидела, но благодаря этому мы получали больше хлеба. Свою порцию она отдавала мне, потому что я росла и вечно ходила голодная. А потом приехал на гастроли хор Алексея Павлова. С этим хором она из Казани уехала.

— А ты? — ужаснулась я.

— Она не могла иначе, — смиренно вздохнув, ответила Аба. — Пение было всей ее жизнью.

Кирпичи сначала превратились в корочки черного хлеба, а потом в голые стены привокзальных строений.

— Мама, мамочка, не бросай меня! — кричала Аба и бежала за поездом, который ехал все быстрее, а ее крик перехо-

дил в вой, хриплый и так непохожий на звуки, которые в то время издавала ее мать.

Алексей Павлов, дирижер, бойкий красивый майор, смотрел с фотографии прямо в объектив. Прощай, ненавистная фабрика, прощай, чужая проходная комната! В поезде новая солистка получила военную форму, а первая репетиция прошла в закрытом купе Павлова, который заставил ее взять такие высокие ноты, что они заглушили прощальные крики ее дочери.

С Павловым Прабабка сразу "поставила себя" как нужно: стала главной солисткой в хоре, а вечерами только для него исполняла свои любимые оперные арии, уголком глаза определяя степень обожания в его глазах. Сменяли друг друга времена года, города и концерты, и в конце концов они оказались во Львове, элегантном, как новая подруга Павлова. Майор сразу же решил, что тут они и осядут — его не пугали слухи о бесчинствующих в окрестностях города бандеровцах, он забыл о дожидающейся его в Москве жене-библиотекарше.

— В Казани было грустно и холодно. Я жила с нашей классной руководительницей. Какое же это было счастье, когда мама написала, что ждет меня во Львове!

Львовская квартирка была тесная, зато в самом центре. От бывших жильцов в ней не осталось никакой мебели — Павлов не опускался до мародерства и не обращал внимания на то, что первое время им приходилось спать на полу. Через несколько дней после возвращения Абы из Казани он ненадолго уехал с хором, а вскоре пришло сообщение, что он погиб от случайной пули где-то на Волыни. Прабабка начала курить и еще больше похудела, щеки и глаза ввалились вглубь тела — туда, где жил ее голос. Потом пришла победа, зацвели каштаны и появился Герман.

Это правда: для него она никогда не пела. Чувствовала, что обуревавшие ее эмоции конкурируют с пением, поскольку в ее теле любовь расположилась точнехонько в том месте, которое раньше занимал голос. В то время голос напоминал о себе очень редко, и, лишь когда они с Германом неистово занимались любовью, у нее вдруг появлялось такое ощущение, будто тело любимого всею своей тяжестью давит на нечто вроде огромного беременного живота, хотя Прабабкин живот в ту пору был площе, чем животы самых стройных балерин.

После письма Германа голос вернулся из ссылки и начал выкидывать фортели в поисках нового выхода, а она никак

не могла с ним совладать, и потому во время случавшихся все чаще истерик пронзительно кричала, скулила, стонала, а то и ревела низким голосом или визжала, как одержимая. В лучшие дни голос заставлял ее дома залезать на какой-нибудь импровизированный подиум и, в присутствии зрителей или без них, исполнять любимые арии. Спасаясь от этой лавины звуков, Аба начала рисовать святых, в том числе знакомого мне Иисуса в терновом венце, с зелеными волосами, струйками крови и отчетливо заметной щелью между передними зубами. Этот Иисус-Герман вывел Станиславу из равновесия: она кричала и топала ногами, требуя убрать его с глаз долой. А в старости неожиданно повесила на самом почетном месте в своей комнате.

В следующей коробке лежали фотографии офицеров.

Кое с кем рядом стояла Станислава, глядя прямо в объектив, всегда в облаке папиросного дыма. Выражение лица у каждого из ее спутников было, как у Юрия Гагарина после первого полета в космос. Прабабка много лет проработала в облсовете, а в свободное время бескорыстно помогала ставить голос талантливым военным — тем, кто умел хорошо вести мужскую партию ее любимых дуэтов. Спонтанные уроки пения проходили у нее дома. Аба слушала все это из-за двери.

— Портрет дедушки Александра, — заметила я.

После войны прошло немало лет, когда к Прабабкиному берегу прибило Александра Пабиана, родившегося под Донецком немногословного руководителя львовского гарнизонного оркестра.

— Вы уж извините, но это не та тональность. И как только вы руководите этим своим оркестром?

На вдову произвела впечатление его уступчивость и меланхолия, которую она по ошибке приняла за поэтическую грусть; вдобавок он был намного моложе ее — Станислава начинала стареть и не сумела принять старость с достоинством. Неизвестно, успели ли они сделать совместное фото, на котором у него была бы возможность принять гагаринское выражение лица, — а если и успели, то снимок наверняка потом был уничтожен. Аба положила его портрет к остальным, прижала к груди и отнесла в свою комнату, но точно не спрятала в черную шкатулку с профилем Шопена на крышке. Руководитель оркестра начал навещать Прабабку тогда, когда Аба была влюблена в пианиста.

— Мама, можно мне сегодня вечером уйти?

— С этим музыкантишкой? И речи быть не может.

— Почему, мама? Почему?

Бравурные аккорды и обильные слезы — Шопен бунтарским духом не обладал, плакал ночью, плакал на перроне, а потом в поезде, и по прибытии на Возвращенные земли[1] плакал, поскольку ее мать не разрешила им пожениться. Абе остались лишь полонезы, письма в черной шкатулке и эти слезы, окропившие недоступный ей светлый путь на Запад.

А потом Станиславе пришла в голову дьявольская идея выдать Абу замуж за своего молодого любовника, у которого были карьерные перспективы и который не собирался уезжать из Львова.

Свадьбу сыграли в будний день, венчал их последний приходской священник костела Святой Марии Магдалины. На первой совместной фотографии молодожены стоят перед главным входом в Оперу; снято так, чтобы в кадр не попал памятник Ленину. Александр в штатском: высокая шляпа, тяжелое зимнее пальто и модные тогда брюки с широченными штанинами. Вид у него такой, как будто ему велели надеть театральный костюм, а выражение лица — словно фотографироваться заставили силой. Над женихом уже витал призрак депрессии, над невестой — неизлечимой болезни.

Хотя Станислава сама склонила дочь к этому браку, она возненавидела Александра в тот момент, когда он переступил порог квартиры в роли ее зятя. За два года совместной жизни она довела эту ненависть до предела, поселила в каждой комнате, в кухне и ванной, взрастила в каждом предмете, подала на каждом блюде, пропитала ею каждое слово. Это была катастрофа сродни атомному взрыву. Дедушка всегда ходил печальный и умер молодым. У Абы обнаружилась хроническая болезнь. Мама родилась не по любви, поэтому погибла.

— Мама, ты разрушила мою жизнь.

Бунтарские речи так и не прозвучали. Дочь подчинилась матери, за что та стала презирать ее еще больше. Это длилось годами: молчание одной порождало презрение другой и наоборот; молчание сжилось с презрением — до конца жизни они объединяли мать и дочь сильнее, чем тот факт, что тело одной появилось в теле другой. Но вот родилась внучка и попыталась из этого замкнутого круга вырваться.

— Бабушка, я подала документы на вокальный факультет консерватории.

1. Условное название бывших территорий Германии и Третьего рейха, переданных Польше после Второй мировой войны. На место депортированных немцев приезжали поляки с отошедших СССР польских территорий и украинцы из юго-восточных регионов Польши.

— И речи быть не может.

— Почему, бабушка?

— У тебя нет таланта. Будешь всю жизнь прозябать в нищете.

— Бабушка, я решила, что стану певицей. У меня талант. Слышишь?

— Сейчас я открою окно и буду кричать на всю улицу, что меня родная внучка убивает. Сейчас сюда придет милиция.

— Да я тебе сама окно открою. Кричи! Кричи как можно громче! Давай!

Мама с самыми важными словами не медлила.

Последнего обожателя Прабабка завела уже на пенсии, спустя много лет после смерти зятя. Одинокий учитель игры на скрипке готовил ей диетические обеды и водил гулять. Ей нравилось, как он для нее играет, за малейшие провинности она била его по лицу. Несмотря на его мольбы, не согласилась к нему переехать — не захотела "бросить семью". Помню день похорон этого добряка. Прабабка на кладбище не поехала, но ждала, пока знакомая принесет ей что-нибудь с поминок. Было лето, в черных кружевных перчатках и шляпке с вуалью она сидела верхом на стуле, а я расхаживала по квартире в одних только розовых трусиках. В какой-то момент она бросила с раздражением:

— Ты, бесстыдница! Посмотри в зеркало, как ты неприлично выглядишь! Трусы в обтяжку, видно все, что у тебя между ног!

Тогда я подошла к зеркалу и убедилась, что она права, хотя раньше мне это в голову не приходило.

Я сдула пыль с пачки либретто и разложила все по годам. Неосвещенная поверхность дворовой ограды стала морем, а я — ловцом жемчуга. Моя прабабушка была несостоявшейся оперной певицей, моя бабушка — несостоявшейся художницей, моя мать — состоявшейся оперной певицей, я буду состоявшейся художницей, моя дочь будет несостоявшейся оперной певицей или состоявшейся художницей, ее дочка будет — в зависимости от того, что выберет моя дочь, — либо состоявшейся оперной певицей, либо состоявшейся художницей, нереализованность помноженная на нереализованность дает реализованность, как в математике. Мы как матрешки, одна сидит в животе у другой, и до конца неясно, которая в которой, известно только, которая из нас жива, а которая уже нет, мы как матрешки, прошитые одним выстрелом на вылет, а я-то раньше думала, что Прабабки в этой цепочке нет. Она была несостоявшейся оперной певицей, зна-

чит, моя бабушка — несостоявшаяся художница, а моя мама, хоть и примадонна, умерла.

Аба вернулась за остальными бумагами, сразу все ей было не унести.

— В старости она пела в соборе, — сказала я.

— Очень редко и только по будням. У нее была подруга там в хоре.

— Prawy zamieszka na twej górze świętej. Pra-a-awy zamieszka na twej górze świętej...

Служба шла при свете сияющих золотом ламп, но ее, как обычно, никто не пригласил на сцену. Перед смертью на ней было очень много белой сморщенной кожи, укрывавшей ее, как потрепанная фата; может быть, дома, за закрытыми дверями своей комнаты, она сбрасывала ее, словно Царевна-лягушка, и наружу выходила стройная Чио-Чио-сан, и исполняла свои лучшие арии, а мы-то думали, что это телевизор. Мы видели седые волосы с детским проборчиком посередине, очки с толстыми стеклами, прикрытые халатом слоновьи ноги, по ним стекали струйки мочи — кап-кап-кап, она следила, чтобы источник не пересыхал, плелась в кухню с банкой, прикладывала к чайнику большой палец с ухоженным ногтем, наливала в банку кипяток. До конца жизни делала маникюр.

У Абы пальцы были опухшие, зажав в них тряпку, она смахивала пыль с лица Иисуса. Все эти годы Он смотрел, как Прабабка режет колбасу на клеенке, как с трудом пережевывает пищу остатками зубов, как смотрит лежа черно-белые фильмы. Он слышал, как она громко пукает, вздыхает, напевает себе под нос. Ждал ли Иисус по вечерам, пока она выключит телевизор, усядется на диван, массируя задом его скрипящие пружины, и погребет в Его сторону, широко взмахивая руками?

— W imię Ojca i Syna, Jezujezujezu[1].

Видел ли Он, как по ее щекам текут слезы, а она, глядя из-под очков, проверяет, не замечает ли их кто-нибудь?

— Плохая дочь, плохая внучка, не зовут мать к общему столу! — она говорила это мне или Ему? Слышал ли Иисус, как она честила свою старую дочь в кухне?

— Идиотка! Дебилка проклятая! Скотина!

— Сама такая, — смущенно отвечала Аба.

Мать задевала ее задом в узкой кухне и даже толкала, из дырки в стене на неровный линолеум сыпалась струйкой похожая на порошок штукатурка.

1. Во имя Отца и Сына, Иисусеиисусеиисусе (*пол.*).

— Сука бесстыжая! — шептала Прабабка, поджидая в прихожей вернувшуюся из театра внучку. — Ты по каким подворотням шлялась?

Мы были как матрешки, но только мы трое. Ей не хватило места в цепочке, она была плохая, никто не плакал, когда она умерла.

С тех пор как дворничиха угодила за решетку, наш двор начала убирать Люба. Она ходила растрепанная, с метлой и совком в руках. В темный люк канализации, куда дети дворничихи выливали содержимое своего ведра, бросала мусор, а еще тела убитых ею голубей. Их сжирало притаившееся на самом дне чудовище, оно проглотило и последние солнечные лучи, ползающие по двору. Что поделаешь, комната Прабабки выходила окнами на север, в ней всегда было темновато.

— Эти брошюрки гроша ломаного не стоят. Отнесем их в Оперу как историческую достопримечательность, — сказала Аба про либретто. Она вернулась без фотографий, видимо, ей наконец удалось их где-то спрятать. — В этой комнате мы устроим столовую, — продолжала она. — Теперь не придется носить еду из кухни в среднюю комнату, проще будет держать ковры в чистоте.

Польско-украинская война

— У меня голова болит, наверное, начинается приступ мигрени, — сказала я тихим, детским голосом, понимая, как жалостно это прозвучало.

Микола не слышал или делал вид, что не слышит, шагал в сторону Театральной улицы, где он запланировал первую остановку.

Был погожий июньский день, и я думала о том, что этим летом моим улицам не хватало тени и влаги, мои улицы потемнели и бросали мне в лицо обвинения, каждый день вывешивая флаги с черной траурной лентой, обвиняли они и его, навечно окружив радугой семи оттенков угрюмости, только Миколу это нисколько не задевало, наоборот, казалось, он вырос, я не доставала ему даже до плеча, он возносился вверх, как будто на сандалиях художника у него были крылья Персея, будто были они и на сумке художника, которую он всегда носил на плече. Я плелась за ним, изнывая от боли, еле волокла ноги, ползла как змея. “Все могло быть иначе, останься мы друзьями”, — думала я. “Сохрани вы чистоту”, — подсказывали светлые стены Латинского собора, мимо которого мы как раз проходили и который я начала избегать, по-

тому что бестелесный Иисус внутри почернел, а лицо его словно обуглилось.

– Просто и ясно, как удар топора, – говорил Микола. – Однажды город раскололся надвое.

"Где-то я это уже слышала", – подумала я, но не смогла вспомнить, где и когда.

– Ты права, – признал он, хотя я молчала, – прежняя цельность была лишь иллюзией, а ты и сама знаешь, как приятно жить иллюзиями.

Мы прошли мимо школы и вечно закрытого Природоведческого музея во дворце Дедушицких, вошли в бывший Дом офицеров.

– Не смотри на мемориальную доску, – приказал Микола, будто шорами закрыв мне глаза руками. – Мало того что она уродливая, так еще и ошибок полно.

Никто не остановил нас в холодном вестибюле, мы поднялись по лестнице.

– Здесь все и началось. Здесь был *Народний дім*, главный культурный центр тогдашних русинов[1], которые все больше чувствовали себя украинцами. Особенность этого здания – три отдельных входа со стороны трех разных улиц: Театральной, Корнякта и Армянской. Нет такого места, откуда были бы видны все три входа одновременно. Потому Витовский[2] выбрал это здание для генерального штаба украинского войска – Сечевых стрельцов.

Я посмотрела в окно, фигура Миколы заслоняла башню ратуши, на которой развевался украинский флаг, и спустя мгновение со мной уже говорила сама Ратуша:

– Солдатам Витовского никак не удавалось раздобыть достаточно большие куски желтой и синей ткани – украинский флаг предстояло поднять над ратушей в ночь на первое ноября[3]. В польском Львове ничего подходящего не нашлось. В последний момент ситуацию спас сторож "Народной торговли"[4] – достал флаг, который вешали на магазин

1. Русинами в начале XX в. называли украинское население Галиции.
2. Дмитрий Витовский (1887–1919) – командир вооруженных сил Западно-Украинской народной республики, один из руководителей Ноябрьского восстания 1918 г. во Львове (боев за город между Украинской Галицкой армией и Польской военной организацией в ходе польско-украинской войны).
3. В ночь на 1 ноября 1918 г. была провозглашена власть Украинского национального совета (УНС) во Львове и ряде других западно-украинских городов; 3 ноября УНС издал манифест о независимости Галиции и создании Западно-Украинской народной республики. Кроме того, 1 ноября во Львове началось восстание поляков и, как следствие, польско-украинская война.
4. Первый украинский кооператив, созданный во Львове в 1883 г.

по большим праздникам. После войны флаг хранился в музее, потом его уничтожили большевики. Это первый экспонат из моей воображаемой коллекции, которую я хочу тебе сегодня показать.

С верхушки башни и до самой земли стекали два ярких полотнища, они тянулись за нами по Театральной улице, я украдкой приложила их к Миколе, завернула в них его тело, хотелось знать, к лицу ли ему мученичество, но мои фантазии разбились о его суровый взгляд — он не собирался делиться со мной воспоминанием о теле, завернутом в флаг. Другие руки обнажили и поцеловали знакомый шрам под лопаткой, другой язык слизнул запекшуюся кровь с веснушчатых полян, другие руки одели тело и уложили в жесткую постель гроба.

— В ключевых местах Витовский приказал устроить огневые точки. Дула пулеметов были нацелены в прохожих на площади Святого Духа и Гетманских валах, торчали с балкона Оперы, с террасы "Венского" кафе.

— Стрелять оттуда — местная традиция, — пошутила я, но ни я, ни Микола не улыбнулись.

Были ведь и другие традиции, например, играть в шахматы на аллее, ведущей к Опере, мы как раз проходили мимо лавочек с пенсионерами. "День добрый!" — "Здравствуйте!" — "Позвольте". — "У меня белые, я начинаю". — "Сейчас ход черных — интересно, кто выиграет эту партию?"

— Первое ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года оказалось для Львова трагическим днем. Началом конца города — такого, каким он был прежде. Ход дальнейшей войны уже не имел значения. Неважно, кто победитель, а кто побежденный.

— Нужны два параллельных города с разными названиями, Lwów и Львів, — именно это стало тогда очевидно? — поинтересовалась я. — Два города с одной и той же площадью Рынок, трамваями и каштанами? Но город был только один, и поэтому началась война, которая все равно поделила его пополам?

Приземистое здание Оперы подрагивало на гладкой поверхности наполненных газом воздушных шаров, букетами росших в руках выстроившихся вдоль аллеи торговцев; шары были частью плохой сценографии, такой же плохой, как сценография ее похорон: флаги, толпы, оркестр. Кто-то другой бросил на нее последний взгляд, кто-то другой закрыл крышку гроба.

— Поосторожнее с канализационными люками, — предупредил Микола, когда мы обходили театр, — они не всегда плотно закрыты, легко провалиться.

Городоцкая улица без единого деревца напоминала раскаленный туннель, трамваи, машины и маршрутки подрезали друг друга, подпрыгивая на волнистой брусчатке, мы, наплевав на правила дорожного движения, вышли на проезжую часть, со всех сторон нам гудели, а мы шли по рельсам как два трамвайных вагона, а может, как два трамвая, соединенных буксирным тросом.

— Я не стану водить тебя по местам воинской славы ни той, ни другой стороны. Не стану показывать места героических подвигов и символов, постараюсь избегать избитых выражений типа “защитники Львова”. Ни слова не скажу о детях, которых позже назовут орлятами. Покажу лишь кое-что забытое или отвергнутое. То, что не вписывалось в легенду.

За злосчастным флагом последовал неудавшийся взрыв. Микола рассказывал, а я все это себе представляла: украинских мальчиков, потерявшихся среди чужих для них городских зданий, польских мальчиков, которым, хотя они были у себя дома, не удалось взорвать казармы — может быть, потому, что раньше они готовились к чему-то иному, нежели подрыв зданий. Песок был везде, в сапогах и в воздухе, скапливался вокруг, засыпáл улицу, казалось, вот-вот подует ветер и начнется песчаная буря, а пыль вперемешку с раскаленным воздухом взметнется над головами, трамваями и куполами застрявшей между Городоцкой и улицей Шевченко церкви Святой Анны, которую в советское время превратили в мебельный магазин. Но не песком, а другим, более светлым порошком набивали свои карманы польские студенты, а затем спускались в канализационные каналы, прекрасно ориентируясь в кишках любимого города, раз за разом добирались под землей до казарм Фердинанда — наиболее выдвинутого на запад плацдарма украинского фронта. Они трудились, как муравьи, сновали вверх и вниз. Враги обстреливали их из казарм, даже не подозревая, что опасность приближается из-под земли, что в подвалах под ними с каждым днем растет куча опасного порошка.

Кишки любимого города. Канал под театром. Главный позор Миколиной жизни.

В назначенный день вся улица сотряслась, но казармы Фердинанда даже не дрогнули. Поляки с улицы Бема неправильно рассчитали расстояние — взрыв прогремел несколькими метрами дальше, чем нужно.

“Я люблю тебя” — сказанное под принуждением, “я люблю тебя”, которое не стоит ничего, “я люблю тебя” — единствен-

ное и последнее перед смертью, после которой ничего уже не исправишь.

Солдаты в казармах панически боялись огня. В иррациональную панику вгонял их вид тряпок, пропитанных керосином, которые влетали в окна и от которых то здесь, то там занимался пожар. Они выросли в сельских хатах, крытых соломой, и не знали, что толстые каменные стены огню так легко не сожрать. Одним из этих солдат был поэт Роман Купчинский. Он как раз сидел в казарме, когда внезапно загорелась дверь. Несколько секунд — и язычки пламени превратились в пылающую стену, стремительно надвигавшуюся на него. Воды не было, под рукой оказалась кастрюля борща. Роман молниеносно схватил ее, и в красную пасть хлынул красный суп. Так крестьянские плоды деревни под Львовом одолели чудище войны.

Иначе бывало, когда чудище являлось мне во сне — я не знала, как защититься, да и зачем? Мной оно вроде не интересовалось, но уйти не позволяло, я должна была смотреть на него, это было в цирке, но не в настоящем, на Городоцкой, где на арене взбивали пыль желтые башмаки клоунов и танцевали дрессированные кошечки с бантиками, а в каком-то незнакомом, разместившемся в бывшей церкви. Чудище выступало в одиночку: танцевало без страховки под самым куполом, жонглировало шаровой молнией, показывало акробатические трюки воющим и хохочущим зрителям. Я леденела от мысли, что участвую в осквернении святыни, наблюдаю, как монстр хозяйничает там, где место шестикрылым серафимам. Меня все больше сковывало льдом, пока чудище, раскачавшись на трапеции, под взрывы смеха не полетело над головами зрителей прямо ко мне, а когда было уже на расстоянии вытянутой руки, вдруг выдуло мне в лицо пузырь из жевательной резинки.

После развала империи здание цирка на Городоцкой потихоньку приходило в упадок. С фасада кусками отваливалась штукатурка, а плитка при входе раскрошилась, утратив свою изначальную форму, на тротуаре появились вздутия и выбоины. Как людские лица в старости часто выдают всю правду о жизни их обладателей, так и здесь детская идиллия, лишенная возможности и дальше прикидываться таковой, обнажила всю свою пронзительную уродливость. Лицо ее матери — хромой несостоявшейся художницы... Микола сбежал с похорон еще и потому, что не хотел смотреть на это лицо.

Мы прошли мимо цирка, поднялись на холм, увенчанный изя́щной церковью.

— Следующий экспонат моей коллекции — письма, — сказал Микола. — Когда поляки и украинцы убивали друг друга, два архиепископа состояли в переписке, а курьер переносил письма через линию фронта.

Над собором Святого Юра[1] развевался красно-белый флаг. "Шептицкий в Польше, а у меня здесь — Украина, — писал архиепископ Иосиф Бильчевский. — Лишь бы братоубийственная война поскорее закончилась, ведь в конце всех нас ждет Суд Божий". — "Во время обыска в моем дворце, — жаловался в ответ Шептицкий, — польские солдаты забрали всю мою личную корреспонденцию". Бильчевский писал, что не может спать, потому что украинские пули залетают к нему в окна, и предлагал, чтобы в ближайшее воскресенье все трое, они и архиепископ Теодорович[2], "каждый в своем соборе вверили город и страну Сладчайшему Сердцу Господа Нашего Иисуса Христа, с просьбой отвести от нас гражданскую войну и анархию". Расстояние между двумя холмами невелико, от Святого Юра вмиг можно сбежать вниз, а потом остается подняться совсем чуть-чуть в горку, до дворца у подножья Высокого замка[3]. Напрямик не пройдешь, везде баррикады и патрули, везде стреляют, поэтому курьер сворачивал в боковые улочки, брел по грудам опавших листьев, которые никто не убирал с начала войны, на мгновение ему почудилось, будто он ступает не по листьям, а по письмам, тем самым, что он носит в эту войну с одного холма на другой, от Шептицкого Бильчевскому и обратно. На дворе стоял ноябрь, стемнело рано, из открытых дверей церкви Святой Анны доносилось пение — "Царица Польши, молись за нас", — пахло дымом, до свободной Польши было ближе и дальше, чем когда-либо. На одном холме ему шептали, что у Шептицкого за алтарем телефон, напрямую соединенный с украинским фронтом, на другом убеждали, что Бильчевский велел провести к себе в спальню электрический звонок, связывающий его с квартирами священнослужителей. В предыдущие годы ноябрь выдавался снежный, а в этом нет, интересно, когда снег выпадет, во Львове все еще будут убивать? На боковых улочках было тихо, неустрашимый фонар-

1. Греко-католический собор во Львове, главная святыня Украинской грекокатолической церкви.
2. Митрополит Андрей Шептицкий (1865–1944) – предстоятель Украинской грекокатолической церкви (1900–1944), митрополит Галицкий. Иосиф Бильчевский (1850–1923) – архиепископ Львова (с 1890 г.), святой Римскокатолической церкви. Юзеф Теофил Теодорович (1864–1938) – львовский архиепископ армянокатолического обряда.
3. Возвышенность, на которой до XIX в. находился средневековый замок; сейчас от замка сохранился лишь фрагмент каменной стены.

щик ехал на велосипеде с длинной железной палкой, открывал стеклянную дверцу фонаря и зажигал газ, а курьер думал о письмах, лежавших во внутреннем кармане пальто, он не посмел бы открыть их, даже если бы ему приставили к голове пистолет, не хотел знать, о чем они, только бы архиепископы переписывались и дальше, только бы простирали над улицами свою молитву, мягко переносившую его с одного холма на другой и делавшую невидимым для солдат по обеим сторонам фронта. “Но что же это за варварство, украинцы на захваченных ими улицах замазывают польские надписи грязью и рушат памятники”, — возмущался Бильчевский в письме Шептицкому, а я заметила, что в конце девяностых таблички с названиями улиц вновь были замазаны белой краской: советские названия убрали, а новых еще не придумали.

— Выходит, эта война еще не кончилась, выходит, она продолжается? — спросила я.

В ответ Микола улыбнулся и впервые в этот день взглянул мне в глаза. В голове мелькнул припев французской песенки, лучше всего передававший происходящее между нами: Je t’aime, moi non plus. Я тебя люблю, я тебя тоже нет.

С Городоцкой мы свернули на одну из улочек с замазанной табличкой.

— Здесь бросили ту злополучную гранату, — сказал Микола.

Красные яблоки причудливой формы, яблоки с россыпью пятнышек, тронутые птицами и червяками, идеально подходящие для повидла, яблоки с блюда на подоконнике поймали последний в ее жизни взгляд. Секундой раньше она подбежала к окну, услышав выстрел, это дворник пальнул в проходящий по улице вражеский патруль. В ответ украинцы тут же бросили гранату, граната убила ее на месте, и то, что еще мгновение назад было ею, оседало теперь на паркет, по которому побежали огненные струйки. В квартиру ворвался Черский и растянулся на полу, поскользнувшись на рассыпавшихся яблоках. “Украинский хорунжий случайно убил свою польскую невесту”, — писали потом газеты. Как он жил после той гранаты? Об этом не писали нигде.

Первые три года после выстрела Микола жил в трех склеившихся стоп-кадрах: хруст тонких пальцев Марианны в его руке, спуск под землю, поцелуй чужих губ.

Мы шли дальше в сторону улицы Коперника.

В ходе той войны Главпочтамт несколько раз переходил из рук в руки, и, когда поляки сидели внутри, а украинцы держали блокаду снаружи, какой-то поляк придумал систему с веревкой. По натянутой высоко над землей тонкой веревке, соединявшей одно из окон Почтамта с расположенным

неподалеку домом на улице Крашевского, медленно полз ящичек — так осажденным солдатам передавали еду и письма. Какой-то украинский солдат решил, превратив ящичек в подвижную мишень, устроить соревнования по стрельбе: если украинцы попадали, кастрюли с супом и вторым летели на брусчатку. Тогда поляки прикрепили к ящичку бюст Тараса Шевченко, и выстрелы сразу же прекратились. Позже, когда Почтамт загорелся, обеим сторонам стало ясно: всем придется покинуть здание, чтобы в него смогли войти нейтральные пожарные.

Спустя три года пожар траура и самообвинений погас. Микола отпустил волосы, начал карьеру в академии, женился.

Порой у этой войны проявлялось человеческое лицо. С заходом солнца наступало перемирие и время совместных трапез. Польский динамит стерегли украинские официанты и vice versa, было выпито много водки и сделано много снимков, не вошедших в патриотические альбомы: польская легенда осталась черно-белой, украинцы своей не создали. В казармах Фердинанда состоялся польско-украинский бал, на котором пьяные офицеры жаловались друг другу на массовое дезертирство и договаривались, какие позиции пощадить на следующий день.

— А ты знаешь, что здесь начинался еврейский квартал? — спросил Микола, когда мы вернулись на Городоцкую.

Я помотала головой.

— Евреи оказались в стороне. Они составляли треть населения Львова, но поляки и украинцы сражались за город поверх их голов. Официально евреи сохраняли нейтралитет, созданная ими милиция носила белые повязки на рукаве. Однако поляки, заняв город, обвинили евреев в пособничестве украинцам и учинили погром.

Мы дошли до заброшенной детской площадки. Я села на шаткие качели, на соседней каменной ограде висела мемориальная доска, надпись гласила, что раньше здесь была синагога, правда, шестиконечную звезду затерли чем-то острым. В день, когда бои за Львов завершились, еврейские улицы были объяты пламенем. Горела и синагога “Хасидим Шуль” семнадцатого века с дивным ренессансным аттиком в львовском стиле. Опустился парохет, выполненный по образцу богато украшенной завесы, отделявшей Святая святых[1] от остальной части давным-давно разрушенного Иерусалимского хра-

1. Самая священная часть Иерусалимского храма (задний притвор), где хранились Скрижали Завета.

ма, еще пел кантор, еще раввин поднимался на биму[1], но почетная трибуна качалась и ходила ходуном — на ее месте воткнули карусель, горки и качели, оставлявшие на моей одежде ржавые следы.

Все научные статьи Миколы были посвящены витражам, а его лебединой песней стала получившая широкую огласку работа о витраже с лестничной клетки Марианны. Это была своего рода терапия — как будто цветные стеклышки, спасенные им от гибели, могли исцелить его собственные раны. А потом к нему на лестницу вышла девушка, у которой были *ее* глаза и *ее* кожа, и на мгновение заслонила собой витраж.

Звякали медные монеты в кармане фартука беззубой кондукторши в трамвае номер семь — из ее сумки торчал рулон билетов, женщина захихикала в ответ на мое "денег нет", потому что сама была такая же, как я, — ее совершенно не волновало, сколько билетов она продаст сегодня или завтра, она знала, что от этого ничего не зависит, потащилась в своих стоптанных домашних тапках в другой конец вагона, хотя Микола уже собрался за меня заплатить, взгромоздилась на кондукторское место и задремала.

Мы приехали на Погулянку, я уселась на траву, Миколина белая рубашка была белее белых крестов польских защитников Львова, светлее светлой колоннады, его фигура — выше колонны святого архангела Михаила, выросшей недавно слева от Орлят, а голос — тише шелеста сухих трав.

— Мы свидетели того, как искусственно раздувают проблему открытия кладбища. Этим управляют политики по обе стороны границы. Они сознательно усугубляют разногласия и насаждают стереотипы, корчат из себя великих патриотов, а люди им верят, потому что привыкли к лозунгам и легендам.

Микола помолчал, закрыл глаза и заговорил еще тише. Я чувствовала, что он вот-вот произнесет нечто неотвратимое.

— Послушай меня: есть доказательства, что кости перемешаны. На Кладбище орлят рядом лежат поляки и украинцы, в месте захоронения Сечевых стрельцов на Яновском кладбище тоже лежат юноши и девушки с обеих сторон фронта. "Мы сражались лицом к лицу, а теперь лежим плечом к плечу". Во время боев за Львов военный госпиталь разместился в главном корпусе Политехнического института, туда относили раненых. Врачи спасали всех, не обращая внимания на национальность, на чьей стороне кто воевал. Когда раненые умирали, их хоронили неподалеку.

1. Возвышение в центре синагоги, с которого читают Тору.

— Но ведь позже провели эксгумацию.

— Да, после войны кости поделили и перезахоронили на разных военных кладбищах. Но уже тогда погрешность могла быть велика. Уже тогда кости были перемешаны.

"Мы сражались лицом к лицу", — повторила я, думая о Маме. Она так и не увидела лица того, кто стрелял в нее с крыши.

Ослабев от вверенной мне тайны и головной боли, я прилегла на траву. Приступы мигрени начались, когда мы сошлись с Миколой. Бессильной оказалась даже Аба, когда-то спасшая меня от свинки и ветрянки, вшей и глистов. "Мигрень не поддается лечению", — убеждали ее знакомые врачи, но Аба не сдавалась, пичкала меня всевозможными таблетками, все они были белые, отличались только размером и формой, но ни одни не помогали. Аба удивлялась, а я нет, для меня ситуация была ясна как день: боль — прямое следствие греха, то есть романа с женатым мужчиной.

Микола тоже лечил меня белыми таблетками, только его таблетки были поменьше, напоминали зернышки. Как и Аба, он не допускал мысли, что они могут не помочь, каждый раз приносил мне новые, горстями всыпал в рот, а я давилась, бормотала, что страдание — расплата за грех, он поддакивал и сразу же после этого в рамках терапии массировал мне рот своим твердым языком. Аба высмеивала гомеопатию, а я глотала, что мне приносили, мне было все равно.

Мы оба устали от прогулки польско-украинскими боевыми тропами, солнце зажгло в моей голове огонь, в огне тлела нарастающая боль, она занимала все новые и новые позиции, продвигалась миллиметр за миллиметром, расширяла фронт наступления, хотела завоевать меня целиком, а я не сопротивлялась, открывала ворота, спешила подписать акт капитуляции. Я плюхнулась в бурьян, взяла у Миколы зажженную сигарету. Мы сидели на поле неподалеку от бывшего Дворца пионеров, очередной советской развалины, позже переименованной в Дворец молодежи, хотя "Дворец эвтаназии" подошел бы гораздо больше, сигарета закончилась, но на мою блузку все еще летел пепел, наверное, штукатурка со стены. Пепел, пожарища, могилы на улицах, скверах и во дворах — привычный баланс гражданской войны, пламя погасло, остались полосы дыма, но и они исчезнут с последней затяжкой и выброшенным в урну окурком. Я обернулась, чтобы попросить у Миколы еще одну сигарету, и увидела, что он провалился в сон: каждая часть его тела распласталась на траве по отдельности — так демонстрируют результаты археологических раскопок, когда каждый предмет должен хорошо просматриваться со всех сторон.

Пепел из пачки выкуренных мной сигарет нарисовал на траве круг, я сидела в нем и наблюдала, как Микола открывает глаза и медленно расправляет затекшие конечности.

— Как ты все это успеваешь? — прошептала я. — Скульптура, лекции, история Львова?

— До тридцати нужно интенсивно учиться. Потом человек уже только проверяет себя в действии.

Оставшееся время до тридцати представилось мне длинным-предлинным узким коридором с множеством приоткрытых дверей по обеим сторонам — к счастью, достаточно длинным, чтобы волнительный момент "проверки себя" маячил еще где-то далеко-далеко впереди. Мы двинулись в сторону конечной трамвая.

— А что бы ты сделал, начнись сегодня во Львове польско-украинская война? — спросила я.

— Прострелил бы себе башку, — ответил Микола голосом, ощетинившимся серьезностью, и властным жестом остановил семерку, у которой и так была остановка в том месте, до которого мы дошли.

В*итраж* II

Новое здание посреди старой застройки называли "пломбой", хотя — если уж обращаться к стоматологической терминологии — точнее был бы "вставной зуб". Мы не сомневались, что дом сюда не впишется, что в окружении благородных австрийских строений неминуемо покажется бастардом, поэтому ожидание его рождения, продлившееся всю весну, лето и кусочек осени, было совершенно лишено радости. Все началось с того, что узенькая улочка зашумела, на ней появились грохочущие цементовозы, а за спешно возведенным голубым забором раз за разом кланялся какому-то идолу желтый подъемный кран.

В ту весну Микола получил срочный заказ, и мы виделись мельком: днем кофе по-быстрому в мрачных забегаловках с гордым названием кафе, ночью пахнущая сиренью трава Стрыйского парка, плохо освещенного, замусоренного и тихого. Ко мне мы не ходили из-за Абы и ее возмущенных взглядов, в которых сквозило непреходящее осуждение наших отношений. От мастерской Миколы мы тоже держались подальше, так как он решил, что новая работа должна стать для меня сюрпризом, и увижу я ее лишь в блеске завершенности.

Сидеть дома было невыносимо еще и потому, что Аба чувствовала себя гораздо хуже. Лекарства, десятилетиями при-

носившие ей облегчение, перестали действовать, а новых не изобрели. У нее болели все суставы, особенно косточки на ногах, колени и пальцы. Я часто слышала через приоткрытые двери, как она, лежа на тахте, тихо стонет от боли. Аба ездила на консультации к знакомым врачам, но возвращалась ни с чем — никто не знал, что делать. В воздухе висела беспомощность — я не знала, как мне сдержать усиливавшуюся день ото дня Абину болезнь, Аба не могла покончить с моим романом, который, по ее мнению, разрушал мою жизнь. Ну а я была твердо уверена: то, что с ней происходит, моя вина.

Улочка вибрировала днем и ночью. Дрожала брусчатка под колесами строительных машин, гудели встрявшие в пробку нервные водители, дребезжали стекла окрестных домов. Работали бетономешалки и виброплиты. Тарахтели отбойные молотки. Тряслись насосы. Со страшным грохотом падали бетонные плиты. В воздух вздымались клубы пыли. За закрытым окном соседнего дома металась пожилая женщина с кривым пожелтевшим компрессом на лбу. Рабочие, виновные во всех этих вибрациях, не любили свою работу. Они были бедные и немолодые, к тому же тратили много времени на дорогу. Когда стены бастарда начали расти вверх, они карабкались на строительные леса без страховки. Однажды июльским утром один из рабочих упал и разбился насмерть. Он долго лежал на мостовой — все желающие успели увидеть кровавую лужицу, повторившую очертания треснувшей головы, а еще стоптанные ботинки со следами чего-то похожего на белый школьный мел. Для маленькой улочки эта стройка обернулась сущим землетрясением.

Когда я спрашивала, как Аба себя чувствует, она сухо отчитывалась. Теперь в любом разговоре она давала понять, как сильно сердится. Из-за того, что Аба лишила меня своей любви, душа моя разрывалась на части, но я знала, что этого заслуживаю. И сама начала говорить с ней холодно, по-хамски, при каждом удобном случае старалась ее высмеять или оскорбить. Мы избегали малейших упоминаний о Миколе, который, тем не менее, определял жизненный ритм каждой из нас. В то лето я очень поздно возвращалась домой, а Аба никогда не ложилась до моего прихода, приводя меня тем самым в ярость. Просьбы, крики, скандалы ни к чему не привели, она всегда ждала до последнего. Сидела перед телевизором. Молилась в бывшей комнате Прабабки. Дремала на диване в средней комнате. Затаивалась среди цветов на балконе. Когда я наконец прокрадывалась в квартиру — влажная от поцелуев, наэлектризованная прикосновениями, распаленная оргазмами, — она молча окидывала меня мрачным взглядом и шла к себе, после чего ни я, ни она не могли заснуть. Помню одну из са-

мых жарких ночей того июля. Мы с Миколой долго возвращались с противоположного конца города, а потом так же долго стояли под моим балконом. Было уже так поздно, что еще минута — и стало бы рано, ни в одном окне не горел свет, мы спрятались на моей улочке, как в огромной банке из-под кока-колы, слизывали с ее стенок остатки тошнотворной сладости, жестянка громыхала от наших движений, мы были полураздеты и кончали стоя, а старая деревянная дверь скулила в такт нашим вздохам. И тут я увидела, что Аба смотрит на нас с балкона. Ее голова в венце из бигудей торчала из цветочных горшков, а блестящие стеклышки очков были направлены на нас. Мы стояли под единственным на всей улице горевшим фонарем. Меня охватил стыд и ярость, и с той ночи я перестала с ней разговаривать.

В то время Микола просвещал меня, рассказывая о барельефах, мы изучали мемориальные доски, которые повылезали в центре, как грибы после дождя или мухоморы после Чернобыля. Валерий Бортяков из Польского театра даже придумал определение “резьба в хозяйственном мыле”, прижившееся в его кругу. Вздумайся кому-нибудь проследить судьбу отдельных досок, все оказалось бы предельно просто: любой, кто обладал деньгами или идеей, мог отправиться в городской совет и получить разрешение. Если личность, которую хотели увековечить, была политически правильной, чиновники выдавали нужные документы и теряли к делу интерес. Автор идеи сам выбирал проект и скульптора. Изредка горсовет спонсировал установку той или иной доски, тогда, по крайней мере, была известна фамилия автора. Так возникали произведения, при виде которых художники хватались за голову. Или — проходя мимо по улице — отворачивались.

Мы ходили по городу и видели, что почти все доски были слишком большие, висели слишком низко, нарушали принципы композиции, а главное — не вязались с окружением. Они прибыли с другой планеты, нежели костелы и каменные дома, наросли на старинных зданиях, как плесень. Здесь из стены торчали пять яйцевидных голов, втиснутые в овал. Там — бронзовые ботинки, за которые прохожие задевали макушкой. Где-то таращила глаза дебильная кукла. Как правило, мы не знали тех, в чью честь повесили доски, и — хуже того — не хотели их знать: украинская история проигрывала хорошему вкусу. Мы спорили об одной доске, а на следующий день появлялись три новые. Мы обсуждали другую, а назавтра она исчезала без следа — алкаши сдавали доски на металлолом.

Микола считал, что советские мемориальные доски были лучше. Не все, но многие. Эта мысль меня потрясла — она

вносила невыносимый хаос в мое видение мира. Доказывала его невероятную неоднозначность.

— В прежние времена город был серый и неухоженный, но оставался собой. Нынешние хирургические эксперименты превратят его тело в нечто совершенно иное.

Микола произносил эти слова, которые я хорошо запомнила, когда мы стояли на углу улиц Коперника и Словацкого, там, где на стену недавно прилепили фигуру какого-то робота в военной фуражке. Позже, провожая меня домой по улице Стефаника, он объяснял разницу между барельефом, горельефом и контррельефом. Когда мы вошли в мой подъезд, он стал меня целовать. Я смотрела на зарешеченное круглое окошко над входом, чтобы не видеть трещин на стенах. Притворялась перед самой собой, что их не существует.

В тот период я придумывала легенды. Что это паутина огромных пауков, которую уборщица Люба обходит стороной. Или декоративные канелюры, о которых нам рассказывали на лекциях по истории искусства. Или искажение, вызванное контактными линзами, которых я отродясь не носила. Первые трещины на стенах и потолке Микола задокументировал: взяв у Абы кусочек угля для рисования, поставил возле каждой дату, сфотографировал. Другие жильцы в этом не участвовали: соседи сверху готовились к отъезду "на ПМЖ" в Германию, а с Любой некоторое время назад что-то случилось — она попросту перестала убирать. Вроде бы обратилась в какую-то религию — даже звонила мне, чтобы своим низким голосом, в котором звучали безумные трагические нотки, попросить прощения "за все причиненные обиды", чем совершенно меня озадачила. Люба перестала носить шляпу, явив миру отросшие седые волосы, и несколько раз сказала Миколе, указывая пальцем на потрескавшиеся стены: "Время близится!".

Белая пыль заволокла весь подъезд: наша обувь была припудрена чем-то белым, как у того мертвого рабочего. Микола зазывал в дом преподавателей и студентов, оббивал пороги горсовета, пил кофе с плохо подстриженными мужчинами в плохо сидящих костюмах. Благодаря ему к нам даже приехала съемочная группа с телевидения: поддатая журналистка в серебряных "шпильках" и ее пьяный в стельку оператор с камерой VHS выкурили по несколько сигарет возле нашего подъезда, а вечером в эфир пошло нечто невнятное о "львовской Сент-Шапель[1]", "украинской сецессии" и крупном биз-

1. Готическая часовня-реликварий в Париже, знаменитая своими витражами XIII в.

несмене и меценате, который "спасет произведение искусства от гибели". Теперь нам предстояло выяснить, кто же этот спаситель. Мы отправляли первые в жизни электронные письма знакомым в Польше: они носили хорошо скроенную одежду и современные очки и разбирались в искусстве — с ними я связывала свои главные надежды.

Помню тот день в начале августа, когда в витраже треснули первые стекла. Микола со знанием дела объяснил, что из-за внешнего давления расходятся стыки свинцовых перемычек, что поля прогибаются и попросту их выталкивают. Я смотрела на витраж и видела, как он колышется. Я понимала, что это не легкий бриз, а смертоносный шторм. Новые пустоты появились чуть ниже корней дуба, сливаясь с давно не существующим царством огня: Ничто поглощало все вокруг, как в фильме "Бесконечная история". В тот день Микола входил в меня чересчур осмотрительно и раскачивал слишком ласково — мы опирались о подоконник, витраж был прямо у меня за спиной. Я не сомневалась, что Люба наблюдает за нами через глазок.

— Я больше не могу об этом думать.

— Думать — наша обязанность. Если не мы — то кто? Если не сейчас — то когда? Мы последние из могикан. Только мы не можем равнодушно смотреть, как умирает Львов. Мы не можем дезертировать, не можем предать.

Мой последний разговор с Абой состоялся в августе. После поездки с Миколой за город я обнаружила, что мне в пупок впился клещ. Через несколько дней пупок распух, казалось, клещ становится все больше, а я все меньше. Я пришла в Абину комнату, присела на краешек тахты. Мне хотелось, чтобы она со мной помирилась, чтобы простила, чтобы — как когда-то — спасла. А она и не думала умерять свой праведный гнев. Со злостью налила мне в пупок растительное масло. С раздражением пыталась вытащить клеща ногтями. С яростью оторвала ему голову пинцетом. Добившись своего, легла на тахту и молча повернулась ко мне спиной. Я сидела рядом, смотрела на Костюшко, который вел крестьян на восстание, и подмечала изъяны композиции. До сих пор задаю себе вопрос, почему я не обняла ее насильно. Почему не поцеловала? Почему не прокричала во весь голос все, что чувствую?

Мужик, выкупивший участок рядом с нашим домом, ездил на золотом джипе, но не был ни лыс, ни толст, а в глазах у него проблескивали хитрые искорки. Мы поймали его при входе на стройплощадку. Микола говорил, а я стояла рядом, держа его за руку. Мужик отвечал вежливо.

— Да вы не волнуйтесь так, — сказал он. — Я же не какой-то там новый русский, которому важны только бабки. Я слышал о витраже и понимаю, что он уникален. Я решил его спасти. У меня уже есть все бумаги от местных властей, необходимые для демонтажа, жду только согласия Киева, так как дом внесен в Общеукраинский реестр памятников истории и культуры. Когда получим разрешение, витраж реставрируют, а затем поместят в отеле, который я строю рядом. Там уж он всегда будет в безопасности.

Микола больно сжал мои пальцы.

— Это варварство! — крикнул он. — Витраж вписан в композицию конкретного здания! Вместе они составляют органичное целое. Забрать его отсюда — то же самое, что вырвать у вас печень! У обычных людей не будет доступа в отель. Сначала вы своей безответственной стройкой уничтожаете старинное здание, а теперь хотите лишить его произведения искусства, которое для него же и было создано.

Мужик с пониманием кивал, вручил нам по визитке и умчался на своем золотом джипе.

У этой драмы был еще один акт. В конце августа Микола побывал в Варшаве и дошел до нужных людей из Министерства культуры. Их убедил его рассказ о польском наследии, и они согласились профинансировать реставрацию здания и витража, который необходимо было сохранить на прежнем месте. Оставалось только заручиться согласием львовских властей. Мы пытались его получить — ответственная за подобные дела чиновница сначала была в отпуске, а когда встреча наконец состоялась, после путаного вступления на тему процедур и документов она вдруг раскричалась, что мы живем в независимом украинском государстве, которое само заботится о своих памятниках, и что власти “казацкого города Львова” никогда не допустят, чтобы граждане другого государства вмешивались в его внутренние дела. А наши действия смахивают на измену родине. Золотая блестящая блузка плотно обтягивала ее грушеподобные груди и яблокоподобный живот. Со стены кабинета на нас смотрели одурманенные глаза местного Будды — казака Мамая.

В те дни Микола заканчивал свою работу-сюрприз, которая должна была быть готова к сентябрю. С самого начала я догадывалась, что́ это будет. В конце концов Львов не такой уж большой город, слухи дошли и до меня. Но своими глазами я увидела ее лишь на церемонии открытия.

На сей раз собралась только горстка людей, не было ни фанфар, ни оркестра, ни хора — только громыхание желтых маршруток, едущих по проспекту Свободы. И хотя на месте

памятника со скрытыми в постаменте надгробными плитами разбили клумбу и теперь там росли цветы, мне все равно вспомнился тот давний сентябрьский спектакль. Сейчас люди стояли у служебного входа — прямо возле лестницы, по которой Мама каждый день ходила на работу. Новую мемориальную доску украшала сине-желтая ленточка, ее перерéзал мэр города, такой низенький, что ему пришлось воспользоваться специальной подставкой. Возле него колыхались формы знакомой нам чиновницы из департамента архитектуры, сегодня она была в обтягивающей черной вышиванке. Стоящая неподалеку жена Миколы резко с ней контрастировала: высокая и худая как жердь, в длинном, до пят, светлом платье. На волосах у нее была белая повязка — такие повязки носили львовские студенты, голодавшие на Майдане в девяностом году. В отдельную группку сбились студенты академии: в зубах сигареты, на запястьях браслеты-фенечки. Я стояла в стороне. Был еще тот самый скульптор, специализирующийся на бюстах Поэта — неопрятные седые усы, затуманенные алкоголем глаза. Он гремел в испорченный микрофон:

— *Неосяжна культурна спадщина. Тернистий мученицький шлях. Розбудова нової України. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте*[1].

Площадь перед Оперой гудела. Прямо на нас маршировала колонна юнцов в серых рубашках, они несли красно-черные флаги и пели что-то воинственное. На груди у каждого виднелся металлический значок с буквами *ІН — Ідея Нації*, по форме напоминающий свастику. Я вздрогнула, подумала, что они пришли протестовать против установления на стене Национального театра оперы и балета мемориальной доски женщине, которая не была этнической украинкой. Однако марширующие умолкли и встали справа от доски — о боже, они пришли почтить память Мамы.

Микола стоял слева, один. По такому случаю надел парадную пепельно-серую рубашку без вышивки, ее цвету чем дальше, тем больше уподоблялись его длинные волосы. Он изображал благородное равнодушие: великий, не понятый всеми художник. Не удостоил взглядом никого и ничего — всматривался в неразличимую за домами даль.

А я смотрела на все. На очень даже неплохую композицию контррельефа, который, правда, выглядел как горельеф. Ко-

1. Необъятное культурное наследие. Тернистый мученический путь. Строительство новой Украины. Схороните и вставайте. Цепи разорвите (*укр.*). Две последние фразы — из “Завещания” Т. Шевченко (перевод А. Твардовского).

торый висел слишком низко. Который никак не вписывался в окружение и идеально гармонировал с современными макабрическими наростами, облепившими стены города. С доски на меня глядела очередная Barbie made in Ukraine, она напрасно разевала свой рыбий рот, силясь что-нибудь спеть, — ей следовало убитыми вместе с нею звуками поднимать на борьбу юных роботов с флагами. Я смотрела на нее и смотрела. А потом тоже затянула себе глаза художественной пеленой. Сначала из легкой мглы появился алтарь восемнадцатого века, творение Себастьяна Фесингера, с барельефом святой Марианны — белой, алебастровой, сумеречной, затем на просвечивающей поверхности минерала проступила покрытая веснушками и нежеланными волосками кожа, местами шершавая, как бархат, местами гладкая, как атлас. И еще продолговатые ногти и глаза с золотыми лучиками вокруг зрачков. Я хотела вспомнить ее голос, но не вышло: не получилось ничего, кроме громыхания убогого городского транспорта. Доска была отлита из бронзы, значит, через какое-то время позеленеет. Забегая вперед, скажу, что так и случилось. А члены националистической молодежной организации, которая впоследствии несколько раз меняла название и униформу, завели обычай зажигать под ней свечи. Первого ноября, первого января[1] и в июле — в годовщину смерти.

Вдруг грянуло... я с облегчением подумала, что здание театра, как того и боялись много лет, начало проваливаться под землю, но оказалось, что это всего лишь под конец торжества запели какую-то патриотическую песню.

Потом были аплодисменты. Мэр города пожал Миколе руку и, забрав подставку, уехал на своем черном “вольво” в ратушу, находившуюся в нескольких сотнях метров от Оперы. Я смотрела, как Микола знакомит чиновницу от архитектуры со своей женой и как они беседуют втроем. И медленно двинулась в сторону дома.

Микола догнал меня возле Этнографического музея.

— Буду ждать в восемь у часовни Боимов, — шепнул он мне на ухо. Вообще-то он мог говорить громко: все и так обо всем знали. С безопасного расстояния мне махал развевающийся рукав его жены, а сама она мне улыбалась, костлявая и фальшивая.

Я не пошла к Боимам, осталась одна. Сначала решила было поездить по кругу на каком-нибудь трамвае, но слишком

1. День рождения Степана Бандеры (1909—1959) — украинского политического деятеля, идеолога украинского национализма.

боялась контролеров, поэтому отправилась бродить по городу. Погулянка, Лычаковское кладбище, Высокий замок. Стемнело. Я лежала на влажной траве Кайзервальда, меня кусали комары и муравьи. В это время меня искали везде: в Соборе, у Миколы, звонили на все номера из моей телефонной книжки. До стройплощадки я добралась примерно в половине седьмого, безоблачным солнечным утром, таким свежим, будто оно занялось над кипарисами средиземноморского курорта, а не в этом измученном Историей городе. Я всего на несколько минут разминулась с машиной "скорой помощи" — она увезла Абу, у которой ночью случился инсульт.

М*айдан*

"Какой тесный запах, — думала я, — если запах можно описать этим словом". Его сладость — на грани разложения — была отталкивающая и избыточная, она вызывала в памяти ящик полусгнивших яблок, может, не столько сгнивших, сколько прокисших, таких, которые много месяцев пролежали в погребе. А я много дней плакала, не глазами, носом, у меня из носа вытекала какая-то постыдная жидкость, которую я не в силах была удержать. Еще я не чувствовала запаха — ни сигарет, ни любимых духов, — хотя всего лишь наглоталась газа на улице Грушевского, а вон у того парня под ногами взорвалась светошумовая граната, и он ослеп.

Газ с запахом гнилых яблок — крайне вредный, запрещенный всеми международными конвенциями — спускался в мой живот, а я бежала за ним, съезжала в собственное нутро по искореженным рельсам, потом начала плакать через нос, изливалась, как река, спрятанная под скорлупой города. Я плакала о глазах того парня: открытые они были голубыми, когда погасли — стали напоминать радугу, зрачки окружали желтые, фиолетовые и зеленые лучи, с каждой секундой светлевшие, потому что он все время улыбался. Он улыбался, когда в киевской больнице сделалось опасно и его пришлось оттуда увезти, когда лежа ехал в старенькой "ладе", когда польские монахи переправили его через границу и даже тогда, когда потянулись долгие дни ожидания возврата зрения.

Обоняние вернулось ко мне, когда пуля угодила в сумку какого-то медика и из нее полились лекарства, я почувствовала их резкий запах, несмотря на пораженную слизистую, это был запах болезни и тревоги. Впечатление усиливал вой сирен — так моряков заманивают на скалы, — но никто им не ве-

рил, мы шли вверх по Институтской улице в сторону парламента, нестройными рядами. “И как тебе, Мама, что такая революция происходит без тебя?” — мысленно спрашивала я. Справа от меня шагала молодая пара лет двадцати в больших капюшонах, они завернулись в огромный сине-желтый флаг, поддерживая его с обеих сторон, словно простыню, которую они расстелют под конец дня на какой-нибудь поляне и займутся на ней любовью — и еще раз, и еще... Слева я видела тучного мужчину в камуфляже, морщины на его лице напоминали разбитые дороги украинской глубинки, он нес выструганный дома деревянный щит и курил. Впереди меня шел другой мужчина в дорогом пальто, лакированных ботинках и строительной каске, затейливо раскрашенной наподобие пасхальных писанок, в одной руке он держал два флага, польский и бандеровский, а я подумала: “Красный цвет популярен среди флагов, и ничего с этим не поделаешь, Мама”. Именно этот мужчина чуть раньше крикнул “стреляют”, после чего я не могла избавиться от впечатления, что все происходящее не к лицу городу, его обычным улицам, отремонтированному продуктовому магазину на углу. Еще несколько человек выкрикнули то же самое слово, но никто не развернулся и не побежал вниз.

Пахло дымом, в конце улицы виднелся неподвижный круг черных дикобразов — бойцов “Беркута”, перед ними, опасаясь атаки, развели костер; кто-то сзади подал мне шину, я должна была перекатить ее выше, в следующие руки. Мы шли вверх, снимая себя и “их” на мобильные телефоны и планшеты, как будто эти устройства, точно волшебные палочки, сделают так, что смерть, показанная на экране, перестанет быть смертью. Снайперы прятались на крышах, то и дело слышался глухой треск, под балконами сновали парни в жилетах спасателей и уносили раненых в сторону Майдана, а я думала, что того парня не могут подстрелить, он в безопасности, в Польше. Квадраты солнечного света прильнули к зданиям, над которыми возносился поочередно то белый, то черный дым, словно из трубы какого-то обезумевшего Ватикана, где-то впереди, среди крыш, предостерегающе горел красный свет светофора, он сливался с бордовыми реками, вытекавшими из тел людей и струившимися по ним, рисуя карту свободы — чудища, извечно жаждущего свежей крови: ты была не одна, Мама. Врач с красным крестом на футболке, натянутой поверх пальто, то ли целовал, то ли откачивал лежащего на земле мужчину, которому ветер ерошил волосы, ветер хотел поднять его голову и его самого. Улицы выгибали свои каменные хребты, чтобы нам сподручнее было выковыривать

из них камни; как и шины, камни передавали из рук в руки и бросали в “дикобразов”, в этой войне улицы были за нас. В цепочке, передающей камни, передо мной оказалась женщина в немодной фетровой шляпе, она была без перчаток, ее руки кровоточили в цвет маникюра, бок о бок с молодостью на нашей стороне сражалась старость. “История всегда лезла в нашу жизнь через двери и окна, Мама, а я иду без каски, и вот только сейчас перестала от Истории защищаться”. Парень с рюкзаком, похожий на того, с голубыми глазами, выскочил к стене из металлических щитов и бросил в них свой Давидов камень, я шла в его сторону, в высоко поднятой руке держала телефон, я снимала.

Краков, 2010–2014

Бертран Блие

Я иду по ковру...

Пьеса

Перевод с французского и вступление Нины Хотинской

Знакомство российской публики с Бертраном Блие — кинорежиссером, сыном знаменитого актера Бернара Блие — состоялось лет двадцать назад, когда на экраны вышел его фильм “Вальсирующие”. Фильм получил большой резонанс, от макабрически веселой истории похождений парочки хулиганов в исполнении еще юных Жерара Депардье и Патрика Девааера пришла в восторг молодежь, критики объяснили, что фильм снят на волне молодежного движения парижского 68-го, и за Бертраном Блие прочно утвердилась репутация хулиганствующего эротомана. Ее не смогли поколебать следующие его фильмы, в изобилии хлынувшие как в наш прокат, так и на телевидение и ди-ви-ди, — “Холодные закуски”, “Спасибо, жизнь”, “Вечерний костюм”, “Слишком красивая для тебя” и другие, зачастую лишенные откровенных эротических сцен и широкому зрителю уже не вполне понятные. Зато успех, сравнимый с успехом фильма, имело издание романа Блие “Вальсирующие, или Похождения чудаков”, написанного им прежде фильма и с большим опозданием вышедшего по-русски.

Между тем Бертран Блие вовсе не эротоман и даже не эпатажный художник. Это сложный, тонкий мастер психологической сатиры, гротескной, часто доводящей до абсурда проблемы современного западного общест-

© Bertrand Blier
© Нина Хотинская. Перевод, вступление, 2017

ва — и именно в этом абсурде обнаруживающей повод и для катарсиса, и для жестокой насмешки. У прозаика и кинорежиссера Блие заметны черты театральные. Главное в его фильмах — текст, обмен репликами, обманчиво простыми, но полными подтекста, а то и прямое обращение к зрителям с экрана — такой брехтовский прием в кино встретишь не часто. Зачастую Блие иронически обыгрывает и классовый подход к своим героям, и прием раздевания как выявления истинной человеческой сущности, когда персонаж вместе с одеждой избавляется от классовых предрассудков.

Так что прямое обращение Блие к театру случайным не выглядит. Вот и в пьесе "Я иду по ковру..." — сто́ит жалкой бродяжке поменяться одеждой с солидной буржуазной дамой, как все упорядоченное, налаженное хозяйство буржуазного "маленького мирка" летит в тартарары, превращаясь в мрачно-забавную фантасмагорию.

"Я иду по ковру..." — второе обращение Блие к драматургии. На основе первой пьесы "Отбивные", написанной в 1997 году, Блие поставил одноименный фильм. Пьеса "Я иду по ковру" написана в 2010-м и в том же году поставлена в парижском "Театр Антуан" самим автором.

Действующие лица

Дама
Бродяжка
Контролер
Борис, муж Дамы
Клошар

Занавес поднимается, открывая море ковра.
Какого цвета этот ковер? Трудно сказать. Его цвет определит свет.
Действие происходит зимой. Уже стемнело.
По диагонали сцена делится на две части: холодную зону, освещенную синим, которая будет называться улицей, и теплую, освещенную желтым, которая будет называться домом.
Граница между двумя зонами должна быть очень четкой, как будто они разделены стеклом. Но стекла нет. Нет также ни мебели, ни аксессуаров, ничего. Только ковер, повсюду, и вдалеке огни города, несколько офисных башен, окна в которых гаснут, по мере того как сгущаются сумерки и приглушается уличный шум — лишь время от времени завывает полицейская сирена и вспыхивает между туч световая реклама.
На улице Бродяжка сидит прямо на земле, вольготно раскинув ноги. Она закутана в ветхое грязное пальто.
В доме принаряженная Дама совершенно ошеломлена тем, что видит у своего порога: Бродяжка ковыряет в носу. И не только ковыряет, но и с удовлетворенным видом рассматривает содержимое. Кажется, даже собирается его съесть.

Дама. Вы же не будете есть козявки?

Бродяжка. Почему бы нет? Больше мне есть нечего. А вам-то что?

Дама. Как это что? Ну знаете! Ну знаете!

Бродяжка. Что я знаю?

Дама. Нет, я понимаю, мы живем в такое время, когда нам на черное говорят, что это белое, но все-таки, знаете!..

Бродяжка. Я что, не имею права есть козявки?

Дама. Право-то конечно! Право вы имеете! Вы имеете все права!

Бродяжка. А у вас одно право — закрыть варежку!

Дама. Нет уж, я ее открою!

Бродяжка. И что скажете?

Дама. Ничего. Я ничего не скажу.

Бродяжка. Уф! А то я уж испугалась! Вы вроде как жаловаться собрались... Был момент, я подумала: “Черт побери! Не может быть! Она никак жаловаться собралась?”

Дама. На что мне жаловаться?

Бродяжка. Я, может, курю?

Дама. Нет.

Бродяжка. А могу и закурить...

Дама. Да ладно, не стоит, и так хорошо.

Бродяжка. Могу гасить бычки о ваш ковер, если захочу!

Дама. Нет, спасибо. Не стоит.

Бродяжка. А могу и напиться! Сблевать! На ваш ковер!

Дама. Да не мой это ковер, черт побери!

Бродяжка. Вы же за него платите!

Дама. Мой муж! Это мой муж за него платит! Есть разница!

Бродяжка. Да, но вас-то бесит, что ваш муж должен платить за ковер, который вообще не ваш!

Дама (*делает шаг вперед*). Я могу пройтись по вашему ковру...

Бродяжка (*протягивает руку*). Во-во, отличная мысль! Идите сюда! Холод собачий...

Дама (*поспешно отступает*). Я лучше останусь дома. У меня дома так тепло, так уютно. Я чувствую себя под надежной защитой. Даже думаю, не беременна ли я...

Бродяжка. Ага. Я тоже. Подташнивает вроде... И месячных нет. (*Заглядывает себе между ног.*) Нет. Нет месячных... Через несколько месяцев на вашем ковре появится писклявая кроха, чудная малютка, и папы-то у нее не будет... Понятное дело, на вашем ковре так сладко спится, когда мужики наваливаются, я через раз и не просыпаюсь... (*Ложится, устраивается поудобнее.*) Что-то спать захотелось от вашего нытья, вздремну-ка чуток... Шеве-

лится там в животе, я чувствую, я вынашиваю новую жизнь... (*Моментально засыпает. Негромкий храп.*)

Дама. Какой все-таки идиотизм этот закон! Зачем им ковер? Им нужны дома!

Контролер (*маленький человечек в сером, бесшумно подходит с портфелем из папье-маше под мышкой*). Вы против закона?

Дама. Кто? Я? Ничего подобного!

Контролер. Что-то вы нервничаете...

Дама. Да. Действительно. Я немного нервничаю.

Контролер. Это закон вас нервирует?

Дама. Нет. Вовсе нет. Закон тут ни при чем.

Контролер. А то есть ведь такие люди, которых он нервирует...

Дама. Да. Я знаю. Слышала. Но я со всем согласна.

Контролер. Вас ничего не смущает в этом законе?

Дама. Ничего.

Контролер. А то если вас что-то смущает, так я доложу об этом властям, и власти вами займутся!

Дама. В конце концов, когда можно хоть что-то сделать, чтобы помочь нуждающимся, мы, естественно, за!

Контролер. Тогда почему вы нервничаете?

Дама. Моего мужа нет дома.

Контролер. Как это?

Дама. Моего мужа нет дома! Уже половина одиннадцатого, а его нет!

Контролер. А где же он?

Дама. В конторе, где же еще! У себя на работе!

Контролер. Так ведь и меня тоже нет дома! И у меня тоже половина одиннадцатого! И меня тоже ждет жена!

Дама. Да, но я-то принарядилась! Надела новое белье! Заказала суши! Вон они, видите, суши?

Контролер (*подходит ближе*). Можно мне одну штучку?

Дама. Нет-нет! Ни в коем случае! Они для моего мужа!

Контролер (*обиженно отступает*). Спасибо. Большое спасибо, мадам.

Дама (*с досадой*). Знаете ли, надо и меня понять...

Контролер (*продолжая пятиться к выходу*). Может быть, придет время, когда вы будете умолять меня взять хоть одно ваше суши, и остаться поужинать, а там, как знать, и более того... когда ваш муж вас бросит...

Контролер уходит. Дама в панике.

Дама. Почему он мне это сказал? Почему он мне это сказал?

Бродяжка (*не открывая глаз*). Наверно, у него есть информация...

Дама. О ком?

Бродяжка. О Борисе.

Дама (*в ярости*). Откуда вы знаете, что его зовут Борис?

Бродяжка. Да вы ж только и делаете, что орете его имя на весь дом, особенно когда он приляжет отдохнуть с газетой! "Борис! Ты не принесешь мне халат? Борис! Что ты делаешь? Где ты? Почему ты не со мной? Мог бы потереть мне спинку..." И бедный измученный Борис...

Дама. Откуда вы знаете, что измученный?

Бродяжка. Я живу под вашей дверью! Мы делим один ковер! Вы думаете, я сплю, но я-то иногда притворяюсь! И подсматриваю за вами через дырки в пальто! И вижу, как бедный Борис вечно закатывает глаза... "Борис! Не завести ли нам собачку? У Мартины есть собачка! Я хочу такую же! Йорка!" (*Теперь она стоит, яростная, грозная.*) Утром будят меня! "Борис! Ты не принесешь мне чашечку кофе? Мне что-то не хочется вставать!" И он бежит и несет кофе! А у меня кофе нет! Только бормотуха, и той на донышке! Черт побери! С какой стати вы меня будите, я могла бы и поспать подольше! Мне-то делать больше нечего, только спать! Смотреть сны! Это все, что у меня есть, — мои сны!

Пауза. Кажется, Дама немного тронута несчастным видом Бродяжки.

Дама. А какие у вас сны?

Бродяжка. Ничего себе сны... Ничего себе... Особенно те, что с Борисом.

Дама. Вам снится мой Борис?

Бродяжка. Он захаживает в мои сны без спроса! Как вор! Ему, верно, нравится дразнить бедную женщину, которой больше нечем соблазнять, губной помады — и той нет! Мерзавец! На кой черт мне сдался мужик, который бросает свою жену, мне такой без надобности! Бросил одну, бросит и вторую! А этой второй буду я! Нет уж, спасибо!

Дама. Откуда вы знаете, что он меня бросит?

Бродяжка. Вы же видите, его нет...

Дама. Может быть, с ним что-то случилось!

Бродяжка. Вам бы позвонили. Лично я думаю, что у него есть цыпочка. Ему с ней никак не расстаться. Она его держит ляжками. В отеле "Ибис". В маленькой комнат-

ке. Побудь еще немного. Я не могу без тебя. Так и проходит время. Можно продержаться до развода.

Дама (*ошарашена*). Но что же будет со мной?

Бродяжка. Что-что, будете одна. Как я. Мы теперь сестры. Сестры по несчастью. Только вы в тепле, а я коченею.

Дама. Хотите суши?

Бродяжка. А у вас нет чего-нибудь тепленького?

Дама. Моя рука...

Бродяжка мнется. Робко берет руку, которую протягивает ей Дама.

Чувствуете тепло?

Бродяжка. Вот вас и околпачили.

Дама. Кто?

Бродяжка. Я. Сейчас вытащу вас и займу ваше место!

И она подкрепляет слова делом. Дама оказывается на улице, а Бродяжка в доме. Бродяжка швыряет Даме свое пальто.

Держите! Оно вам пригодится!

Под пальто на ней шикарное коктейльное платье и длинная нитка жемчуга.

Дама (*вне себя от ярости*). О! Это же невозможно!

Бродяжка. Еще как возможно!

Дама бросается к дому и с разбегу врезается в стекло. Значит, стекло все-таки есть? Во всяком случае, звон был вполне реальный, и бедняжка больно ушибла нос.

Вы совсем спятили! Сейчас сработает сигнализация!

И сигнализация срабатывает! Оглушительно!
Бродяжка в панике.

Ну и что мне теперь делать?

Дама. 24 Б 56!

Бродяжка набирает код. Жмет кнопки очень нервно. Воцаряется тишина; облегчение.
Она очень испугалась. Ее зад еще подрагивает.

Бродяжка. Больше не вздумайте этого делать! Не то я позвоню в бюро жалоб и скажу им, что у вас есть жалоба.

Дама. Но я ни на что не жалуюсь!

Бродяжка. Вы уверены?

Дама. Совершенно уверена!
Бродяжка. Ковер вас устраивает?
Дама (*ложится ничком на землю*). Мне на нем очень удобно!
Бродяжка. И то слава Богу! За те бабки, что он нам стоит!

Откупоривает бутылку шампанского. Откуда взялась бутылка? Во всяком случае, было хорошо слышно, как выстрелила пробка. А теперь слышно, как вино течет в бокал и лопаются пузырьки.

Дама (*несмотря на мягкий ковер, ей нелегко привыкнуть к своему новому положению бродяжки и особенно к невыносимой вони от пальто, в которое она пытается закутаться, борясь с холодом*). Но я не могу здесь оставаться!
Бродяжка (*которая, наоборот, уже освоилась в тепле, уюте и с шампанским*). Почему это вы не можете?
Дама. Но я же не привыкла! Я не привыкла к нищете!
Бродяжка. А кто привык? (*Вдруг другим тоном, счастливая.*) Борис! Любовь моя! Это ты?

Входит Борис с большим атташе-кейсом.
Делает крюк, чтобы обойти Бродяжку, которая порывается броситься ему на шею. Выходит на авансцену и опустошает свой атташе-кейс: в нем грязное белье, в основном трусы.
Бродяжка следует за ним, глядя влюбленно.

Знаешь, ты меня напугал! Я думала, с тобой что-то случилось!
Борис (*снимает костюм*). Случилось!
Бродяжка. Что с тобой случилось?
Борис. Я поскользнулся на куске мыла.
Бродяжка. Мыла? Какого еще мыла?
Борис (*переодевается в домашнюю одежду*). Да эта дурища вся облилась духами, я ей и говорю: "Не могу же я так идти домой! Всякому хамству есть предел! Моя жена — она все-таки женщина! Не приду же я к ней с таким амбре! Мне надо принять душ!"
Бродяжка. Но ты же знаешь, мне безразлично, что ты спишь с Гортензией!
Борис. Да это была не Гортензия! Гортензию я уволил! Мне обрыдла Гортензия! Я эту Гортензию изучил вдоль и поперек!
Бродяжка. А кто же тогда?
Борис. Преемница Гортензии... Хи Джин... Кореянка... Я лично ее отобрал... После долгого собеседования...
Бродяжка. Ну ты и сволочь.

Борис. Она так закидывала ножку на ножку... Я ей сказал: “По-моему, вы отлично справитесь с этой работой...” Ладно, ты права, я сволочь, но пойми и меня, тебе я могу это рассказать, ты мне как-никак близкий друг, хоть и жена...

Бродяжка. Это как сказать...

Борис. Да-да, ты мне друг! Я вижу дружбу в твоих преданных глазах... Если б ты знала, какое это зрелище, когда она раздевается...

Бродяжка. Кто? Хи Джин?

Борис. Да! Кореянка!.. Ах!.. Если б ты знала, в каком я был состоянии, когда выбрался из постели! Выжатая тряпка, старина! Коленки подгибались! Потому я и поскользнулся на мыле...

Бродяжка (*чуть не плача*). Да плевать мне на мыло!

Борис. Я мог очень сильно удариться! Представь, разбил бы затылок о край ванны! И кранты! Слава Богу, она сделала мне массаж... (*Направляется к выходу.*) Кореянки отлично делают массаж...

Бродяжка (*идет за ним*). А ты куда это собрался?

Борис. Пойду обратно к Хи Джин... У нее маленькая квартирка на Монмартре. Она мне сказала: “Приходи ко мне, побудь несколько дней... Не понравится — уйдешь... Понравится — останешься...” Согласись, попробовать стоит...

Бродяжка (*внезапно властно*). Я же тебе сказала: не смей от меня уходить.

Борис. Да, верно, помню и готов просить прощения... Но, знаешь, в жизни мы не всегда делаем то, что хотим... Иногда нами повелевают некие силы... непреодолимые... (*Уходит в глубину сцены.*)

Бродяжка (*жалобно*). Борис!

Он оборачивается. В нем еще осталось что-то человеческое.

Борис. Да...

Бродяжка. Я могу тебя кое о чем попросить?

Борис. О чем?

Бродяжка. Я хочу, чтобы ты вернулся...

Борис. Куда это?

Бродяжка. Сюда. В наш дом. Ко мне. Чтобы мы были хоть немного счастливы...

Борис. Да не получается у нас счастья, ты же знаешь!

Бродяжка. У меня иногда получается... Бывает, я счастлива... Видеть тебя, чувствовать тебя, хоть ты ко мне и не

прикасаешься и все время думаешь о другой... Я хотя бы есть в твоей жизни... Большего я не прошу... Только чтобы это продолжалось...

Борис. Это будет трудно, вот все, что я могу тебе сказать... Вообще-то я всегда возвращаюсь, но теперь... положа руку на сердце, ничего не обещаю, это было бы непорядочно с моей стороны, женщине, с которой прожил двадцать лет, говорят правду... А правда в том, и ты это знаешь, что я не вернусь! (*Уходит торопливо, будто опаздывает.*)

Бродяжка. Борис!

Падает на колени на ковер. Рыдает. Всякий стыд забыт. Ползет на четвереньках к холодному свету "улицы", где Дама похрапывает под старым грязным пальто. На ковре стоит бутылка дешевого красного вина.

Вы не могли бы вернуть мне мою нищету?.. Мне что-то нехорошо в вашем уюте... И потом, суши начинают попахивать...

Дама. Нет уж, детка, это было бы слишком просто! Ишь ты, поменялись местами вот так, за здорово живешь, потом пожалели, захотели вернуться — со мной этот номер не пройдет! Я здесь, и я остаюсь! И вдобавок очень довольна!.. Как посмотрю на вашу дерьмовую жизнь... Честно, я вам не завидую... (*Берет бутылку.*) Хотите глоточек?

Бродяжка (*устремляется к бутылке*). С удовольствием! Спасибо!

Врезается в стекло. Нос разбит. Она немного оглушена. Сползает на пол.

Дама (*основательно приложившись к бутылке*). Нет, кроме шуток!.. (*Она уже опьянела.*) С каких это пор дамочка, у которой задница затянута в шелка, хочет поменяться местами с бездомной, которая подтирается газетами, задница-то у нее вся черная от типографской краски, на ней можно новости читать — не за весь год новости, потому что по воскресеньям я по случаю выходного хожу в муниципальный душ, он бесплатный, — нет, новости за неделю, у меня друзья есть, что приходят читать мою задницу, перед тем как играть на ипподроме, я же подтираюсь газеткой "Париж-бега" — ну, понятное дело, надо встать задницей к зеркалу, чтобы они могли прочесть, на заднице-то все отпечатывается наоборот, как на промокашке, только промокашка мягкая, а моя зад-

ница задубела, задубела от холода, задубела от бесчеловечности людей, ну да, а зеркало-то, не так много зеркал в распоряжении бездомных, в уличных нужниках тесно, есть еще уборные при автостоянках, только там высоко, надо взгромоздиться с ногами на раковину... (*Снова прикладывается к бутылке.*) А ничего бормотушка... Сюда бы еще кусочек сыру... Пить без закуски — это не мое... Достану-ка козявку из носа... Эй! Дамочка! Тут у тебя под дверью бродяжка ест свои козявки! Хочешь одну?.. Не живите окнами на улицу, дамочка, живите окнами во двор, дворы-то ковром не застелили, во всяком случае, пока... Тьфу, придурки... (*Опять прикладывается к бутылке.*)

Бродяжка (*взволнованно*). Хотите воспользоваться моей ванной?

Дама. На кой мне?

Бродяжка. Ну не знаю... Помыться...

Дама. Пффф...

Бродяжка. Вам даже не хочется?

Дама. Пффф...

Бродяжка. Да, я вас понимаю, это, наверно, ужасно...

Дама. Ужасно то, что ко всему привыкаешь... Жизнь такая...

Бродяжка. Если это можно назвать жизнью!

Дама. Какая-никакая, а жизнь...

Бродяжка. Да... Это верно...

Пауза. Очень долгая.

Дама. Надо все-таки осторожней...

Бродяжка. Осторожней с чем?

Дама. Вот тут-то обычно люди начинают скучать.

Бродяжка. Долго скучать не придется.

Дама (*возбужденно*). Да ну?

Бродяжка. Вот и Небесный Клошар.

Дама. Он здесь?

Бродяжка. Он приближается.

Снова пауза. В тишине за спиной Дамы бесшумно подходит отвратительный Клошар.
Почему Клошар отвратителен?
Потому что он красив.
Стар, но красив.
Возможно, слеп.

Знаете, что я вам посоветую?

Дама. Нет...

Бродяжка. Вдохните поглубже.
Дама. Зачем?
Бродяжка. Вы сейчас столкнетесь с суровыми законами улицы.
Дама. Женщина всегда на улице. Или на витрине. Иначе она состарится в одиночестве. Так клиента не подцепишь. Высушенный абрикос. Надо время от времени выйти на панель. Повертеть задом. Себя показать. (*Потом, вдруг струхнув.*) Когда надо глубоко вдохнуть, сейчас?
Бродяжка. Вдыхай, когда хочешь.
Дама. Меня что-то трясет... Наверно, от холода...
Бродяжка. Клошар у тебя за спиной.
Дама. Я его чувствую всем моим существом.
Бродяжка. Не оборачивайся сразу.
Дама. Почему?
Бродяжка. Ослепнешь.
Дама. О Боже... (*Она крайне взволнована. Ей вдруг становится жарко. Она снимает старое пальто Бродяжки.*) Не знаю, что со мной, теперь мне жарко...
Бродяжка. Это холодом обжигает.
Клошар. Я Небесный Клошар.

Дама похлопывает себя по ляжкам, ей горячо. Потом ее руки поднимаются в ночной синеве, чтобы ощупать Небесного Клошара. В районе ширинки, разумеется.

Дама. Как мне тебя звать?
Клошар. Пусть будет Борис.
Дама. Красивое имя — Борис...
Бродяжка (*кидается на стекло*). Я запрещаю тебе зваться Борисом!

Снова врезается в стекло, на этот раз сильнее: бедняжка лежит, уткнувшись носом в ковер, содрогаясь в спазмах.

Клошар. А эта еще откуда взялась?
Дама. Да это чокнутая, орет тут все время, у нее от истории с ковром чердак поехал...

Бродяжка поднимается. Отступает тихонько, как кобра, не сводя глаз с двух своих будущих жертв. Она отходит на максимальное расстояние — так далеко, что исчезает со сцены.
Только тут Клошар и Дама понимают масштаб грядущей катастрофы. Они с криком отскакивают.

Клошар. Нет, Мадлен, не надо!
Дама. Не надо, мадам! Это опасно!

Слишком поздно. Бродяжка уже разбежалась. Вот она вылетает, как снаряд. Пробивает стекло головой (оглушительный звон) и растягивается у ног пары. Тут же встает, держась за нос, чтобы остановить кровь, но делает только хуже, и вот она отпускает нос, ей уже все равно.

Бродяжка. Вот! Готово дело! Вы этого хотели? Теперь у меня из носа льет! Посмотрите на ваш ковер! Посмотрите, что я с ним сделала! Вот вам! (*Трясет головой, чтобы текло сильнее.*) Я испортила вам ковер! Этого вы никогда не отстираете! Славная кровь, бродяжья кровь запятнала ваш шерстяной ковер! А он вообще-то шерстяной, ваш ковер? А?

Дама. Понятия не имею, и мне плевать! Это не мой ковер!

Бродяжка (*оттаскивая от нее Клошара*). А он не ваш Борис! Ясно? Он мой!.. Нет, кроме шуток! Думаете, все Борисы будут ваши?.. Вы тут уже пытались мне одного подсунуть, он как увидал мою рожу, сразу вызвал охрану!.. А этот — мой! И моим останется! У меня только одно в жизни счастье — которое он мне дает! Ночью! Прямо на тротуаре! Правда, ковер немного согревает, надо признать...

Дама. А! Наконец-то!

Бродяжка. Признаю! Признаю! Ладно! Ковер согревает немного. Ладно. Согласна... Но, позвольте, все-таки гораздо больше согревает тяжесть мужчины! Тяжесть мужчины на женщине! Его дыхание возле уха! Нежные слова, которые он шепчет! Я так люблю нежные слова... Особенно непристойные...

Клошар. Я никогда не говорю непристойностей!

Бродяжка. Да ну?

Клошар. Никогда.

Бродяжка. А “Пополь рад, что заехал в гараж” — это, по-твоему, изысканно?

Дама. Особенно слово “гараж” оскорбительно...

Клошар. Вы находите меня вульгарным?

Дама. Вы почти животное... Что, впрочем, само по себе для женщины не совсем, как бы, я хочу сказать...

Клошар. Предосудительно?

Дама. Какие вы слова знаете...

Клошар. Я знаю уйму слов. “Войлок”, например, я знаю слово “войлок”.

Дама. А, да... “Войлок”, хорошо...

Клошар. Вы знаете слово “войлок”?

Дама. Это валяный материал, который подкладывают под ковер, чтобы сделать его мягче, комфортнее. Это хоро-

шо для изоляции, я имею в виду звукоизоляцию. И потом, для детей, они же любят играть на полу.

Клошар. А для мужика, чтоб вставлять, вы его рекомендуете?

Дама. Что?

Клошар. Войлок.

Пауза; напряженное молчание, Дама ошеломлена... и тон реплики постепенно поднимается до крика.

Дама. Вы что, хотите, чтобы между тротуаром и ковром вам положили еще войлок, чтобы клошарам было мягче трахать своих шлюх?

Снова пауза. Никто не двигается.

Клошар. Хотите посмотреть на мои колени?

Дама. Нет! Только не это!

Клошар. А я их вам все-таки покажу! (*Одним движением спускает штаны.*) Вот мои колени.

Дама (*наклоняется, смотрит с озабоченным видом*). Они все разбиты!

Бродяжка. А у меня-то хорошо еще, что большой зад, иначе бы копчику кранты!

Дама. У вас вовсе не большой зад...

Бродяжка. Нет! У меня большой зад!.. Но я не шлюха!

Дама. Никто и не говорил, что вы шлюха!

Бродяжка. Нет, говорили! Вы! Вот вам за это! (*Дает ей оплеуху.*)

Дама (*после минутного ступора*). Вы дали мне оплеуху?

Бродяжка. Так точно.

Дама. Но за что?

Бродяжка. За то.

Клошар (*натягивая штаны*). Ты все-таки немножечко шлюха, признай это...

Бродяжка. Признаю.

Она как будто согласна.
Но нет. Не согласна. Вот она кидается на Даму. Это бомба замедленного действия.

Я денег не беру! Я так отдаюсь! Только ради кайфа!

Дама. Никогда не слышала, чтобы вы кричали от счастья.

Бродяжка. Мне рука зажимает рот!

Дама. Чья рука?

Пауза. Бродяжка вместо ответа указывает пальцем на небо. Все смотрят в небо. Именно этот момент выбирает Контролер, чтобы потихоньку подкрасться к ним.

Контролер. Есть у кого-нибудь жалобы?

Клошар. На какой предмет?

Контролер. Про предмет — это уж я не знаю. Знаю только, что, как это ни удивительно, я поверить не мог, но люди поручились, я говорю "люди", имея в виду людей, таких людей, которым можно доверять, которых или знаешь лично, или знаешь кого-то, кто мог сам убедиться в серьезности их...

Дама. И что же говорят эти люди?

Контролер. Говорят, есть такие, что жалуются...

Дама. На что?

Контролер. Жалуются.

Клошар. У нас все есть! Есть жизнь, есть бормотушка, есть свобода передвижений, чего еще желать?

Контролер. И ковер!

Дама. Что — ковер?

Контролер. Вы удовлетворены ковром? (*Даме.*) Я не вас спрашиваю, и вы отлично знаете почему. Вы знаете почему или вам напомнить?

Дама. Я отлично знаю почему.

Контролер. Вы хотите, чтобы я объяснил вам при всех, что единственное, что вам полагается делать, когда говорят о ковре, — помалкивать?

Дама. Умоляю, поговорим о чем-нибудь другом, мне и так хреново...

Контролер. Что вас мучает?

Дама. Позарез нужен мужчина.

Контролер. Вы же отказали мне в суши. Не надо было отказывать.

Дама. Поверьте, я сожалею.

Контролер. И где они теперь, ваши суши?

Дама (*ищет вокруг себя*). Не знаю! Улетели!

Контролер. На ковер?

Дама. Да не знаю я! Ничего я больше не знаю!

Контролер. Найдите живо эти суши, пока не протухли! Не хватало еще, чтобы ковер вонял!

Клошар. Слушайте, старина, достали уже с вашим ковром! Мы тут беседуем, спокойно, по-соседски, а вы вяжетесь!

Контролер. Говорите со мной вежливо.

Клошар. Извините, меня иногда заносит...

Контролер. Я сейчас неуравновешен.

Клошар. Что вас беспокоит?

Контролер (*выходит на авансцену, теперь он – центральный персонаж*). Я только что зарегистрировал жалобу.

Клошар (*невольно следуя за ним*). От кого?

Контролер. От одной женщины. Или того, что от нее осталось. Она молодая. Ей сорок. Выглядит на шестьдесят. Живой скелет. Кожа да кости. И большие глаза, оставшиеся от девушки, которой она была когда-то. Слышен скрип качелей. О ее руках я и говорить не буду. Она постоянно курит. Все, что собирает нищенством в картонную коробку на тротуаре, тратит на сигареты. Она сидит перед табачным киоском. Далеко ходить не надо. Когда она не может подняться, хозяин сам приносит ей пачку. Кладет ее в коробку и берет деньги. Государство на куреве знаете сколько наваривает? Надо еще заработать пять евро, чтобы купить пачку сигарет. Она выкуривает три в день. Вдобавок, бедняжка, местечко выбрала тихое. Может быть, у нее нет сил пойти куда-нибудь подальше. Может быть, она хотела сесть в поезд, это прямо напротив вокзала. Люди идут на работу утром и возвращаются вечером. Всегда одни и те же. Дважды они не подают. Маленькое предместье. Коттеджи. Я там живу.

Дама. А ковер там есть?

Контролер. Есть кусочек, на нем она и сидит. Это я поспособствовал. У меня есть приятель, укладчик. Я принял меры. Это сделали ночью. Одно время она была довольна. Каждый раз, когда я проходил, говорила мне: “Рай, да и только”. Однажды вечером, когда я возвращался поздно, она задрала юбки. Табачный киоск был закрыт. Она сказала мне: “Я тебя ждала”. Я ответил: “Нет, спасибо”. Хотя она была ничего себе. Она сказала: “Не страшно, я дам следующему”. А я ей: “Следующего не будет. Я последний пассажир. Я бежал за поездом”. Было лето, погода стояла хорошая. А теперь зима, и ей холодно. Она вся в струпьях. Не знает, как и сесть. Кашляет, и у нее все болит. Я не знаю, что с ней станется. Да и со мной тоже. Она хочет кусочек войлока. “У твоего друга укладчика найдется кусочек войлока?”

Клошар. Да ты влюблен в эту женщину, это ясно по тому, как ты о ней говоришь.

Контролер. Тереза, так ее зовут. Она чешка. Это правда, я думаю о ней.

Клошар. Она, небось, весит немного...

Контролер. О да...

Клошар. Так почему же ты не возьмешь ее на руки и не отнесешь к себе, позаботился бы о ней немного? У тебя

есть работа, есть дом, ты-то не живешь на улице! И запущенный сад может зацвести!

Контролер. Беда в том, что у меня в доме уже есть женщина.

Клошар. Да ну? Кто это?

Контролер. Дениза. Моя жена. Толстуха Дениза. Она вечно дуется. Как-то на днях я ей сказал: “Тебе не хочется переночевать где-нибудь вдвоем, хоть раз, а то мы все на нашей старой кровати, которая давно накренилась?.. В твою сторону... Прямо хоть крючья вбивай, чтобы не своротить тебя на пол... Мне так хочется полежать на ровном...” Она посмотрела на меня, как смотрят на проходящий поезд... “Что значит ‘где-нибудь’? Ты хочешь сказать, в отеле? А в каком отеле? Ты забронировал номер? Я куда попало не пойду!” Я ей: “Да не кипятись ты, не кипятись! Я не думал об отеле, я думал — на улице. Найдем себе кусочек ковра, возьмем бутылочку вина и устроимся на тротуаре. Может, это вернет тебе улыбку... Твоя улыбка улетела куда-то лет двадцать назад, но, может, она зацепилась за уличный фонарь... И, может, она вернется, если мы ляжем под звездным небом в ясный вечерок... Улыбка ведь иногда возвращается... Возвращается на лицо, чтобы стереть разочарования, грязь, рутину...” Мне казалось, я говорю с каменной глыбой... “Уйди, — ответила она, едва шевеля губами. — Уйди, не то я встану и вышвырну тебя за дверь пинком под зад...” Ну, я и ушел... и пошел к Терезе...

Бродяжка. К чешке?

Контролер. Да. Ее трахал другой. Мужик с мерзкой рожей. А я-то так ее любил. Был готов все разделить с ней. Нищету, болезнь, я бы лечил ее язвы...

Клошар. Ничего не потеряно... Ты еще можешь к ней вернуться... Мало ли, с кем-то перепихнулась, это не повод, чтобы вычеркнуть ее из своей жизни...

Контролер. Боюсь, что повод...

Клошар. Да почему? Какая же это тогда любовь?

Контролер. Видел бы ты, как она кончала... Раз за разом... И после каждого оргазма требовала: “Еще!” Тот мужик больше не мог... Он повернул голову ко мне и спросил, нет ли у меня войлока... “Какого войлока?” — спросил я. Он был зол, как черт. “Она мне сказала, мол, я знаю одного чувака, который принесет нам кусок войлока!” — “Да, а я и забыл!” — “Да, а меня уже достало!” И давай выпрастываться: “Нет, это не ковер они стелют в предместьях, это кокосовая скорлупа! Посмотри на мои колени — они

на котлеты похожи! Я смотрел, как он пытается убрать свое хозяйство в штаны, а оно никак не влезает. Огромный у него причиндал. Никогда такого не видел.

Дама. У всех уличных огромные штуки, это известно. От холода твердеют, от холода и алкоголя. Ну, алкоголь до определенной степени, конечно, а то после уже тянет блевать, а блевотина — благодарю покорно, у меня это отбивает охоту, я люблю сама выбирать себе шарфики... Или еще на корабле, на корабле — другое дело.

Клошар. Все зависит от моряка.

Дама. У многих моряков тоже классные члены!

Клошар. Бесспорно! Бесспорно!

Дама. Как бы то ни было, на корабле почти все блюют, так что валяйте! На каждом шагу лужи, наступишь в рагу, перемажешься, или, того хуже, в яичницу с помидорами! Она убойно воняет, если перемешать с пастисом! Ну да ладно, если мужик хорошо сложен, а чувства искренни, можно и забыть о запахах, а лучше всего, конечно, перепихнуться с капитаном, вот что я рекомендую! Капитаны не блюют!

Клошар. Знавал я одного капитана, он так фонтанировал, ого-го!

Дама. Это было в штормовом океане?

Клошар. Нет, “У Жерара”, это бистро в Ле Трепоре. Никогда не видал, чтобы бистро так штормило! Всем досталось! Мидии! Жареная картошка! Потоки блевотины! Капитан поливал свой хрен!

Пауза. Бродяжка собирает свои манатки.

Бродяжка. Покорнейше прошу меня простить, но целый вечер слушать о блевотине, когда меня и так тошнит, боюсь, я не могу...

Дама. Вы, наверно, съели что-нибудь...

Бродяжка. Я беременна!

Клошар. Откуда ты знаешь?

Бродяжка. У меня нет месячных!

Дама. Давно?

Бродяжка. Пять лет!

Клошар. Кто это тебе заделал?

Бродяжка. Скорее всего, пес...

Дама. Приблудный пес?

Бродяжка. Обыкновенный пес. С яйцами и причиндалом. Они тут целый день бродят надо мной, когда мне на беду случится вздремнуть. На днях один на меня помочил-

ся. Понятное дело, им нельзя справлять нужду на ковер, вот они и мочатся на бездомных. Видят кучу тряпья, чуют вонь и думают, что так и надо...

Дама. Псы совсем с цепи сорвались в последнее время...

Пауза. Все устали, всем холодно, все подавлены.
Контролер встает.

Контролер. Ладно, я извиняюсь, меня ждет женщина, а если женщина ждет, это, надо понимать, важнее каких-то псов.

Уходит.

Дама. Передайте ей от меня привет!
Контролер (*оборачивается*). Кому?
Дама. Этой женщине, которая вас ждет.
Контролер. Я думаю, будет поздновато. У меня уже назначена встреча со столяром. Скроят ей последнее бальное платьице. Не видать ей больше неба в алмазах!
Дама. А если это толстуха?
Бродяжка. Какая еще толстуха?.. Вы что-то имеете против толстух?
Дама. Да я не о вас! Думаете, все только вокруг вас и вертится? Только потому, что вы живете за чертой бедности? Все мы из одного мяса!
Бродяжка. Холодное мясо! Холодное! И без майонеза, если говорить обо мне!
Контролер. Какую толстуху вы имели в виду?
Дама. Я имела в виду Денизу! Толстуху Денизу! Это, может быть, она умерла! Задавленная собственным весом!

Все смеются, кроме Контролера, который, похоже, шутку не оценил. Он возвращается с таким лицом, что пропадает всякое желание смеяться. Открывает свой портфель и достает из него папку.

Контролер (*встав перед Дамой*). Вы сделали противоклещевую обработку?
Дама. Естественно. Первым делом. О чем я никогда не забываю, так это о противоклещевой обработке!
Контролер. Внутри и снаружи?
Дама. Внутри и снаружи.
Контролер (*поворачивается к Бродяжке*). Мадам может это подтвердить?
Бродяжка. Подтверждаю.
Контролер. Что вы подтверждаете?

Бродяжка. Что здесь нет клещей! Когда я сижу, между ног не чешется!

Контролер. Между ног всегда чешется.

Бродяжка (*с отвращением*). Да в каком же мире я живу? В каком мире я живу? Где моя женственность? Где она, та девушка, которой я была?

Контролер. Может, вам еще и цветочки подарить?

Дама. И никто не возмутится! Никто не возмутится!

Контролер. Я возмущаюсь!

Бродяжка. Чему ты возмущаешься?

Контролер. Я возмущаюсь!

Дама. Кто-то что-то сказал?

Пауза. Все смотрят на Контролера, который мечется взад-вперед, словно обезумев.

Контролер. Наступает такая минута, когда мужчина не может больше выносить свою жизнь!

Бродяжка. А женщина — она, думаешь, выносит свою жизнь?

Дама. Дерьмовая жизнь, точно!

Клошар. Женщины, они всегда жалуются...

Контролер. На что вы жалуетесь? А? Вы хоть сами знаете, на что жалуетесь? Я вас спрашиваю! Нет у вас ответа на мой вопрос. По глазам вижу, что нет ответа. А у меня есть ответ. Мой ответ. Мой мужской ответ. Я пойду домой. Я найду мертвую женщину, и это будет Тереза. Скорее всего, это будет Тереза. Но в одном будьте уверены, прошу вас, будьте уверены в одном: если вдруг это будет другая, я имею в виду толстуху Денизу, и каковы бы ни были цены на дерево, я провожу ее в последний путь с таким же достоинством, любовью и скорбью, как если бы она была стройной, молодой и красивой! Я провожу ее, как королеву!

Клошар (*берет его под локоть и ведет к выходу*). Ну ладно, все, теперь можешь сваливать, твой выход удался.

Контролер (*упирается*). Но я не выхожу!

Клошар. А что же ты делаешь?

Контролер (*возвращается*). Я остаюсь!

Клошар. Ну уж нет, ты нас уже достал до печенок, только настроение портишь, а оно и так хуже некуда, да под ногами путаешься, а ноги мерзнут!

Контролер. Я остаюсь! Насовсем! Я привязался к вам! Вы моя новая семья! Я расскажу вам про мою жизнь! Мне надо с кем-то поделиться! Это длинная история!

Бродяжка. Заткнись, я буду говорить. И вообще, видишь, у меня лучшее место. (*Садится лицом к публике.*) Я в центре. Уж поверь мне, я скажу. Мне много есть чего сказать. Я такое скажу, такое... Такое, что даже не знаю, с какого конца начать.

Дама (*садится рядом с ней*). Раньше я жила с рохлей.

Бродяжка. Раньше чего?

Дама. Когда я была молодой. В начале моей жизни. Я жила с рохлей.

Бродяжка. В каком смысле — с рохлей?

Дама. Этого мужика топтали все, кому не лень. Он работал по восемь часов в день на паршивом заводишке. Когда он приходил с работы, ему требовалось три раза принять душ и час просидеть в тишине, чтобы прийти в себя. Развалина. Человеческие останки. "Отлично поработали сегодня, — говорил он мне, — взяли хороший темп, выдали производительность, то-то хозяева будут довольны..." — "Нет, ну какой же ты идиот! — сказала я ему однажды. — Ты же ничего не понял!" — "Чего это я не понял?" — "Жизни! Истинных отношений! Как устроен мир!" — "А как устроен мир?" И глядит на меня своим овечьим взглядом... "Посмотри на зад своей жены", — говорю я ему. "Смотрю", — отвечает он. "Ты хорошо его видишь?" — "Да! Хорошо вижу!" — "Ну и как тебе мой зад?" — "Хорош! Он хорош!" — "Так. А теперь посмотри на свои руки. Какие у тебя руки?" — "Заскорузлые". — "И ты думаешь, что такой вот зад создан, чтобы его ласкали такими вот руками? Ты мне на днях засунул палец, так я подумала, это штырь!" — "Что же ты предлагаешь?" — спрашивает он. "Ты сиди дома, а я пойду работать". — "Куда это?" — "На улицу. Туда, где делаются серьезные дела". — "Иди, — говорит он. — Надеюсь, ты не будешь простаивать, не то отделаю тебя, как бог черепаху!" Куда только девался мой рохля! "Долго же ты искал решение всех наших проблем! Я уж и не верила, надо же! Нет, вы посмотрите на эту дуру, — говорила я себе, — с ее-то задом позволять своему мужику уродовать себе руки! Руки милорда! Которые надо бы маникюрить дважды в день!" Он стал крутым! Я себя не помнила от счастья!

Контролер. Можно спросить, сколько вам лет?

Бродяжка. Щекотливый вопрос.

Контролер. Вы не обязаны отвечать.

Клошар. Что, уж и поинтересоваться нельзя? Я ее не вижу, какая она?

Бродяжка. Неплохо сохранилась.

Дама. Большое спасибо, мадам, это редкость между нами, женщинами.

Бродяжка. Вы позволите все-таки вернуться к главной теме?

Дама. А какая у нас главная тема?

Контролер. Ковер.

Дама. Вернемся к ковру. Это так важно — ковер.

Контролер. Очень важно.

Бродяжка. А я родилась на ковре.

Дама. Да ну?

Бродяжка. Я родилась на ковре, потому что я родилась в зажиточной семье, где были ковры. Шерстяные ковры.

Именно в этот момент на несчастных начинает сыпать снег.

Это был очень мягкий ковер для маленькой девочки, для меня... я ползала по нему, играя... Я тогда была миленькая, девочкой-то, я не всегда походила на ходячий сыр, и все было впереди, и у меня тогда был папа, он брал меня на руки, и ласкал, и называл своим сокровищем, потом-то все пошло наперекосяк, но было золотое время, когда я была счастлива, когда я чувствовала себя дома, в семье, в тепле и холе... И потом, этот ковер... этот бархат под моими коленками... (*Голос ее срывается.*) Если кто-то хочет сказать вместо меня... Я готова помалкивать... Даже совсем замолчать согласна...

Контролер. А к чему говорить? Думаешь, от этого лучше, а на самом деле только хуже... Слеза прошибает...

Бродяжка. Все-таки иногда поговорить — это как поделиться человеческим теплом...

Контролер (*смотрит на Клошара*). Посмотри на него, он молчит. Ничего не говорит. Ему хорошо.

Клошар. У меня встал. Так затвердел, что я весь как каменный. Я жду, пусть меня очистят, как очищают фрукт. Пусть снимут шелуху. Снимут слой за слоем все страдания. Чтобы добраться до нерва. До нерва, что идет в мозг и дает этот безумный взгляд. Пожалейте повешенного.

Все вздрагивают.

Дама. Может быть, пойдемте ко мне? Все-таки будет уютнее...

Бродяжка. Да, я бы с удовольствием, отличная мысль...

Контролер. Большое спасибо, мадам...
Бродяжка. А где ваш дом?
Дама (*чуть растерянно*). Ну, кажется, вон там...

Вся группка на ощупь бредет к зоне, освещенной желтым, где, кажется, теплее... и, главное, нет снега... но желтый свет, когда они к нему приближаются, как будто убегает от них, удаляется, и они остаются, точно жертвы кораблекрушения, дрожащие, кашляющие, Клошар выглядит как слепой, Дама — как жалкая уличная девка...

У меня отняли мой дом...
Бродяжка. Да никто его не отнимал! Это у вас чердак поехал!
Контролер. Надо просто идти по ковру!
Дама. Ковер везде!

Они идут в другую сторону... но свет снова убегает, свет смеется над ними...
Крик отчаяния.

Борис! (*Оказывается в объятиях Клошара.*)
Клошар. Я здесь, любовь моя...
Дама (*взволнованно*). Но вы не мой Борис!
Клошар(*сжимает ее, выгибает, понемногу притягивает к себе*).
Дай мне твой язык и твою слюну. Прими мое рыдание.
Дама. Ох, ну ладно, чуть-чуть... только попробовать на вкус...
(*Целует его взасос. Поцелуй затягивается.*)
Бродяжка. Боюсь, мы тут заскучаем, если это надолго...
Контролер (*похотливо подбирается к ней*). Мы бы тоже могли...
Бродяжка. Мне сейчас не до траха.
Контролер. А до чего?
Бродяжка. До горя. До разбитой жизни. Это не самая аппетитная приправа.

Садится на пол, в точности на то же место, что и раньше, в центре, но теперь это уже не улица; конус золотистого света падает на нее, точно клоунский колпак, и обрисовывает вокруг нее на ковре теплый дружелюбный круг.

Контролер (*стоит снаружи, на холоде, на границе желтого света, не решаясь пересечь ее*). Я хочу к тебе прижаться. Мне холодно. Мне нужно немного тепла.
Бродяжка. Прижмись, только не приставай. К тому же от меня воняет, уж не знаю, как ты выдержишь.

Контролер входит в конус света, внутри которого не идет снег. Садится рядом с Бродяжкой, прижимается к ней, уткнувшись носом под мышку, как обезьянка.

Контролер. Мне нравится твой запах. Ясно, что таких духов в магазине не купишь, они сделаны специально для тебя.

Бродяжка. Это не духи, это туалетная вода. Духи ниже. Там нюхать не советую, глаза на лоб полезут.

В это время Дама, которая ушла в другую сторону, замечает свет своего дома.

Дама. Он здесь! Он здесь!

Клошар. Кто?

Дама (*увлекает Клошара к теплому свету*). Мой дом!

Контролер (*прижимаясь все теснее*). Черт. Сейчас придут нам мешать.

Бродяжка. Брось! Они даже не заметят нашего присутствия! Мы как крысы!

Дама входит в свет своего дома. От нее веет чувственностью. Капризным жестом протягивает руку назад.

Дама. Входи, любовь моя, входи.

Клошар не входит. Он остается по другую сторону, под голубым снегом.

Клошар. Я не посмею войти.

Дама. Да нет же, посмеешь! Входи, входи!

Втаскивает его внутрь. Он восхищен.

Клошар. Боже мой, какая красота...

Дама. Это буржуазный интерьер.

Клошар. Ты живешь здесь одна?

Дама. Был муж, но свалил. К кореянке.

Клошар. Какой негодяй!

Дама. Я очень несчастна, но ты меня утешишь. Еще как утешишь. Устраивайся поудобнее.

Она усаживает его на ковер и садится напротив, в бесстыдной позе, их ноги уже переплетаются. Они сидят точно за другой парой, Бродяжкой и Контролером, которым не нравится это новое соседство. Надо сказать, что дом тесен и имеет тенденцию сужаться, как всегда в деликатных ситуациях. Приходится все теснее прижиматься друг к другу, первые служат ширмой вторым, которые явно продвигаются к своей общей цели — обоюдному удовольствию.

Хотите посмотреть ляжки?

Клошар. Конечно, я хочу посмотреть ляжки!

Дама (*приподнимает платье*). Полюбуйтесь: ляжки. Видите подвязки?

Клошар. Я не могу их видеть, я слепой!

Дама. Сделайте усилие! Черные подвязки!

Клошар. Да, вижу, они красивые!

Дама. Так вы зрячий или незрячий?

Клошар. Сам не пойму: то я вижу, то не вижу...

Дама. Пользуйтесь пальцами! На кончиках пальцев тоже глаза!

Клошар. Да, но мои пальцы робеют!

Дама. Вы часом не сдрейфили?

Клошар. Я дезориентирован!

Дама. Чем дезориентированы? С какой стати дезориентированы? Если женщина раздвигает ноги, значит, она раздвигает ноги! Или объясните мне, что не так!

Клошар. Я вижу образы, эти образы мне нравятся, но беда в том, что я не знаю, истинные это образы или виртуальные!

Дама. Никакого виртуала, это кружева! Треугольник кружев! Который обозначает некую зону! Вы видите зону?

Клошар. Ни один волосок не выглядывает!

Дама. Это буржуазный интерьер!

Клошар. Но я никогда не посмею войти!

Дама. Да нет же, посмеете! Это называется боди. Держится на трех кнопках. Я расстегиваю кнопки. Хоп! Слышите, как отлетают кнопки?

Клошар. Еще как слышу!

Дама. Слушайте, как моя стыдливость убегает со всех ног!

Клошар (*хихикая*). Мерзавка, бросила вас!

Дама. Вы сделаете мне больно?

Клошар. Посмотрим. Все может быть. А почему вы перешли на “вы”?

Дама. В сексе я на “вы”. Я не обращаюсь на “ты” к тому, что свято. Предъявите ваш член.

Клошар. Уже достал.

Дама. Пока я ничего не вижу. Распахните ваше пальто. Чтобы я оценила масштаб.

Клошар. Вы уверены в том, о чем меня просите?

Дама. Совершенно уверена.

Клошар. Уж тогда не кричите.

Дама. Я от радости закричу! От радости!

Клошар. Ни от радости, ни от ужаса! Я не желаю ничего слышать! Если я хоть что-то услышу, исчезну немедленно! Уйду в ночь!

Дама. А я последую за вами на край ночи, пока не забрезжит день, и не важно, где он забрезжит, под мостом, на свалке, где кишат крысы, лишь бы проснуться в ваших объятиях!

Контролер. Вы не можете помолчать? Имейте уважение к мужской стыдливости! Мужская стыдливость, елки-палки, существует! Черт побери! Мы же не лошади!

Дама. Молчу. Молчу.

Клошар. Я распахиваю пальто...

Эта операция занимает некоторое время из-за большого количества одежек и внутреннего пояса, к тому же замерзшие пальцы неловки... и вот все замирает...

Бродяжка. Ну что, что они там делают? Она созерцает?

Контролер (*оглядывается через плечо*). Она созерцает.

Дама. О Боже мой...

Бродяжка. Она хоть в обморок не хлопнется?

Контролер. Глаза слегка остекленели...

Бродяжка. Ох, нет, черт, не хватало только “скорой”!

Дама. Вы когда-нибудь жили в порту?

Клошар. Я жил в Тулоне.

Бродяжка. Почему она об этом спрашивает? Почему она об этом спрашивает?

Контролер. Да откуда мне знать, черт побери? Я не вмешиваюсь в чужие дела!

Дама (*подкрепляя слова делом*). Я усядусь на вас сверху. Вот так. Держитесь естественно. Весь город смотрит на нас. Вот. И двигаться не надо. Только не кончайте. Пусть просто ваша кровь бьется в унисон с моей кровью. О Боже мой, как хорошо...

Они в позе, которую называют “Последнее танго в Париже”, знаменитой и тысячи раз скопированной...

Клошар. Она кончает...

Контролер. Она дрожит как лист...

Бродяжка. Только не кричите!

Дама. И не собираюсь. Мы же не собаки. Проникновение — тайна. Скрытая под нашей одеждой. В наших сокровенных глубинах. Вы чудесно тверды. Спрячем наше счастье. Двое бедных скитальцев под снегом, вот кто мы, ослабшие, сокрушенные дрянным вином, или этим новым пивом, что производят теперь, пятнадцатиградусным, специально для нас, бездомных, чтобы нас скорее понесли ногами вперед. Притворимся же мертвыми,

доставим им это удовольствие, у нас-то есть свое, несказанное. Мы возносимся к небесам. Мы легки, как молитва ребенка. Потрясающе, до чего вы тверды. Я кончаю. Ночка будет дивная. Плюньте мне в рот. Я обожаю слово "коитус". Быть женщиной... в которую проникает мужчина... Не слушайте меня. Я сама не знаю, что говорю. Только не эякулируйте.

Клошар. Я никогда не эякулирую.

Дама. Я хочу твое семя, хочу почувствовать, как ты брызнешь, а потом, после, будешь дрожать, уткнувшись в мою шею, как ребенок, вы ведь все дети, когда вас настигает наслаждение и исходит ваша сила, ваша ярость, раз — и все, ничто, воришка на кармане, хозяйка, хозяйка, не говорите моей маме!

Клошар. Я полумертв. От холода и печали. Я потерял работу, давным-давно, и всех, кого любил, жену, детей, которым я больше ничего не мог дать. Все, что у меня осталось, — мой член, в нем последние капли жизни, и я не хочу их потерять. Вот почему я не эякулирую. Никогда.

Дама. О Боже мой, как я кончаю... как это глубоко...

Бродяжка. Пользуйся, красавица, мне-то повезло меньше, я не знала любви... Я хочу сказать, любви мужчины... Ну, мой отец, поначалу, не знаю, может, и почувствовал что-то, когда увидел меня в колыбельке... Но это не было большое чувство... Я бы сказала, скорее жалкая подачка... Как у этих ребят в правительстве, когда им случится озаботиться мировой нищетой... Постелем вам ковер... А надо бы вообще не родиться... лучше бы спустили в унитаз... (*Потом вдруг Контролеру, который тем временем прижался к ней еще теснее.*) Убери-ка руку из моей вагины, пожалуйста.

Контролер. Какую руку?

Бродяжка. Чья-то рука забралась в мою вагину.

Контролер. Ты называешь это вагиной?

Бродяжка. Это по-латыни.

Контролер. Мне больше нравится "киска". "Киска" куда красивее.

Бродяжка. Культурная пустыня — вот что убивает еще похуже холода... Ладно, слушай, прошу тебя по-хорошему: я учитываю, что эти за твоей спиной играют в Красавицу и Клошара, от этого может кровь прилить к одному месту, но предупреждаю, у меня нет кухни, зато есть кухонный нож (*и она действительно достает нож из складок своего пальто*), и, если ты не прекратишь контролировать у

меня между ног своими чиновничьими пальчиками, желтыми от никотина, я тебе выпущу кишки.

Дама. Ах, Боже мой, вот опять, опять я кончаю...

Бродяжка. Ну и кончай себе молча.

Контролер (*убрал руку и смотрит на свои пальцы*). Почему ты говоришь, что они желтые от никотина, мои пальчики?

Бродяжка. А разве нет?

Контролер. Да!

Бродяжка. Ну?

Контролер. Но я никогда не курил!

Дама (*изнемогая*). Так! Да! Аааах!

Бродяжка (*на грани срыва*). Я больше не могу! Не могу больше! Я не ревную, но я больше не могу! Держитесь же в рамках, черт возьми!

Контролер. Успокойся, милая, успокойся...

Бродяжка. Не лезь туда!

Контролер. Я и не лезу!

Бродяжка. Твоя рука опять подбирается!

Контролер. Моя рука не шелохнулась!

Бродяжка. Значит, ты об этом подумал!

Контролер. Да, правда, я об этом подумал.

Бродяжка. Видишь, как мы, женщины, чувствительны? (*И вдруг плачет.*) Боже мой, как подумаю, что я женщина... В каком я состоянии...

Клошар гладит ее по голове.

Клошар. Расскажи нам о твоем отце...

Дама (*Клошару*). Не отвлекайся. Сосредоточься.

Клошар. Но я сосредоточен!

Дама. У тебя опадает, я чувствую!

Клошар. Ничего не опадает, просто дышит! Член должен дышать! Как дерево! Дерево — оно твердое! Всегда твердое! А ведь оно дышит! Клонится от ветра! Дрожит на солнышке! Подставляет ветви всем на свете птицам! Маленьким, местным, которые каждый день тут как тут, и другим, тем, что летят издалека, дважды в год, в одну сторону, потом в другую, прилетают усталые, еле держатся на моих ветвях...

Контролер. Чем занимался твой отец?

Бродяжка. Как это — "чем занимался"? В каком смысле?

Контролер. Ну не знаю, кем работал, что вообще делал по жизни? Бабки зашибал?

Бродяжка. Он носил шляпы... От него хорошо пахло, лавандой, сейчас такой не найти... Я до сих пор чувствую за-

пах... Славный папин запах... Он так хорошо смешивался с табаком... Это очень важно для маленькой девочки, чтобы от папы хорошо пахло... Я-то знала, с самого начала, что он меня не хотел... Это мама захотела второго ребенка... У отца был Тибо, мой брат, которого он обожал, да и я его тоже обожала, ну вот, ему было достаточно... Тибо... А мама хотела девочку... Вот я и нарисовалась, чтобы порадовать... маму, понятное дело... Ну, отец тоже порадовался, немного, то есть, когда я родилась, он меня не лупил, нет, он скорее отлупил бы маму, не сразу, не в клинике, но очень скоро, когда влюбился в красотку-шведку, а та ему не дала, и он обозлился на весь свет... Как будто мама была виновата, ей-то он нравился, но это не значит, что должен был нравиться всем женщинам... Он был толстый, мой отец, не всякая полюбит толстого... Его преследовали неудачи... Ну и настроение соответственное... Он приходил злой как собака... Закрывался в своем кабинете... Выходил, только чтобы сказать: "Я есть хочу. Что ты приготовила на ужин? Опять будем дерьмо жрать?"

Клошар. Работал-то он кем? Ты нам так и не сказала...

Теплый свет исчез, нет больше никакого намека на дом. Только ночь и холод, и в уголке кучкой жмутся друг к другу, как выжившие после катастрофы, четыре фигуры, кажется, люди, шевелятся под тряпьем, и снег падает на них.

Бродяжка. Моя мама много плакала... Это с мамами часто бывает... Для меня было в порядке вещей, что мама плачет... Мой брат тоже плакал... Это было уже не совсем в порядке вещей... Он не хотел мне сказать почему... Говорил: "Ты еще маленькая, я тебе потом объясню". Я росла... Мой отец много ел... и я тоже много ела, я подражала ему... Я быстро набрала вес... увесистая девочка... Отцу было смешно... Мы обжирались, как коровы... А потом однажды мой брат, он-то был худой, поди знай почему, тоже жрал будь здоров, ну вот, он влюбился в одну девушку и решил жениться. И я в одночасье осталась совсем одна, толстая девочка, между мамой, которая плакала, и отцом, который сотрясал дом. До того дня, когда появилась кровь. Моя кровь. Мои первые месячные. В тот день, помню, мама так плакала, что я пошла в кабинет к отцу и швырнула ему в лицо телефон. Он и бровью не повел. Никогда не забуду, как он на меня тогда смотрел. Он был в халате, зеленом в клетку, с

длинной бородой, которую ему зачем-то велели отрастить на работе, его трубка упала на пол, а в пресловутых отцовских глазах я видела всю его ненависть, ненависть к женщинам, которых он не заполучил, и его любовь ко мне, любовь, в которой он наконец-то признался, но было поздно, я становилась женщиной и уже на всю жизнь возненавидела мужчин. Полгода спустя он встретил женщину, копию моей матери, которая ему не отказала, и свалил, забрав с собой картину, ценную, маленькое полотно Вольса, которое он спрятал под пальто. Потом я жила с матерью, горе с горем, две калеки, и единственной поддержкой был мой брат, ненадежной поддержкой, потому что у него тоже были проблемы, и сердечные, и денежные, и со здоровьем. Ковра нам стало не хватать. Ковра и любви. Никто не выжил, кроме меня, хоть я и вовсе не должна была родиться, а вот все еще живу. Вонючий свидетель моей жизни!

Контролер. Почему ты не хочешь сказать, чем занимался твой отец? А? Почему?

Бродяжка. Мне стыдно.

Контролер. Чего тебе стыдно? Стыдиться нечего! Не тебя одну, знаешь ли, бросил отец! Полным-полно девочек поломали себе жизнь! И похлеще твоего! Ну же! Рассказывай! Прекрати воображать, будто ты центр мироздания! Чем занимался твой отец? Рассказывай, не то я опять начну теребить твою мохнатку своими никотиновыми пальчиками!

Бродяжка (*отчаянный крик, все застывают*). Он был актером!

Долгая пауза.

Контролер. Киноактером или театральным?

Бродяжка. И то и другое! Он был великим актером!

Контролер. Известным?

Бродяжка. Больше я ничего не скажу! Я не хочу, чтобы люди услышали! И все равно он уже умер!

Снег больше не идет. Все залито лунным светом. В глубине мерцают огни города, а на их фоне, весь черный, стоит силуэт, это мужчина, очень жалкого вида, еще один нищий бродяга, босой, без штанов, в одних кальсонах и старом пиджаке с поднятым от холода воротником.

Бродяга. Эй! Эй вы, там! Про женщину не слыхали?

Дама. Женщина? Какая женщина? Здесь нет женщин! Здесь только твари!

Бродяга (*подходя*). Ее звали Розита!

Контролер. Черт, явился на нашу голову.

Бродяжка. Ничего, он ненадолго. У меня есть кухонный нож.

Бродяга (*подходит ближе, и в нем уже можно узнать Бориса, того самого Бориса, который хотел начать новую жизнь; выглядит он скверно*). Раньше здесь был дом. Это был мой дом.

Контролер. Все дома упразднены. Только что вышел новый закон. Всем быть на улице, на ковре. Нечего было уходить надолго.

Борис. Я был у кореянки.

Контролер. Ну и как? Хороша?

Борис. Посмотри, во что она меня превратила...

Дама. Ни дать ни взять, корейский салат, который пожевали и выплюнули.

Бродяжка. Девушка, верно, сказала себе: черт, съела кусок тухлятины, как бы не сблевать.

Борис (*хватает Бродяжку за шиворот и приподнимает*). Ты! Я тебя узнал, ты воняешь рыбой! Я запрещаю тебе говорить со мной в таком тоне! О черт, что это со мной?

Бродяжка. У тебя нож в брюхе. Нечего было вторгаться на мою территорию.

Контролер (*вскакивает*). Не трогайте нож! Подумайте о ковре!

Борис (*вынимает нож, брызжет кровь, много крови*). Искренне сожалею. Смерть — это грязно.

Дама (*она по-прежнему сидит верхом на Небесном Клошаре*). Этот умер, а у него еще стоит.

Бродяжка. Это часто бывает у покойников.

Борис (*Контролеру, который укладывает его на ковер*). Зачем ты меня укладываешь?

Контролер. Не умирать же тебе стоя!

Борис. Но я вообще не хочу умирать!

Контролер. Мало ли что не хочешь, придется... Когда бросаешься на нож, потом не удивляйся... Но это ничего, ничего... Ты не переживай... Вот увидишь, это быстро... У тебя дети есть?

Борис. Нет...

Контролер. Жена есть?

Борис. Да...

Контролер. Отлично. Никто по тебе не заплачет.

Бродяжка. Может, подойдешь, потрогаешь меня между ног?

Контролер. Я думал, тебе это не нравится!

Бродяжка. Не нравилось, а теперь хочется.
Контролер. Иду. (*Приканчивает умирающего.*) Осеню-ка ему лоб крестом. На всякий случай. Хлеба не просит.
Бродяжка. Это как гомеопатия, вреда не будет...

Все смеются, даже умирающий...

Контролер. Вот видишь, тебе везет: умираешь, смеясь!
Борис. Да, но живот болит!
Контролер. Тогда не смейся.
Борис. А что мне, плакать, что ли?
Контролер. Лучше всего ни то ни другое. Помолчи.
Борис. Мне столько надо сказать...
Бродяжка. Нет! Кому это надо? Интересные вещи рассказываю я!
Дама (*в экстазе*). Я кончаю от мертвого дерева... Я в окаменевшем лесу... Испепеленная весна... Растерзанная осень... Вся моя жизнь как шлейф...
Бродяжка (*Контролеру, который снова прильнул к ней в позе прикорнувшей обезьянки*). По голосу слышу, что она сейчас даст нам прикурить... А где твои пальчики? Что-то я не чувствую твоих пальчиков!
Контролер. Как тебе загорелось-то...
Бродяжка. Бывают иногда пианисты с руками лесорубов. Скажу сразу, это не твой случай.

Пауза.

Контролер. Вы имеете что-нибудь добавить?
Дама. Ничего.
Контролер (*поворачивается к Бродяжке*). А ты?

Пауза. Бродяжка задумалась. Особого желания говорить нет. Выталкивать слова наружу не всегда просто. Иногда легче умереть. И все же она начинает.

Бродяжка. Однажды вечером... я шла по бульварам... по театральному кварталу... искала уголок, где бы переночевать... Ну вот, иду я вдоль витрины большого ресторана... а там люди сидят в тепле, жрут сосиски с капустой... и вдруг я вижу...
Дама. Кого же?
Бродяжка. Моего отца... Он сидел там в большой компании, наверно, со своей труппой, они ели устрицы... Я остановилась и смотрю на него... Так близко, совсем рядом, если бы не стекло, я могла бы его потрогать... по-

гладить по щеке... У него был усталый вид... Папа, обычное дело, у пап всегда усталый вид...

Дама. А он?... Он тебя видел?

Бродяжка. Нет... Он хохотал с дружками... Кажется, чего-то нанюхался...

Дама. Ну?

Бродяжка. Дай мне руку, пожалуйста, мне что-то страшно...

Дама (*обнимает ее за плечи*). Я здесь, я здесь...

Бродяжка. И тут вдруг, не знаю... не знаю, что на меня нашло... Мне захотелось с ним повидаться... Захотелось его обнять... Мне захотелось обнять моего отца... и я вошла в ресторан... Меня пытались задержать, но я прорвалась... Подошла к его столу... и встала прямо перед ним...

Контролер. Ну? Ну?

Бродяжка. Он поднял на меня глаза...

Дама. Ну? Ну?

Бродяжка. Вот что, я вас попрошу, пожалуйста, прекратите свое идиотское нуканье, мне и так трудно... Мы ведь перед людьми, которые думают, будто сидят в театре и смотрят пьесу, а мне по фигу театр, то, что я рассказываю, это никакой не театр, это правда! Мой отец поднял на меня глаза и сделал вид, будто не узнал меня! Вот она, правда! Он меня стыдился! Обнять бродяжку — нет, для него это было слишком!

Неловкая пауза на сцене, неловкая пауза в зале, даже мертвым неловко быть мертвыми, и они кое-как воскресают, встают на ноги, один держится за живот... Контролер, не в силах подняться — так его ужаснуло услышанное, отползает задом, по-крабьи, все пятятся от Бродяжки с ее кощунственной речью...
Бродяжка по-прежнему сгорбившись сидит на ковре.

Почему вы уходите? Вы ведь не оставите меня одну? У нас была такая славная компания...

Дама (*издалека*). Театр — это святое! Не сметь оскорблять театр!

Бродяжка. Да не оскорбляла я театр!

Контролер. Ты сказала: “Мне по фигу театр”! Я отлично слышал!

Бродяжка. Черт, да это же в тексте! Мне дают текст, я его говорю!

Дама. Почему же вчера ты этого не говорила?

Бродяжка (*ошеломленно*). Вчера я этого не говорила?

Контролер. Вчера ты этого не говорила.

Бродяжка (*вдруг вспылив*). Вчера — это вчера, а сегодня — это сегодня!

Дама. Что же произошло между вчера и сегодня?

Бродяжка. Ко мне приходил один человек.

Клошар. Человек? Какой человек?

Бродяжка. Автор.

Контролер. Автор?

Все, словно притянутые магнитом, возвращаются к Бродяжке.

Дама. Автор пьесы?

Бродяжка. Автор. Он приходил ко мне.

Клошар. Куда это?

Бродяжка. Ко мне домой. Позвонили в дверь, я открываю, а там автор.

Дама. Чего он хотел?

Бродяжка. У него в груди торчал нож. "Не волнуйся, — сказал он мне, — у меня детство немного болит, но это ненадолго... У тебя выпить не найдется?" Он сел, морщась, и выпил... Он походил на маленького мальчика, рожденного во время войны... Я никогда его таким не видела... Он ведь обычно... Ну, вы его знаете, он... Помните, как он на репетициях нас всех смешил... А тут... ничего от него не осталось... Пришибленный воробушек на краешке дивана...

Контролер. И правда, теперь, когда ты говоришь, я тоже вспомнил, в последнее время он что-то не очень в форме...

Борис. Да, я тоже, в последнее время...

Дама. А ты заткнись! Ты мертвый, вот и молчи!

Борис. Но я не мертвый! Пьеса кончилась!

Дама. Нет! Не кончилась! Она продолжается! Ко мне он тоже приходил!

Борис. Кто?

Дама. Автор!

Контролер. Да ну? Чего он хотел?

Дама. Переспать.

Клошар. С кем?

Дама. Со мной. "Я хочу переспать с тобой" — так и сказал.

Клошар. И что ты ответила?

Дама. А что я могла ответить? Это же автор! Автору не отказывают! Если ты актриса! Тем более что — вы увидите, как это удивительно, — тут мы возвращаемся к теме воробушка.

Бродяжка. Какого воробушка?

Клошар. Пришибленного воробушка, ты же сама говорила! Он сидел на краешке твоего дивана! Ты помнишь воробушка?

Бродяжка. Да!

Клошар. Хорошо!

Контролер. В добрый час!

Борис. Возвращение воробушка! Он улетел!

Бродяжка. А ты уже достал! Я тебе сейчас опять нож всажу в брюхо! У меня есть второй!

Появляется второй нож. Борис пятится. Он еле жив от страха.

Борис. Осторожней, это же актер, это уже не персонаж!

Бродяжка. Ну и что? Подумаешь! Не впервой мне убивать актера!

Борис. Но не из-за воробушка!

Бродяжка. Нет. В самом деле. Ты придурок, но ты прав. (*Убирает нож в карман и возвращается к остальным.*) С вами с ума сойдешь. При чем тут вообще воробушек?

Дама. Это рекуррентная тема.

Клошар. У кого?

Дама. У автора.

Контролер. Что такое "рекуррентная"?

Дама. Ну вот, например, в тот раз, в моей китайской гостиной, получив свою порцию счастья, он говорил мне о воробушке.

Бродяжка. Как это? Воробушек мой!

Дама. И еще он говорил о Моцарте.

Бродяжка. Так о Моцарте он тебе говорил или о воробушке?

Дама. О том и о другом! Он говорил мне о том и о другом!

Бродяжка. В каком порядке?

Дама. Когда счастье ранено, сказал он, слышишь Моцарта...

Бродяжка. Не вижу связи с воробушком!

Клошар. Счастье — как птица! Она улетает, если хочешь ее поймать! Только когда она ранена, ты можешь взять ее в руки...

Контролер. Так же и счастье!.. Надо согреть его в тепле, дать ему оправиться!.. Это же смешно — не понимать таких простых вещей!

Бродяжка. Я не понимаю Моцарта! При чем тут вообще Моцарт?

Клошар. Ну, Моцарт — это тепло! Которое отогревает печаль!

Бродяжка. А я думала, это счастье!

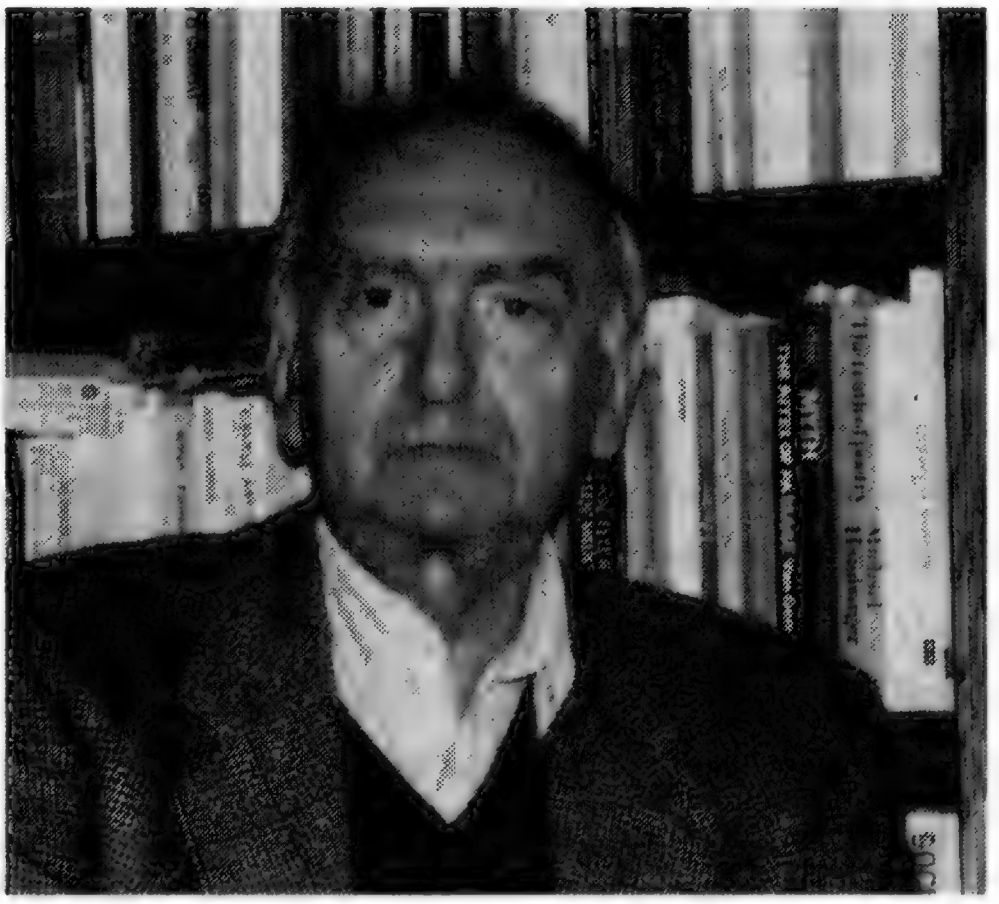
Контролер. Да счастье или печаль – какая разница?
Клошар. Все равно льются слезы!
Контролер. Это называется катарсис!
Бродяжка. Автор точно устал...
Дама. Моя мама плакала, сказал он мне... Все мое детство я видел, как мама плачет... Каждый раз, когда я что-то пишу, мама здесь, со мной, в уголке... и она плачет... Вот что он мне сказал...
Бродяжка. И все?
Дама. Все.
Бродяжка. Неудивительно, что ему так трудно...
Клошар. Что ему трудно?
Бродяжка. Написать хорошую пьесу.

Пауза.

Контролер. Пойдем поклонимся публике?
Дама. Пошли.

Актеры выходят на поклон.

Миодраг Павлович



Стихи

Перевод с сербского и вступление Вячеслава Куприянова

С Миодрагом Павловичем я познакомился заочно, когда в середине 70-х подписался на югославские журналы “Современник” и “Литературная речь”, там, среди прочего, нашел выдержку из его записных книжек: “Поэзия должна быть либо священной, либо иронической”. Он был против смешения стилей и культурных кодов, которое надвигалось под знаменем постмодернизма под покровом свободы слова. Встретились мы в начале 80-х в Белграде. Он был среди самых уважаемых поэтов Югославии, таких, как Васко Попа, Стефан Раичкович или Изет Сарайлич, которые для нас в переводах не различались по языкам, а при встрече обычно говорили все по-русски. В 1986 году мы выступали вместе с ним, “в связке”, на тогда весьма престижном фестивале в Кембридже. Всех, и будущего Нобелевского лауреата Шеймаса Хини, и все еще ждущего своей очереди Джона Эшбери, и прочих “шведов”, снимало усердно телевидение, но нас уже не снимали, мы были единственной парой из социалистических стран. Потом мы не раз встречались уже в Сербии, навещали вместе с ним Милорада Па-

© 2015, Edition Korrespondenzen, Wien
© Вячеслав Куприянов. Перевод, вступление, 2017

Редакция выражает благодарность Кристине Павлович за любезное разрешение безвозмездно опубликовать стихи Миодрага Павловича на страницах журнала.

вича, а в Германии он приезжал на мое выступление в Тюбингене из Тутлингена, это было недалеко.

В стихах Павловича много отзвуков славянских мифов, в них сталкивались с современностью язычество и христианство. Его много переводили, особенно в Германии, где у него был хороший переводчик — Петер Урбан. Но когда в 90-х стало общепринятым в Европе обвинять в балканском разладе сербов, некоторые немецкие слависты искали в стихах Павловича причины этого разлада, не говоря прямо, что это было, скорее, одиночество православного народа среди иноверцев, вдруг легко против него объединившихся. Павлович тяжело переживал сербскую трагедию. Когда бомбили Белград, он рвался туда, на родину, семья не пустила, жена у него немка.

Другая его тема — антропологическая и космологическая. И вообще он считал себя антропологом, исследователем человека, старающимся "не навредить" занимающему его ум предмету. Он получил медицинское образование, как известно из истории, не самое плохое для литератора. И боль его души, его поэзия — целебное снадобье.

Из *посмертной книги стихов* "Т*ак называемые мертвые*"

* * *

Есть такая чаша
которую наполняют
благие дела наши
она никогда не бывает
полной до верху
как и другая чаша
что благие дела наши
вовсе не замечает
но есть еще третья чаша
которую переполняют
злодеяния наши
так что бьют они через край
и не знают на земле края
мы лукавим лицо склоняя
над этой чашей

полной до верху
чужой и нашей злобой
и при этом нам удается
быть позади всех
и впереди всех
в этой злобе особой

* * *

Я друзьям не сохранил верность
ибо не умер вместе с ними
хотя судьбой мне положено было
исчезнуть в то же самое время
и теперь я не знаю
что значит хранить верность
зачем мы были вместе
на самом днище вселенной
объятые всеобщим светом
мы карабкались через силу
на поверхность тьмы неизбывной
что за мзду мы за это имеем
кто нас видит потерявших разум
в объятиях в тисках ли вселенной
нас слишком далеко зашедших
и все же и тем не менее
неужели мы не заслужили
некой лучшей смерти

* * *

Что-то врезано было
в церковную стену
имена что исчезли
и вот их снова видно
здесь под выступом ниши
лежат товарищи
что погибли
в предпоследней битве
их кости трепещут
тревожа время
словно кто-то опять в страхе
за будущих убиенных
что на новую бойню
отдадут свою юность
и каждая новая жертва

назовет снова
свой год рождения
и свое имя

Моя кровать мне мала

Моя кровать узка мне
и могла бы быть подлиннее
Кто в ней ночует
не находит себе покоя
только стонет
а мне бы хотелось
больше простора
длиннее и шире
чтобы голова моя не болела
я совсем не хочу спать долго
только вытянуться
всем своим ростом
в ширину и в длину
вытянуться
и отдохнуть немного
но глубоко и еще глубже
до самого мозга костей

* * *

Для научных обоснований
время уже вышло
точно никто не знает
ни кто сотворил нас
такими какими мы стали
ни почему мы сами
покинули добровольно
тот уютный зверинец
в котором человек никогда
не был кем-то лишним

обо всем об этом
говорили пророки
один лучше другого
но для нас остается тайной
суть нашего существования
тогда как истина похоронена где-то
в какой-то инстанции

* * *

Не готов человек
к своему предназначению
и он чувствует себя привольно
поскольку о нем не ведает
и также все предсказания
о наступлении человеческой эры
это лишь пустые химеры
и даже все тела небесные
лишь подвешены для освещения
какого-то нового календаря
который голову поднимает
когда бесплодное облако
мечет молнии-громы

* * *

Я думал что все идет к завершению
у этого рода людского
у блаженных или удрученных
где-нибудь возле Стажилово
где наконец воссияет
та правда что была скрыта
из-за наших же злодеяний
в то время как нас прибило
к берегу мрака
где никто уже не питает
прежних мечтаний
итак такова судьбина
южного славянина
спроси мы об этом поэта
или избранника народа
нет правильного ответа
на вопросы такого рода

Из *прежних книг*

Рождение песни

Эта женщина перешла со мной реку
в тумане при лунном свете,
перешла со мной рядом реку,
а как звать ее, я не знаю.

Мы собрались идти в гору.
Ее коса была длинна и руса,
в пути ее бедра моих касались.

Мы забыли родных и законы,
запах родительского застолья,
мы с ней обнялись беспечно,
а как звать ее, я не знаю.

Не вернемся мы к родному дому,
заживем среди звезд на высокогорье,
не найти нас ни войску чужому,
ни орлиному взору...
Лишь спустится исполин с вершины
и разделит любовь с нею,
пока я буду вепря гнать в долине.

И наши дети в протяжных песнях
воспоют рождение другого народа,
почитающего богов и скитальцев,
которые перешли реку.

* * *

Вещи бывают мягкие, жесткие,
жалкие, бедные и дорогие,
из-за последних возможны склоки,
и склонны к бунту вещи крутые,
словно железные спинки кровати,
украшенные шариками из латуни.
Одни вещи можно передвигать,
тогда как другие застыли втуне,
иные способны к звону и гуду,
другие вспыхивают и сгорают,
иные редки, другие повсюду,
вещи растут и как реки стекают.
Из вещей обожаю груши и дыни,
но вещь ли это, когда исчезает
из-за того, что ее съедают?
И вещь ли написанное на картине?
А если вещам приделать ноги?
Где эти вещи, забытые нами?
И наши потери — прибыль в итоге,
или сабли над нашими головами?

Джон Донн

Три элегии

Перевод с английского Марины Тарлинской

Элегия V. *Его портрет*

Вот мой портрет на память обо мне.
А твой я спрячу в сердце, в глубине.
Сейчас лицом похож я на портрет,
Но минут годы, и ты скажешь “нет!”,
Когда из странствий я вернусь в свой дом:
Рука в мозолях, содранных веслом,
Лицо обуглят солнце, бури, зной,
Когда, как тень, приду я за тобой
Мешком с костями, битыми в боях,
И в рубище на высохших плечах,
Вся в синих точках будет голова:
От пороха так въестся синева.
Соперник засмеется: брось тужить;
Ну можно ли с таким уродом жить?
Портрет мой подтвердит, каков я был;
Но ведь и ты не та, что я любил.
Мне разум скажет: пусть твои черты
Так изменились, это та же ты.

© Марина Тарлинская. Перевод, 2017

Лишь новорожденной любви легко
Влюбиться в лик, как дети — в молоко.
А нам, давно влюбленным, стал едой
Из плевел хлеб с холодною водой.

Элегия IV. *Духи*

Всего лишь раз отец твой нас застал,
А все твои грехи мне приписал;
Вот так воришке суд неправый шьет
Все ограбленья за минувший год.
Твой хмурый предок вынюхал мой след
И забубнил, что от меня лишь вред.
Пьянчуга, завершив свой давний сыск,
Вперился мне в лицо, как василиск,
Поклялся и приданого лишить,
А ведь одной любовью не прожить;
К тому ж наследство твоего отца
Куда прекрасней твоего лица!
Уже и мать твоя, почти в гробу,
Из одеял блюла твою гульбу:
Проспится днем, а по ночам следит,
Окно ли хлопнет, дверь ли заскрипит?
Ты утром к ней зайдешь, глядит в лицо
И ручку жмет: не новое ль кольцо?
И, обнимая, щупает живот:
Не плод ли беззаконный в нем живет?
Закуски называет: ту и ту,
Чтоб вызвать бледность, пот и тошноту,
И помянет проказы юных лет,
Де, и она не соблюла обет,
Чтоб ты призналась; но, привыкнув лгать,
Ты обдурила и отца, и мать.
Твои братишки, чтоб взглянуть на нас,
К нам забегали в наш сладчайший час,
А утром им отец сулил конфет,
Чтоб вызнать (втуне!), был я или нет.
А сторож ваш, Родосский ваш Колосс,
Что по бокам ворот ногами врос,
Кто поминает божье имя вслух
В грязнейшей брани — это нам пастух.
Его завидев, вспоминаю ад,
Он дьяволу, должно быть, кровный брат;
Высматривал он коршуном меня,
Но не поймал до нынешнего дня.

Досель скрывали мы свои грехи,
Но выдали меня мои духи.
Тиран, почуяв порох, бьет в набат,
Так твой отец, почуяв аромат.
Унюхав смрад, он бы подумать мог,
Что вонь исходит от его же ног,
Но аромат, что я с собой принес,
Нас выдал, залетев пьянчуге в нос.
Уж больно наша Англия проста,
Здесь место для собак и для скота,
А благородный зверь, единорог,
У нас не вступит даже на порог.
Я научил шелка не шелестеть,
И каблуки забыли, как скрипеть.
Но вот духи, — уж как я вас любил! —
Ваш аромат меня и погубил:
Меня объяв, вы улетели прочь,
Чтобы врагу предательски помочь.
Вы — горький выжимок цветов и трав —
Темните, кто недужный, а кто здрав,
Скрываете вы шлюх гнилую пасть,
Чтоб с поцелуем юноше пропасть.
На нас, мужчин, бросаете пятно:
За женственность пеняют нам давно.
Недаром вас так любят при дворах,
Где правят ложь, и суетность, и страх.
Недаром встарь на алтарях вас жгли:
Богам угоден смрадный дым с земли.
Когда зловонен каждый лепесток,
Как может ароматным быть цветок?
Стоявши долго, источают смрад
Духи, сменяя вонью аромат.
Духи, вас обещаю наперед
Ее отцу, вот только пусть помрет!

Элегия XIX. *Его любовнице: ложась в постель*

Скорей, скорей, желанная моя,
Природы сын, как в родах стражду я.
Солдат мой, словно поднятый трубой,
Стоит и прям, и тверд, готовясь в бой.
Подвязку отстегните поскорей,
Хоть хороша, но лучшее — под ней.

Долой нагрудник, вышитый атлас,
Защитника от любопытных глаз.
Корсаж отбросьте прочь; курантов звон
Торопит нас: у ночи свой закон.
Теперь долой корсет; китовый ус
Торчит, на зависть мне и на искус.
Долой и платье: лучше нагота,
Чем венчиков и платьев красота.
Под нижней юбкой различает глаз
Ту диадему, что растет на вас.
Долой и туфли, и скорей в кровать:
На мягком ложе легче воевать.
Как облако, белеет простыня,
Ты — ангел, сотворенный для меня.
Такой вот рай пророчил Магомет
Тем правоверным, что блюдут обет.
Но ангелы при жизни нам дарят
Плоть твердую для плотских же услад.
Дай разрешенье трепетным рукам
Скользнуть к груди, меж бедер и к ногам.
Моя Америка, мой Новый Свет!
Ты мой; других тут поселенцев нет.
Здесь изумруды, золото, алмаз,
Все, что находят руки, вкус и глаз.
Я ослеплен богатством и готов
Стать вольным пленником твоих оков.
О нагота! Свершение надежд!
Дух — узник тела, тело — раб одежд.
На женской шее ожерелий ряд
Мужчинам на беду огнем горят,
Вот так обложка книги нас манит,
Не суть ее, обложка — наш магнит.
А мне бы суть возлюбленной прочесть
Без украшений, а какая есть.
Как повитухе, покажи нутро,
А не наряды, сшитые хитро,
Без нижней юбки покажись мне ты,
К чему стыдиться юной красоты?
Раскаиваться поздно; разве грех
Нам развлекать друг друга без помех?
Сними сорочку, скромность ни к чему,
Пришел конец терпенью моему!
Смотри, я обнажен; не прячь же грудь,
Мужское тело, покрывалом будь!

Виктор Клемперер
И *вот я сижу между всеми стульями*

Дневники 1945–1949

Перевод с немецкого и вступление Дарьи Андреевой

Виктор Клемперер родился в 1881 году в семье раввина. Окончил французскую гимназию в Берлине, затем изучал философию, романистику и германистику. В 1906 году женился на пианистке и художнице Еве Шлеммер, которой предстояло стать главной спутницей и опорой в жизни. В 1912 году защитил диссертацию и в том же году перешел в протестантизм. Получив звание доцента, преподавал в Неапольском университете. Добровольцем отправился на фронт, служил в артиллерии, затем занимался канцелярской работой при военном цензурном ведомстве. С 1920 года, получив звание профессора романистики, преподавал в дрезденской Высшей технической школе.

Когда к власти пришли нацисты, гонения на евреев не обошли Клемперера стороной. В 1935 году его уволили из Высшей технической школы по приказу рейхсштатгальтера Саксонии Мартина Мучмана. Благодаря тому, что Клемперер был женат на арийке, он избежал депортации в концлагерь, однако в 1940 году супругов переселили в "юденхаус" — еврейский домгетто. В конце войны им грозила отправка в концлагерь, однако во время бомбежки Дрездена в ночь с 13 на 14 февраля им удалось бежать. Через Саксонию и Баварию они добрались до деревни Унтернбернбах, где и скрывались до конца войны.

В тридцатые годы, лишившись возможности читать лекции, публиковаться, посещать библиотеки, выписывать газеты и журналы, Клемперер продолжал работать в стол: писал "Историю французской литературы XVIII века", которая вышла только в 1954 году, и все больше времени посвящал дневникам.

Как филолог Клемперер обращал внимание на национал-социалистический "новояз" и записывал свои наблюдения в дневники, помечая их аббревиатурой LTI (Lingua Tertii Imperii, язык Третьего рейха). После войны на основе дневников он составил посвященную LTI книгу, которую назвал

© Aufbau-Verlag GmbH, Berlin 1999
© Дарья Андреева. Перевод, вступление, 2017

"Записной книжкой филолога". Эта книга принесла ему славу. И хотя она носит скорее популярный, чем лингвистический характер, Клемперер одним из первых обратил внимание на тоталитарный язык как таковой и выделил ряд его особенностей, а потому по праву считается пионером подобных исследований.

После 1945 года Клемперер преподавал, читал лекции, писал книги и статьи и принимал активное участие в культурной и политической жизни Восточной Германии, а также продолжал вести дневники. Именно из его дневников 1945—1949 годов составлена настоящая подборка.

* * *

Дневник — специфический жанр: своего рода способ консервации впечатлений, гербарий давно увядших дней. Это жанр документальный: он фиксирует жизнь во всех ее мелочах, не разделяя события на важные и неважные — ведь в повседневности одинаково важно все. Это жанр синхронический: человек выносит суждения здесь и сейчас, задолго до того, как свое суждение вынесет история. Это жанр личный: как правило, автор пишет "для себя", не заигрывая с читателем, которого в большинстве случаев никогда не будет.

Одним словом, дневник — жанр честный настолько, насколько вообще может быть честным написанное слово.

Все это можно сказать и про дневники Виктора Клемперера. Он вел их десятки лет, "коллекционируя жизнь и не задаваясь вопросом, зачем и почему". Изданы они были в 1990-х годах. Однако если его дневники эпохи национал-социализма получили в Германии широкую известность, то послевоенные хроники остались в тени. Причина понятна: Клемперер обосновался в ГДР и состоял в СЕПГ, хотя идейным коммунистом никогда не был.

Между тем дневники Клемперера 1945—1949 годов — ценнейшее свидетельство немецкой послевоенной жизни, во всех ее подчас трагических, подчас комических проявлениях. Мы застаем автора сразу после возвращения домой — туда, откуда его принудительно выселили пять лет назад. Он счастлив и сам не верит своему счастью, но вокруг "все шатко", почва колеблется под ногами, приходится пробиваться через бытовые неурядицы, административные заботы, политический хаос. "В райском саду слишком много сорняков, — пишет Клемперер, — но остается надежда выполоть все лишнее".

К 1945 году Клемпереру довелось жить в трех разных Германиях: кайзеровской, республиканской, гитлеровской — и, когда на пепелище начинают возводить четвертую, на сей раз социалистическую, он не может не замечать, что многое уже было, а теперь лишь повторяется на новом витке. Анализируя язык этой четвертой империи — Lingua Quarti Imperii — Клемперер обнаруживает, что LQI не так далеко ушел от LTI: язык нацизма пережил свой строй и теперь парадоксальным образом впитывает веяния нового времени.

Клемперер с любопытством наблюдает за настроениями среди самых разных слоев населения, тревожится за будущее растоптанной Германии,

пытается разобраться в общественном — да и собственном — отношении к союзникам и, в частности, к русским. Ему приходится решать моральные дилеммы: так как он — жертва фашизма, к нему тянутся бывшие мелкие члены НСДАП, просят о ходатайстве и заступничестве. Кому помочь, кому отказать? Роль невольного судьи порой очень тяжела.

Клемперер не берет авторитетный тон, не примеряет мученический венец. Он искренен и самокритичен. Его дневники — это исповедь усталого, перенесшего много мытарств человека, который по-прежнему любит жизнь, "коллекционирует" и анализирует ее. Его исповедь — не перед читателем, а перед самим собой.

1945

Дёльцшен, воскресенье, 17 июня 45

Глава *"Часы"*

В каждой передаче, десятки раз на дню, по берлинскому радио объявляют время — воистину благое начинание. Но когда Берлин говорит: 20 ч., у нас 19 ч., а в Бремене — 21 ч. В Берлине русские установили московское время, в Дрездене — летнее, а англичане в своей зоне — среднеевропейское.

Я то и дело спрашиваю у прохожих: сколько времени? Ответ неизменен: у меня тоже больше нет часов. А один раз: ну не стану же я носить их с собой!

Фогель[1] достает из кармана маленький будильничек. В Бегербурге[2] мне выдали чудесные напольные часы, которые идут весьма надежно — только вот стрелки отломаны (наверняка пали жертвой мародеров) и заменены как попало: в итоге, увы, время понять невозможно.

Вольф рассказывает, что однажды русские солдаты очень дружелюбно с ним беседовали, — еще бы, коммунист, освобожденный от фашистского гнета, — а потом не менее дружелюбно хвать за запястье: товарищ — часы? Но и у него к тому времени часов не было.

Глава *"Сообщение"*

Изолированы как отдельные люди, так и целые группы, средств сообщения и связи не хватает, и это ощущается бук-

1. Фогель — мелкий торговец; поддерживал Клемпереров продуктами в первые годы войны. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Бегербург — замок в неоготическом стиле, построенный в 1852–1854 гг. для дёльцшенского владельца каменоломен Бегера; после 1933 г. там заседали местные органы НСДАП.

вально повсюду, и телом, и духом, — главное зло, которое влечет за собой все прочие беды. Кац[1] говорит, что ему вернули машину, но добыть для нее бензин невозможно. Его жена ругается: вот был бы у тебя шнапс, русские дали бы тебе из-под полы сколько хочешь бензину! Кац еще не знает, что телефоны тоже возвращают — "для жизненно важных переговоров". <...> Почта — на марках профиль Гитлера вымаран черным — есть только в округе Большой Дрезден, но мне пришло письмо от Ноймарка[2] — с Рейкерштрассе до Киршберга оно шло три дня, и Вольф считает, это еще быстро... В органы власти не позвонить, потому что их номеров никто не знает. Телеграф, похоже, не работает вовсе... Трамваи, как и в Мюнхене, ходят только из пригородов до окраин, и я часами — в прямом смысле слова часами — бреду по чудовищным дорогам сквозь полнейшую, совсем не мюнхенскую разруху.

Правая рука не знает, что делает левая, средней палец не знает, что делает безымянный, и т. д., и т. п., и так во всех сферах. Есть государство Дрезден, государство Дёльцшен (хотя Д. теперь входит в Большой Дрезден) и т. д., бургомистр сам и управляет, и распоряжается, и строит, и помогает, и конфискует и т. д. (в пределах, в которых разрешают русские, а они отдают только общие приказы и не заботятся о частностях) — не имея связи с другими бургомистрами, ничего не зная об их постановлениях.

Во многих отношениях я живу в такой же изоляции, как в Унтернбернбахе[3], но здесь это ощущение болезненнее, чем там. <...> О многих друзьях и знакомых мне совершенно ничего неизвестно — невозможно ни связаться, ни навести справки, только из уст в уста, от случая к случаю долетают какие-то весточки, проносится шепоток.

Кругом царит безнадежный хаос, лишь слегка подернутый зыбкой обнадеживающей дымкой новостей. Но, может статься, о них мы тоже судим неправильно, несправедливо. Навещая Каца на Борсберг-, а Ноймарка на Рейкерштрассе, я проделывал бесконечный путь через разрушенный, опустошенный город, на Плауэнском вокзале я видел беженцев, скорбно ютящихся среди своих пожитков — картина, став-

1. Вилли Кац — дрезденский врач.
2. Эрнст Ноймарк — адвокат.
3. Унтернбернбах — баварская деревня, где Клемперы скрывались с середины апреля до середины мая 1945 г.

шая привычной; но я также вижу довольных, умиротворенных людей разных возрастов, они едят почти досыта, они больше не боятся бомб, и мародерство и проч. со стороны русских практически сошло на нет. Главное впечатление — все шатко, все клеточки разобщены. Мне постоянно вспоминается Мюнхенская республика[1] 1919 года. Но тогда эти калифы на секунду, властители квадратных сантиметров правили все-таки самостоятельно, а теперь за всем стоит русский, и этот русский сам расщепляется на кучку таких калифов и властителей, противостоящих друг другу.

В "Берлинер фольксцайтунг" — первой газете, которая хоть сколько-то похожа на газету, — опубликован очень ловкий призыв КПГ: речь идет о демократическом блоке антифашистских партий, с отсылками к "Приказу № 2" русского Верховного командования, который провозглашает свободные выборы — но докуда простирается эта свобода и что будет решать этот вроде как выборный орган?? В блоке должны быть представлены все гражданские партии вплоть до центра. В пояснительных статьях нас горячо уверяют: никто не навязывает Германии диктатуру компартии, не насаждает большевизм. Но снова и снова (и summo jure[2]!) твердят, что сперва надо навести в стране порядок, и что мы обязаны освобождением России, и что именно КПГ должна о нас печься и посредничать между немцами и русскими. Все шатко. По радио мы слышим только русские, с русским оттенком или интересные для России новости. В придачу — нас постоянно призывают и понукают искоренять нацизм, всюду репортажи о нацистских зверствах, о поимке скрывающихся гитлеровских бонз, о допросах. Все это наверняка правильно, соразмерно и необходимо — но что мы получим в отдаленной перспективе? И как — вот что заботит меня больше всего, — как это повлияет на будущее положение евреев в Германии? Боюсь, очень скоро мы услышим: они идут по головам, они победили и мстят — а значит, Гитлер и Геббельс были правы.

Вторник, 19 июня 1945, Дёльцшен

В воскресенье 10-го мы приехали сюда, первую ночь провели у доблестного Калау, а вторую — уже в *нашем* доме: я все еще не могу описать это чувство, все еще словно грежу наяву,

1. Мюнхенская советская республика была провозглашена после убийства баварского премьер-министра Курта Айснера 21 февраля 1919 г. и просуществовала до 3 мая 1919 г.
2. По всей строгости закона (*лат.*).

мы живем в сказочном мире, странном, фантастическом и, тем не менее, совершенно реальном, но ненадежном мире, в странном раю, где нас встречают то с умилением, то с презрением, и я все еще не обрел душевного покоя, необходимого для работы, дневниковые записи не продвигаются, для переезда не найдены главные слова, грандиозная полнота этой недели не зафиксирована на бумаге, я даже еще не озаботился судьбой моих бумаг, лежащих в Пирне, не подступался всерьез к пишущей машинке, куда-то сходить — дело, занимающее чуть ли не весь день (тут, впрочем, есть смягчающее обстоятельство — ступня опухла, транспорт не ходит), чтение ограничивается томиком "Африканских игр" Эрнста Юнгера (книга по большей части на удивление хороша, но есть невнятные места): я устал от всего и от всех, дни проходят, а я только ем и снова ем, дремлю и сплю, принимаю многочисленных гостей и сам хожу в гости, мы говорим, строим планы и сомневаемся, удивляемся, радуемся — и снова, и снова сомневаемся, устаем, ждем чего-то, бьем баклуши и снова устаем. Меня попеременно захлестывает то изумленное блаженство, когда я дивлюсь и все не смею поверить в этот совершенно сказочный поворот нашей судьбы, то темный страх, что уже слишком поздно, что все вокруг норовит меня сокрушить: и сердце, и одряхлевшее мышление, и заржавевшие знания — я и десяти слов по-французски больше не могу связать. Но все это — надежду, опасения, сомнения, страх — заглушают усталость и животно-ленивые удовольствия: я ем, сплю, а в промежутках слушаю радио.

Среда, 20 июня 45

Я сижу — а меня со всех сторон окружает одолженное, конфискованное, чужое: все — мебель, белье, посуда, каждая ложка, каждый стакан — принадлежит Бергеру[1]. <...> Он был у меня, плакался, клянчил — не мог бы я отдать ему кое-какие вещи: у него нынче ни крыши над головой, ни куска хлеба. Но жители нашей общины, да и посторонние (например, Форбрих[2]) мне рассказали, как Б. наживался, сотрудничая с нацистами, как обманывал население, какие лживые слухи распускал про нас, считая нас погибшими. Теперь он заявляет, что был-де нашим защитником, снабжал нас продовольствием, хлопотал о нашей ипотеке. В действительности он че-

1. Бергер — хозяин продовольственной лавки в Дёльцшене; в 1940 г., после высылки Клемпереров в гетто, поселился в их доме.
2. Роберт Форбрих, учитель.

го только ни перепробовал, чтобы отобрать у нас дом <...>, в действительности он запрещал мне заходить в церковь, зато выставлял поддельные счета за вывоз мусора, которые невозможно было перепроверить. У меня нет ни малейшего повода (да и возможности, впрочем, тоже) щадить его. Но вести себя, как еврейский мститель и триумфатор, я тоже не хочу. Когда он пришел ко мне, я сказал: все конфисковано, мне разрешено отдать вам лишь некоторые вещи, на мое усмотрение. Это я охотно сделаю, а прочее пока останется в моем распоряжении (пока не изготовят новую мебель и я не смогу ее купить); часть вашего имущества послужит мне залогом, так как в будущем я, вероятно, предъявлю вам некоторые финансовые претензии. Он ушел расстроенный, да и у меня на душе кошки скребли — но что делать?

Суббота, 23 июня

Что ни услышишь, что ни прочтешь — в голове крутятся одни и те же слова: все шатко, все хрупко, всюду новые хозяева, пытаются ловить рыбку в мутной воде...

Вечером. Несмотря на то что кругом все плохо, что почва колеблется под ногами, у меня громадье планов, я жажду работать. Вечный вопрос "Доколе?" и угнетает, и раззадоривает меня. <...> Правда, жажду работать уравновешивают низкие, плотские желания. Хочется есть в удовольствие, пить в удовольствие, в удовольствие ездить на машине, в удовольствие отдыхать на море, в удовольствие сидеть в кино... Никто из двадцатилетних и близко не испытывает такой потребности в простых жизненных радостях... И я счастлив, что Е. с утра до вечера хлопочет в *своем* доме, в *своем* саду — она словно ожила.

Понедельник, 25 июня, около 19 ч.

Я постепенно начинаю более или менее систематически обращать внимание на язык *Четвертого рейха.* Порой мне кажется, что от языка рейха Третьего он отличается столь же мало, сколь дрезденский вариант саксонского диалекта от лейпцигского. Когда, например, маршала Сталина титулуют величайшим из ныне живущих, гениальнейшим стратегом и т. п. Или когда Сталин в речи, произнесенной в начале войны, именует Гитлера — надо сказать, по праву — людоедом. Так или иначе, я хочу проштудировать наш новостной листок и "Дойче фольксцайтунг", которую мне теперь доставляют, sub specie[1] LQI.

1. Здесь: в связи с (*лат.*).

Вчера днем во всем Дрездене пропало электричество, и Ева соорудила из кирпичей и решетки очаг прямо на улице.

Среда, вт. пол. Дня, 27 июня
Заметки о междуцарствии LTI и LQI

1. Весь мир, как и прежде, говорит "русский" (в ед. ч., *der* Russe).

2. В "Фольксцайтунг" мелькает словечко *оглашение* ("Verlautbarung"). Оно из лексикона австрийских военных, и, хотя его ввел в обиход Гитлер, хотя оно совмещает в себе несколько немецких выражений: распоряжение, приказ, сводка, оповещение... оно по-прежнему в ходу.

3. На большом армейском празднике маршал Сталин, провозглашая тост в честь Простого Человека, poilu inconnu[1], неоднократно называл его винтиком большого механизма. Самая техническая из всех метафор. Cf[2]. Gleichschalten[3].

Пятница, вт. пол. дня, 29 июня 45

В среду в первой половине дня к нам приходил доктор Кёниг: он как коллега написал Аннемари[4] и принес ее ответ — мои рукописи в целости и сохранности. "Только рукописи?" — насторожилась Ева, и у нас появился новый повод для беспокойства. Тут появился Юнг: машина его фирмы, которая строит мост в Пирне, в полном порядке и ждет на улице, а в ней еще два господина — бухгалтер и инженер. Большой красивый "мерседес" со встроенным дровяным газогенератором. Мы торжественно отправились в путь — и сломались, едва съехав с холма, у мельницы Бинерта. Долго что-то чинили, — инженер уверял, что нынешние водители не умеют ездить на древесном газе и в этом вся беда, — в конце концов какой-то добродушный русский прицепил нас к своему грузовику и протащил раза три по кругу, по двум мостам через Вайсериц, пока мотор не заработал вновь. С фырчанием и урчанием, лавируя между горами щебня и выбоинами, мы доехали аж до Нидерзедлица, где у нас пробило колесо, а когда его заменили, мотор отказался заводиться. Остановка длилась чуть не час — я успел набрать пол-

1. Неизвестный солдат (*франц.*).
2. Ср. (сравните) (*франц.*).
3. Gleichschaltung — подключение, равновключение (*нем.*) — политика нацистов, направленная на установление тоталитарного контроля над всеми сферами экономической и общественной жизни. В основе понятия лежит техническая метафора, отсылающая к слову "Schaltung", которое обозначает коммутацию, подключение в электрическую схему.
4. Аннемари Кёлер — сотрудница дрезденской Высшей технической школы в 20–30-х гг., приятельница Клемперера.

ные карманы недоспелых груш. К половине четвертого мы все-таки добрались до Пирны – дорога заняла у нас полных два часа, – где нас душевно приняли Аннемари и Дрессели[1] (мать, дочь и трое внуков). Но душевно приняли – не значит досыта накормили; и то уютное равнодушие, которым Дрессели издавна страдали, не стало мне милее. "А вы правда верите, что СС так зверствовали? А с чего бы им творить такие ужасы?" Вот оно, все то же, уютное: не так уж все и плохо. К тому же бюргерское отвращение к коммунизму: при нацсоце людям вроде доктора Дресселя жилось лучше...

Дресселевское "А вы правда верите..." снова во всей красе продемонстрировало, как опасна однобокая пропаганда.

<...> Всюду я чувствую бюргерское отвращение к необразованным рабочим и всяким Радикалинским из КПГ, заседающим нынче в различных ведомствах. И нарастает страх – даже среди самих рабочих-коммунистов, – что русские, которые увозят весь скот и все станки, разденут нас догола. Что с нами будет??

Суббота, вечер, 30 июня

Минутка удовлетворенного тщеславия: в общине стоит длиннющая очередь за продуктовыми карточками, а у меня есть удостоверение, по которому меня обязаны обслужить вне очереди (я еврей, да к тому же преклонный возраст!) – и действительно, раз-два, и я свободен. Кроме того, я забрал для Е. карточку для занятых на тяжелых работах – в этот раз ее выдали, а там посмотрим.

В противовес удовлетворенному тщеславию – полная неуверенность в завтрашнем дне. Правительства по-прежнему не существует. Нет ни положения, ни денег.

Среда, перв. пол. Дня, 4 июля

LTI по-прежнему процветает: в спортивном репортаже сегодняшней газ. я наткнулся на словечко *боевитый* ("kämpferisch")[2]. <...> Аналогии между языком нацистов и большевиков: в сталинских речах, выдержки из которых у нас регулярно публикуются, Гитлер и Риббентроп – изверги и людоеды. В статьях о Сталине генералиссимуса Советского Союза величают гениальнейшим полководцем всех времен и народов и гениальнейшим из всех ныне живущих на Земле.

1. Фридрих Дрессель – хирург, в 1937 г. открывший с Аннемари Кёлер частную клинику в Пирне.
2. По наблюдениям Клемперера из "LTI: Записной книжки филолога", это слово широко употреблялось во времена Третьего рейха.

Вторник, утро, 17 июля 45

Часто – может быть, даже слишком часто – я говорю себе: по сравнению с тем, что было раньше, ты живешь в раю. Да, тут не поспоришь, но я слишком редко это замечаю – Е. исхудала, мы сидим на черством хлебе, в доме хаос, положение наше крайне неопределенное, мое бесплодие, вялость и сердечные боли: в райском саду слишком много сорняков. Но все-таки мы в нем живем, и остается надежда выполоть все лишнее.

Эта мудреная метафора – для Е. вовсе не метафора, а реальность: она целыми днями работает в саду, сажает овощи, она не думает *ни о чем*, буквально ни о чем, кроме сада. Pereat mundus, fiat hortus[1].

Пятница, понедельник, 20 июля 45

Вчера по радио между кабаре-номерами – трансляция первого богослужения в первой берлинской синагоге: 74-летний кантор поет еврейскую молитву посвящения, зажигается неугасимая лампада. Эти пояснения дает диктор; слышатся пение и молитва.

Отвратительно: как безвкусно, между развлекательными передачами, да к тому же освящение, а не посвящение, и все это – чтобы подчеркнуть победу евреев, что еще отвратительнее. Так, глядишь, и низвергнутый нацсоц воскреснет.

Такие же опасения я испытал, когда слушал доклад, где говорилось, что немецкий генеральный штаб, во всем виноватый и подлежащий уничтожению, и есть мозг немецкого милитаризма. Повсюду русские заставы, русские угоняют скот, в стране царит голод, уже не раз приходилось слышать: при Гитлере каждый получал, по крайней мере, то, что обещано на талонах, – немного сала, немного колбасы, – а теперь и талонов-то нет! Встречное течение возникнет *неминуемо*: мы голодаем, кругом снова евреи, да еще русские – вот и весь ваш благословенный пацифизм.

А народ так безнадежно глуп и забывчив. Он думает только: "Раньше мы голодали меньше", – и забывает обо всем остальном. Скоро поверит: все гитлеровские преступления – не более чем пропагандистские выдумки.

1. Иронически переделанное латинское выражение: "Pereat mundus, fiat justizia" – "Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие!" В данном случае: "Пусть погибнет мир, но да будет сад!"

Суббота, утро, 21 июля 45

Юнг сказал: “Русские увозят наши станки, а американцы их попросту *взрывают*”. Про “взрывают” я услышал впервые. Значит, немецкую промышленность хотят разрушить подчистую. Это косвенно подтверждает и тот факт, что русские разбирают железнодорожные рельсы. Следствием будет *безработица*. <...> Раньше я думал: после войны какая уж безработица — ведь все придется делать и строить заново! Но если нам просто не дадут ничего делать и строить? Людей привлекают лишь на временные работы: разобрать завалы, собрать урожай — но при этом не производится ничего долгоиграющего. День ото дня я все мрачнее смотрю в будущее.

О языке. Юнг не говорит: “...только бы немцу дали работать — и он снова поднимется”, — он говорит: только бы *немецкому человеку*... Этого самого “немецкого человека” он поминает в каждом предложении — вчера вечером точно не меньше дюжины раз. Он и сам не знает, что говорит на LTI.

Юнг хвалится, что однажды на заре Третьего рейха *14 дней просидел в тюрьме*: его обвиняли в получении взятки. “После этого разве можно быть другом партии?” Снова “анкета Четвертого рейха”.

Я все больше укрепляюсь в презрении к людям и *не*тщеславии. Со мной обращались хуже, чем с собакой, теперь вокруг меня все танцуют — что будет завтра? Ведь и их презрение, и их уважение относятся ко мне не как к личности, а как к атому, к корпускуле, к бильярдному шару — нельзя же сказать, что все эти сущности обладают или не обладают какой-либо самостоятельной ценностью, их virtus[1] определяется конкретной ситуацией.

Четверг, утро, 26 июля 45

Если я теперь умру — а сердце вполне может отказать в любой миг, — проводы мне устроят по высшему разряду. Здесь каждый меня знает, каждый здоровается на улице и в доме, каждый выражает радость по поводу нашего возвращения. В каких пропорциях тут сочетаются сердечность и расчет? Больше никогда я не смогу верить людям.

Вчера к нам приходила фрау *Ульбрих* — жена, точнее, уже вдова мясника Ульбриха, у которого мы всегда покупали, пока его не свалила болезнь и он не передал дело молодым Яникам. <...> Фрау У. хоть и многое потеряла, но, очевидно, по-прежнему не бедствует; это пожилая дама, добродушная и спокойная.

1. Доблесть, положительные качества (*лат.*).

Она принесла цветов и сигарет, держалась непринужденно — словом, ни дать ни взять старинная подруга. Но потом в разговоре всплыл ее сын, шесть лет проведший на войне, — штудиенрат[1], преподаватель в техникуме. "Да он же такой востребованный специалист, он мигом найдет себе место!" — "Да, герр профессор, но он же *вступил* (sic), ему *пришлось*, а теперь его отправили орудовать лопатой". Ecco[2]. Это просьба не ко мне — и, тем не менее, меня просят. Случай Людвига: "Я ни разу не видел вашего сына, ни разу с ним не разговаривал". — "Но вы же знаете его родителей, мы ведь ни в жизнь..." И т. д., и т. п. Оказалось: фрау У. видела нас на похоронах майстера Хаубольда, а ее сын был школьным товарищем младшего Хаубольда (по счастью, беспартийного — второму Хаубольду-мл. тоже *пришлось*). Я посоветовал: пусть Ульбриху-мл. даст характеристику Хаубольд или кто-то вроде него, а от меня он может передать *на словах*, что я ручаюсь за его семью.

Пятница, утро, 3 августа 1945

<...> Во *всем* мире *все* так медленно и шатко — общее ощущение всех немцев летом 45-го. Сегодня по радио говорили о Потсдамском коммюнике[3]: со всеми — мирные *договоры*, с нами — мирное *урегулирование*.

Суббота, перв. пол. Дня, 4 августа

Утром по радио зачитывали Потсдамское коммюнике. Текст потрясает, и в первую очередь потрясает эгоизмом. Кастрированная, обнищавшая Германия превращается в маленькое земледельческое государство, ее все отвергают, и нет никакой надежды, что однажды она снова будет процветать. Черствый хлеб без сала, которым мы только и питаемся вот уже несколько недель, будет нашим спутником до конца жизни. Кто возместит все мои долги, все мои утраты? <...> Я буду получать крошечный оклад или пенсию — вот и все. Профессор в ВТШ[4] или в университете? Самое большее — утлый лекторишка в Дрезденском техникуме. Печатать книги, публико-

1. Звание преподавателя, работающего в старших классах гимназии или в среднем специальном учебном заведении.
2. Вот оно что (*лат.*).
3. По завершении Потсдамской конференции, длившейся с 17 июля по 2 августа 1945 г., было обнародовано коммюнике, где речь шла о новом политическом и территориальном устройстве Германии, о демилитаризации Германии, репарациях, а также о судьбе военных преступников; позже подписано как Потсдамское соглашение.
4. Высшая техническая школа (с 1963 г. — Технический университет) в Дрездене, где Клемперер преподавал с 1920 г.

ваться в газетах?? Да все будет в дефиците — и издатели, и типографии, и т. д. и т. п. Съежившаяся Малогермания[1] станет убогим аграрным государством, лишенным самостоятельности и какого бы то ни было шанса восстать из пепла.

Воскресенье, утро, 5.8.45

Если слушать радио, кажется, что коммюнике — вещь весьма безвредная и гуманная: о Кенигсберге, о западных границах Польши не говорят ни слова.

Вчера берлинский театр выступил с воззванием к частным лицам: примем в дар или возьмем на время и перепишем любые пьесы — из мировой классики, рекламовский томик[2] или крупноформатное издание, что угодно — партитуры всех сортов... В рубрике "Вы спрашиваете — мы отвечаем": "Нет, уважаемая фрейлейн, пока нет возможности печатать газеты такими тиражами, чтобы экземпляров хватало на всех". Родственники, соседи, друзья должны выручать друг друга, газеты следует вывешивать в общественных местах...

А я-то надеялся, что смогу публиковать книги и исследования по моему предмету, который теперь — предмет роскоши!

Радио — наша связь с миром, именно оно обеспечивает нам духовную подпитку — все остальное в дефиците.

Среда, 8.VIII 45, утром

Я мечусь и никак не могу принять решение. Хочется присоединиться к самому левому крылу КПГ, хочется быть за Россию. А с другой стороны: свобода, вот чего я хочу[3]!

Сегодня по радио только и слышишь, что про *атомную бомбу*[4], первые новости о которой появились вчера.

1. Отсылка к "Великогермании" — неофициальному названию нацистской Германии, введенному в обиход после аншлюса Австрии в марте 1938 г. и активно использовавшемуся в пропаганде. Само противопоставление "Великогермании" и "Малогермании", в свою очередь, берет начало в XIX в., когда активно обсуждался вопрос объединения множества разрозненных немецких государств в единую Германию.
2. Рекламовский томик — имеются в виду книги из серии "Универсальная библиотека" издательства "Реклам", печатавшего с 1867 г. классические и современные литературные произведения, научные тексты, философские трактаты и оперные либретто. Благодаря скромному оформлению книги стоили недорого.
3. Freiheit, die ich meine... — первая строка из стихотворения Макса фон Шенкендорфа, написанного в 1815 г. и впоследствии положенного на музыку. Песня входила в корпус немецких патриотических текстов, изучалась в школах.
4. 6 августа 1945 г. американская авиация сбросила атомную бомбу на Хиросиму.

Вторник, перв. пол. дня, 14.8.45

По радио почти ежедневно звучат советы огородникам, огород неизменно упоминается в таких программах, как "Пульс Берлина", "Трибуна демократии" и "Что следует знать". Фраза для лекции про LTI: "От Третьего рейха к Четвертому = От войны к грядке".

Вторник, перв. пол. дня, 28.8.45

...Приходил Зайдеманн[1] с женой и маленькой дочкой. Хотел подарить мне томик Закса-Виллата[2], который приобрел за 25 М. Я подарок не принял – может быть, я куплю эту книгу для роман. семинара[3] за казенные деньги. В свою очередь, мы отдали Зайдеманнам часть посудных залежей, которые достались нам в наследство от Бергера и громоздились на полу. Понятие собственности стерлось напрочь. Ты все потерял, тебя ограбили, а теперь ты сам конфискуешь, хватаешь все, что плохо лежит, но, по большому счету, тебе безразлично, иметь или не иметь. "Ты" – это и я, и окружающие.

Есть определенная выгода в том, что в Дёльцшене я своего рода аксакал и выступаю как уполномоченный и посредник между коммунистами и гражданскими. В настоящий момент, например, я пытаюсь свести жилищное управление и КПГ (Шольца и Зайдеманна), чтобы в угольном управлении получить кокс вместо выдаваемых частным лицам угольных брикетов.

Пятница, утро, 7 сент. 45

Угольный вопрос. Если мы получим уголь, сможем протопить весь дом и поселим у себя Рашей. На угольное управление приходится воздействовать через управление жилищное, на которое (Шольц), в свою очередь, давит Зайдеманн (КПГ). Вчера вечером я ходил в связи с этим делом к Зайдеманну – мы долго беседовали. Как трудно находить общий язык, когда собеседники из разных социальных слоев. Пробираешься на ощупь, ни в чем не уверен, никогда не знаешь, искренен ли собеседник, не смутил ли ты его, ничему не доверяешь, играешь бог знает какую роль. Зайдеманн – уже не "народ", не член КПГ поточной штамповки, он поднялся выше и взирает с некоторым скепсисом на свой слой и свою партию, которых он, однако, плоть от плоти.

1. Один из местных руководителей КПГ, с которым Клемперер поддерживал хорошие отношения.
2. Расширенный немецко-французский словарь.
3. В филологической сфере семинаром называют подразделение университета, приблизительный аналог "отделения" в России.

В первой половине дня. По радио — доклад о Гитлере-архитекторе. Важнейшая деталь для LTI: сплошная превосходная степень. Героический пафос. Ни намека на связь с готикой, а ведь это доказательство "не-немецкости". ОН приделывает колонны сзади и спереди на "Дом немецкого искусства" в Мюнхене: тот должен стать храмом, а какой храм без колонн. Галерею Рейхсканцелярии строят на несколько метров длиннее Версальского дворца, скульптурную группу всадников для берлинского стадиона *проектируют* аж восемнадцать метров в высоту. Превосходная степень и "рекорд, рекорд, рекорд!" (А это американская черта!) Герои, которых он велит рисовать и ваять, должны быть силачами, "все в мускулах". <...> Берлинская пресс-конференция дает единое название новым веяниям в строительстве, живописи и т. п. — *немецкий стиль.* Ему противопоставлено "дегенеративное искусство" (которое докладчик оценивает только как стадию поисков и экспериментов).

Понедельник, перв. пол. дня, 10 сент. 45

Внизу, на Хемницер-плац и на Плауэншер-ринг, висит плакат: "Фрау Мюллер, вы уже слышали? К нам идут американцы. Два года никому не дадут жениться. Если бы мы продержались еще хоть денек, тогда *мы* бы сбросили первую атомную бомбу, и тогда *мы* бы стали победителями! Фрау Мюллер, неужели вы *настолько* глупы, что не видите: подобные слухи распространяют нацисты, чтобы посеять смуту?!" Это воззвание неверно лишь в том отношении, что возлагает вину за появление слухов на одних нацистов. А ведь слухи возникают *везде*, отражая сокровенные мечты людей, и им *везде* верят: даже Винде[1] считают, что между США и Россией вспыхнет новый раздор и русские отдадут Саксонию. При этом Винде (и с недавних пор многие другие) надеется, что Дрезден займут *англичане* (обмен: Дрезден — англичанам, Гамбург — русским!). Считается, что американцы грубы, заносчивы и ничем не лучше русских, а вот англичане — настоящие друзья человечества. Таковы новейшие веяния в наших краях.

Воскресенье, перв. пол. дня, 16.9

Москва транслирует пышные торжества в честь *Кутузова*[2]. Разумеется, Кутузова представляют как освободителя России и,

1. Элизабет и Артур Винде — знакомые Клемпереров. А. Винде в 1918—1934 гг. был профессором в дрезденской Высшей школе прикладных искусств, затем уволен по политическим причинам; в 1945—1949 гг. работал в Дрезденской академии художественных ремесел, затем в Мюнстере.
2. В 1945 г. отмечали двести лет со дня рождения М. И. Кутузова (1745—1813).

таким образом, предшественника генералиссимуса Сталина – но все же как царского маршала и полководца. Сверх того – как бы Зайдеманн ни гневался, а гигантский портрет Сталина в военной форме с орденами висит на Альбертплац, кругом парады и прочая милитаристская помпа союзников – что в газетах, что по радио: вот так выглядит немецкий антимилитаризм, так осуществляется "перевоспитание" (Umerziehung) (LQI).

Понедельник, утром и позже, 24.9.45

Закон союзников, "направленный на пресечение и профилактику милитаристской пропаганды в любой форме на территории Германии", столь же суров, сколь и растяжим (и это не может не пугать). Один из параграфов гласит: запрещены "лекции, фильмы, театральные пьесы и радиопередачи о военных действиях, прославляющие воинские и подобные качества немецкого народа, отдельных войсковых подразделений или частных лиц (sic)". Применить этот закон можно *буквально* к чему угодно. А за нарушение грозит "любое наказание, включая смертную казнь, по усмотрению суда" (военного суда союзников).

Пятница, перв. пол. дня, 28 сент. 45

Я должен подготовить доклад для Профсоюза учителей. Дней 14 назад я получил письмо от шульрата[1] Заксе: он-де представляет учителей внутри всеобщего "свободного профсоюза" (?) и желает узнать, соглашусь ли я прочесть дрезденским учителям лекцию о том, какая наука больше всего пострадала от нацизма. <...> Я поговорил с Форбригом – нынче он мой постоянный советчик. <...> Форбриг сказал: это очень хорошее дело, выступить непременно стоит. Аудитория – учителя всех ступеней: народной, средней и высшей школ. Каждая лекция будет прочитана трижды, каждый раз – человек триста слушателей. А тема предложена приблизительная, ее можно и переформулировать, и Заксе все равно будет доволен; мне стоит самому с ним поговорить, он, Форбриг, устроит нам встречу в понедельник (а может, это был вт.?) в десять часов утра на Меланхтонштрассе. Явившись туда, я обнаружил, что дверь Заксе осаждает кучка людей, которых вовсю тиранит грубиян швейцар. Я с достоинством попросил доложить о моем приходе, швейцар заартачился, я рявкнул, что ему придется за это ответить, он взревел, что сидел в концлагере и никому тут не позволит раздавать приказы – я ушел удрученный, так ничего и не добившись. (Неприятная сцена на глазах у учи-

1. Чиновник ведомства по делам школы.

тельской публики, которая меня отчасти знает. На его заявление, что он сидел в лагере, у меня вырвалась полуправда: “Я тоже!” Он: “Ну-ка скажите, в каком!” Тут я отступился.) Форбриг успокоил меня. Он передал мне от Заксе теплые извинения. Дескать, этот швейцар вечно устраивает мерзкие сцены. Он действительно узник концлагеря, нервы не в порядке, хамит посетителям, совершенно не годится для своей службы. Но КПГ не дает его уволить, другого места для него нет, а против КПГ беспартийный Заксе бессилен. <...>

В последние годы мне часто доводилось слышать о фильме, который якобы олицетворяет прогресс кинематографической техники: “Девушка моей мечты”[1]. Ева, помнится, все мечтала его посмотреть, но не хотела идти одна, а мне вход в кинотеатры был запрещен. Теперь этот фильм снова на экранах, но нет времени. Ведь на просмотр придется убить целый вечер. Наконец Е. сказала трогательно, что раз кругом всё чествуют “жертв фашизма”[2], просмотр фильма будет нашим личным праздником: впервые мы снова вместе пойдем в дрезденский кинотеатр. <...> Цвета оказались очень насыщенные и ясные, но сам фильм разочаровал. Пустое, до дыр затасканное ревю, оперетка в пышных декорациях. Героиня — звезда, певица, акробатка и танцовщица — подражает Заре Леандер[3], но сама из себя ничего не представляет. Марика Рёкк[4]. Декорации, изображающие горный пейзаж, — размалеванная картонка. Танцы в стиле театра “Монополь” до 1914 года (канкан), приключения в цирковом и американском стиле. Никакого прогресса. Содержания нет, да и играть там нечего.

Воскресенье, 30 сентября 1945, утром

Вчера в половине первого колонна под красными знаменами стартовала из Дёльцшена, от гостиницы. На праздник “жертв фашизма”, проводившийся на Карл-Маркс-плац (già[5] Вильгельмплац; однажды я слышал в трамвае, как девушка негодовала: “Еще ладно, если бы она называлась Гитлерплац! Но Вильгельм-то[6] что им сделал?” Vox populi — voces populi[7]).

1. Фильм, снятый немецкой студией “УФА” в 1943/1944 гг.
2. Начиная с 1945 г. во второе воскресенье сентября празднуется День памяти жертв фашизма.
3. Актриса и певица шведского происхождения; в 1937–1943 гг. блистала в фильмах студии “УФА”.
4. Марика Рёкк — танцовщица, актриса и певица венгерского происхождения; звезда многочисленных ревю.
5. Бывшая (*итал.*).
6. Вильгельм I (1797–1888) — немецкий император (с 1871 г.) и король Пруссии (с 1861 г.).
7. Глас народа — гласы народа (*лат.*).

<...> *Я* (в отличие от Е.) *впервые* в жизни участвовал в подобном шествии. <...>

Продовольственное управление отказалось выдавать Е. карточки для занятых на тяжелых работах. Теперь Зайдеманн, к которому я зашел позавчера, в вечерний час, когда у нас обычно отключают электричество, черкнул пару строк в это ведомство, что-то насчет "жертв фашизма". Если нас зачислят в их ряды — а Зайдеманн говорит, в этом нет ни малейшего сомнения, — мы получим определенные льготы. Тем временем по берлинскому радио в напыщенных выражениях толкуют о том, что немцы должны искупить вину перед кучкой уцелевших евреев (говорят, спаслось 5 % из полумиллиона). Может, для меня и выйдет из этого толк.

Пятница, перв. пол. дня, 5.X 45

С понедельника 1.X заработал местный пункт помощи жертвам фашизма. <...> Зайдеманн замолвил за меня словечко перед руководителем, который оказался его близким другом. Мне нужно "зарегистрироваться", тогда мы с Е. вновь получим и карточки для занятых на тяжелых работах, и другие льготы. Типичный случай: руководство поменялось; новая начальница, фрау Фрёлих, не соблаговолила меня принять, а велела передать через секретаря, что "жертвами" считаются *только* политические заключенные и активисты, а я могу обратиться за "социальным пособием" или подождать, пока откроется пункт помощи евреям".

Всюду господствуют личные интересы, всюду стремительнейшим образом меняются люди. Сегодня функционер, сегодня статс-секретарь[1], а завтра взлетаешь по лестнице вверх или кубарем катишься вниз.

Русские! Портрет Сталина на Альбертплац мог бы с таким же успехом изображать "Германа"[2]. Военная форма, ордена! Сюда же — рассказ пасынка Ноймарка: пьеса Цукмайера[3] "Ка-

1. Высокая должность, приблизительно соответствующая заместителю министра.
2. Германа Геринга, министра авиации и маршала в Третьем рейхе.
3. Карл Цукмайер (1896—1977) — автор пьес и рассказов. "Капитан из Кёпеника" (1930) — одна из его самых успешных пьес, основанная на реальной истории: в 1906 г. мошенник Вильгельм Фойгт, одевшись в форму капитана и запасшись фальшивыми документами, заставил отряд солдат-гвардейцев выполнять его приказы. Он явился в ратушу Кёпеника, арестовал бургомистра и главного кассира, а затем реквизировал городскую кассу и был таков. Арестован через десять дней в Берлине. История получила широкую огласку, появилось множество сатирических стихов и фельетонов на эту тему, и сам кайзер Вильгельм, узнав о произошедшем, якобы сказал: "Вот что значит дисциплина! Ни один народ мира не сможет за нами угнаться!".

питан из Кёпеника" была запрещена после того, как актеры уже выучили роли, и только за день до премьеры постановку все-таки разрешили. Причина запрета: в пьесе высмеиваются военные!

Тем временем на Лондонской конференции[1] дошло до открытого противостояния между русскими и их западными союзниками. Тем больше становится наша изоляция. Насчет *произвола* русских ни у кого уже не осталось сомнений. Это большая беда, потому что многие задним числом начинают оправдывать Гитлера.

Во вторник в перв. пол. дня заходил молодой Хаубольд, жестянщик. Он показал мне карандашом исписанный листок, который ему дала одна набожная женщина: что я, профессор, об этом скажу? Это было мрачное библейское пророчество, смутное и запутанное, в стиле Откровения Иоанна. Река течет с Запада на Восток... победитель с крестом на белом плаще... пред ним склоняются угнетатели... Женщина твердо стояла на том, что река — это Дунай, победитель — США, и они скоро прогонят русских. Я прочел небольшую лекцию о том, что корни подобных пророчеств теряются во тьме веков, толковать их можно как угодно, в тяжелые времена они всегда цветут пышным цветом, и необходимо просвещать темный люд, который в них верит. Хаубольд с жаром соглашался: на селе столько суеверий, дела у гадалок идут блестяще, они обменивают пророчества на продукты. Его собственной жене одна такая гадалка объявила, что он ей неверен, и поскольку ему по работе иногда приходится ночевать в городе, жена гадалке поверила.

10 октября 45, среда, утро

Я изо всех сил старался порадоваться своему вчерашнему дню рождения. Получилось не очень — дело мое попахивает сырой землей, сердце пошаливает. Но все же день рождения прошел совсем иначе, чем последние 12 лет.

Понедельник, утро, 15.X 45

Прекрасное осеннее пестроцветье в саду, нежный японский клен стоит в розово-красном убранстве — какой мир воцаряется на душе, когда наконец добираешься сюда, вырвав-

1. Лондонская конференция — 2 октября 1945 г. завершилось первое заседание министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции и Китая, но итоговый протокол так и не был составлен: по основным вопросам (например, по вопросу репараций) было достигнуто соглашение, однако насчет мирных договоров с союзниками гитлеровской Германии участники договориться не смогли.

шись из лежащего в руинах города и трамвайной толкотни. Но в доме холод и беспорядок — магазин все еще не разобран.

LQI как две капли воды похож на LTI.

Вторник, 16.X 45

Вчера утром — первая праздничная передача *Школьного радио.* Его будут транслировать каждый день в течение получаса во всех берлинских школах. Руководитель (who?) произнес блестящую речь, понятную детям 12—15 лет, интересную также и взрослым, не приторную, не сюсюкающую. Гуманизм, открытость миру: разные народы, разные расы, всюду люди. Вы познакомитесь с индейцами, узнаете, как они на самом деле живут! Сегодня — радиопьеса по сказке "Счастливый Ганс"[1]. А вот вчерашняя торжественная передача закончилась, увы, жиденькой хоровой декламацией.

Среда, утро (и позже), 17.10.45

18 ч. Всю вторую половину дня — гости косяком. (Печально: ведь каждого нужно угостить "ломтем хлеба" к кофе, а ломтей по-прежнему едва хватает самим, тем более Е. и Штайнингер, и Шварц отказывают в рабочих карточках.)

Понедельник, утро, 22 окт. 45

Тема для стихотворения à la Моргенштерн[2]: когда человек приходит в гости, он приносит (во всяком случае, должен принести) что-то к столу; точно так же пусть каждый гость приносит немного своего времени.

Первое, что я сделаю в ВТШ — повешу табличку: "Прием *только* здесь с... до..."

Впрочем, это самообман: в отсутствие гостей я тоже успеваю не так уж много; слишком мало сил, слишком много радио. Я совсем бросил читать; неспешные выписки из LTI — вот и все, что я делаю. Вечерами (когда обычно отключается электричество) я сплю или дремлю под музыку.

Зайдеманн направил по моему поводу жалобу в пункт помощи "жертвам фашизма". Теперь меня вежливо приглаша-

1. "Счастливый Ганс" — сказка братьев Гримм. За семь лет работы Ганс получил большой слиток золота, который обменял на корову, корову на свинью, свинью на гуся, а гуся — на оселок и камень. Когда он наклонился над колодцем, чтобы попить воды, камни упали вниз. Теперь Гансу не нужно таскать на себе такие тяжести — и он наконец-то счастлив.
2. Христиан Моргенштерн (1871—1914) — немецкий поэт. Особую популярность у читателей снискала его юмористическая лирика.

ют еще раз туда зайти. J'y vais[1] сегодня после обеда — не питая иллюзий.

Не питать иллюзий и при этом не слишком раздражаться — теперь моя основная линия поведения, чего бы ни касалось дело.

Вечером. С "жертвами фашизма" так ничего и не решилось. Некий герр Лёвенгаупт принял меня очень любезно, но, по существу, отказал. Дескать, ни в лагере я не сидел, ни политическим активистом не являлся. Еврейский же вопрос пока еще не улажен. Слабое утешение: мое ходатайство "учтут" — может быть, выдадут продуктовую посылку на Рождество. Но выделить Е. карточку для занятых на тяжелых работах снова отказались. А хлеб у нас на исходе.

Четверг, 8 ноя. 45, перв. пол. дня

Революционный праздник русских, 7 ноября 1917, заполонил все берлинско-лейпцигские передачи. Немцы лижут ж. русским, подчас (речь Христианского союза!) весьма затейливым образом. Вполне вероятно, что многое — и даже, наверно, большая часть — того хорошего, что говорится о русских, соответствует правде: гуманность, право, успех большевистского мировоззрения. Но мы постоянно сталкиваемся с нуждой, с управленческим хаосом, с каждодневными бесчинствами, с произволом некоторых комендантов, с официально узаконенными грабежами — и понимаем, что на самом деле все совсем не так, как говорят по радио. Отсюда — горечь и страх перед будущим.

Мороз по коже, как похожи LTI и LQI, советские и нацистские, новодемократические и гитлеровские песни! Это сходство прет отовсюду, с утра до вечера! В каждом слове, в каждой фразе, в каждой мысли... Русские демонстрируют самый что ни на есть неприкрытый империализм!

Воскресенье, ночь, 11 ноя. 45

Ева перемыла всю посуду и спит.

Холод, снег с дождем — дни распыляются в никуда, — люди идут и идут ко мне, и почти все просят помощи.

Рядом лежит письмо, которое стоило мне долгих раздумий, — весьма жесткий ответ на слезливое, неуклюже заискивающее послание фрау Хирхе[2] из Оберлёссница, Рудные горы[3]. Они-де увидели мое имя в списке членов Культурбун-

1. Пойду (*франц.*).
2. Семья Хирхе с 1920 по 1928 гг. жила по соседству с Клемперерами.
3. Горы на границе Саксонии и Богемии.

да[1] и *так* обрадовались, и *так* часто о нас вспоминали, и ведь я могу поручиться за ее Ганса, который до сих пор находится в английском плену... Если бы мне не довелось волею случая узнать, что он был майором в Генеральном штабе, и если бы я не услышал недавно по радио, что все члены Генерального штаба считаются военными преступниками, я, скорее всего, поддался бы на эту "дружескую" просьбу. Ответ, конечно, получился жесткий, но это своего рода самооборона. Если молодой Хирхе дослужился до майора в Генеральном штабе, он *должен* был быть политическим отличником и *должен* был знать, кому продает душу.

Суббота, вечер, 17 ноября 45

Зайдеманн, позавчера вечером долго сидевший у нас, настойчиво сватал меня в КПГ. Мое положение в этом плане коренным образом изменилось: я *должен* вступить в одну из четырех[2] партий, если хочу, чтобы меня воспринимали как жертву фашизма, а не как преследуемого по расовому признаку. Об этом новом предписании меня известил накануне *Шварц.* Нужно, чтобы три человека засвидетельствовали, что мы носили звезду. Мы со Шварцем поручимся друг за друга. В качестве еще двух свидетелей мы рассчитываем на Нойманка и Каца. Шварц, который высоко ценит Лёбена[3] (тот ему даже помогал), а также непримиримо настроен по отношению к русским и все надеется на приход американцев, вступил в Христианский союз.

Вторник, вечер, 20 ноя.

Бланки заявления на прием в КПГ лежат передо мной на столе. Я трус, если не вступлю (так говорит Зайдеманн); или я трус, если вступлю? Движут ли мною одни лишь эгоистические побуждения? Нет! Если в какую-то партию вступать все равно придется, эта — наименьшая из зол. По крайней мере, сейчас. Только КПГ действительно стремится к радикально-

1. Культурбунд, Культурный союз — массовая культурная организация, существовавшая в Восточной Германии с 8 августа 1945 г. по 1990 г. Основана по инициативе писателя Йоханнеса Бехера как союз творческой интеллигенции, радеющей о демократической реформации Германии.
2. В советской зоне в то время было четыре партии: коммунистическая (КПГ), социал-демократическая (СПГ), либерал-демократическая (ЛДПГ) и христианско-демократический союз (ХДС).
3. Макс Георг фон Лёбен — член Исповедующей церкви, которая противилась идеологической унификации протестантской церкви во времена национал-социализма. Лёбен пытался поддерживать евреев, которым грозила опасность. С 1946 г. — депутат городского собрания от ХДС и городской советник в Дрездене.

му искоренению нацизма. Но она же насаждает новую несвободу взамен старой! Впрочем, этого сейчас не избежать.

Может быть, я сажусь не на того коня? Мне в общем-то понятны заявления бывших ПГ[1]: "Больше ни в какую партию ни ногой! Хватит, один раз уже попробовали..." Но все-таки я, наверное, должен определиться с мастью.

Ева склоняется к тому, чтобы вступить, и я, по большому счету, тоже уже принял решение. Но иной раз все это кажется комедией: товарищ Клемперер! Кому товарищ-то?

Понедельник, ночью, 26 ноя. 45

Певица Ульрих рассказывает, что в Нойштадте на некоторых домах вывешены плакаты: "Долой КПГ!". Я буду среди коллег белой вороной, и может статься, что какой-нибудь студент пристрелит меня прямо на кафедре.

Пятница, рано утром, 30.XI 45

Позавчера я отдал наши заявления на вступление в КПГ Зайдеманну, и он спросил скорее всерьез, чем в шутку: "А не хотите, чтобы ваша жена осталась беспартийной — на случай, если все опять пойдет наперекосяк?" Я рад, что никто не может поставить мне в упрек, будто я прибился к победителям; настроения царят все более антикоммунистические, а в Австрии КПГ, ко всеобщему изумлению, потерпела сокрушительное поражение (всего-навсего 4 места в парламенте). Впрочем, бог его знает, какие последствия для нас будет иметь этот шаг. И вопрос, верное ли решение мы приняли, остается для меня открытым — как в эгоистическом, так и в идейном плане. Ева, в свою очередь, твердо верит, что в нынешних обстоятельствах КПГ — наименьшая из зол и вообще *так надо.*

Суббота, ночь, 1.XII (на самом деле, уже 2 дек. 0:30)

Целый день корпел над лекцией о нацсоце и науке.

Позавчера ко мне приходил давний ученик, которого я сразу узнал: Лубич. Ему лет сорок, и в лице еще сохранилось что-то от глуповатого, славного белокурого мальчишки, каким он когда-то был. В начале 20-х годов я завоевал его сердце отеческими нагоняями на семинаре. После я встречал его несколько раз, он стал штудиенратом и горел энтузиазмом. Звезд с неба не хватал, скорее крепкий педагог, чем ученый. Теперь же: "Герр штудиенрат, верно?" — "Был, герр профес-

1. Партайгеноссе, член партии (имеется в виду НСДАП).

сор". Женился рано, своего ребенка так и не увидел. Мать и полугодовалую малышку засыпало при бомбежке Лейпцига, девочка задохнулась. Сам он — лейтенант, "солдатская лямка мне по нраву" (то и дело ударяется в воспоминания: "мы с парнями..."). Два года был штудиенратом при Армейской школе (what's?). "Были в партии?". — "Ясное дело, приняли со 'Стальным шлемом'[1]". — "СА?" — "Конная рота СС, там я мог ездить верхом". (Там было меньше всякой сволочи...) "Но я вышел из СС уже в 43-м, из партии — в 44-м. Людей с золотыми партийными значками повышали по службе вперед остальных, меня это не устраивало". — "Существуют ли документы, существуют ли свидетели того, что вы вышли из партии?" — "Нет, все сгорело, все умерли или бог весть где... Мне теперь только за лопату браться". — "Вы даете мне честное слово, что вышли из партии?" — "Да, герр профессор". — "Если будете снова ходатайствовать, пишите, что я готов за вас поручиться".

Не знаю, поможет ли ему это; не знаю, *достоин* ли он помощи. Испытываю двоякие чувства. Я знаю Л. как приличного человека (non e un aquila[2], но парень славный). И все же: он должен, должен был знать, сколько лжи и сколько жестокости было в травле евреев у todo[3].

Понедельник, втор. пол. дня, 10.12.45

В субботу на заседании у Дёлицша[4] я снова попросил телефон и машину. Телефон мне пообещали, а насчет машины сказали: "Радуйтесь, что у вас ее нет. Всюду только старые машины, они постоянно ломаются, а запчастей к ним не найдешь. Да и на шоссе русские порой просто-напросто отбирают машины. А кто посмеет сопротивляться, того нынче без долгих уговоров пристреливают".

22 декабря 45, суббота, день

<...> Катастрофа последних дней: отопление. Оставленный Бергером кокс в конце концов иссяк. Теперь на кухне *необходимо* установить плиту, а от нее провести трубу. <...>

1. "Стальной шлем" ("Stahlhelm") — политическая и боевая организация, основанная в 1918 г. Ее члены, численность которых доходила в 1930 г. до 500 тысяч человек, исповедовали реваншистские и националистические настроения. В 1933 г. "Стальной шлем" присоединился к НСДАП.
2. Не орел (*лат.*).
3. И все прочее (*исп.*).
4. Клеменс Дёлицш — педагог, до 1933 г. и в 1946—1950 гг. председатель Дрезденского городского депутатского собрания.

Наконец я получил удостоверение, где сказано, что я "признан и зарегистрирован как жертва фашизма", а в придачу – огромный рождественский кекс и жестянку жирного мяса – рождественский подарок. <...>

Из прекрасной синей ткани, которую летом я купил у Юнга за 100 М, молодой Андерс, сосед и портной Зайдеманна, взялся за 75 М сшить костюм. Это будет самый дорогой костюм в моей жизни.

Среда, утро, 26 декабря 45

Я думал, Рождество в этот раз будет вызывать у меня особый трепет – какая разительная разница с Рождеством 1944! Но в последний момент мне изрядно подпортили настроение. Фрейлейн Вайдель, уроженка наших мест, сотрудница Немецкой библиотеки в Лейпциге и посланница Труде Ольманн[1], принесла мне (хватило всего-навсего удостоверения КПГ!) Линдена[2]. "Вы написали статью для 'Фольксцтг', да, герр проф.? Мой отец сразу сказал: это вы, вы и никто другой". Позже пришел рождественский номер, и я своими глазами увидел этот подарочек – "Прыжок через бездну". Некая Герланд рассказывает об известном ученом: Мучман[3] вышвырнул его из университета по причине расовой принадлежности, а теперь он занимается 18ième [4] и LTI – так он сам себя титулует, весь рассказ от первого лица. "Я сидел в тюремном подвале. С лица то и дело приходилось смахивать мокриц, пауков и многоножек..." Целый абзац в подобном стиле, списанный, вне всякого сомнения, из какого-нибудь бульварного романа! В Дрездене наверняка найдется не меньше сотни человек, которые решат, что это я, хотя мое имя и не названо. Для них я предстану в нелепом, просто каком-то невозможном свете. Что подумают обо мне и без того враждебно настроенные профессора ВТШ, как мне, ответственному за ВН[5], защититься от этой

1. Труде Ольманн – жена торговца произведениями искусства, сотрудница Немецкой библиотеки в Лейпциге, знакомая Клемпереров с тех пор, как они жили в Лейпциге в 1917–1918 гг.
2. Вальтер Линден – германист, автор "Истории немецкой литературы", вышедшей в 1937 г. и выдержанной в нацистском ключе. Клемперер хотел ознакомиться с этой книгой для исследования LTI и в ноябре 1945 г. отправил соответствующую просьбу Труде Ольманн и ее коллегам. Ему пообещали прислать книгу, но только по предъявлении официального разрешения.
3. Мартин Мучман – партийный деятель НСДАП, рейхсштатгальтер Саксонии (1933–1945). Именно он подписал приказ об увольнении Клемперера с преподавательской должности. В 1945 г. арестован, в 1947 г. казнен в Москве.
4. 18-тый [век] (*франц.*).
5. Высшая народная школа – учебное заведение дополнительного образования для взрослых. Высшим учебным заведением, вопреки названию, не является.

брехни? Если я потребую публичного опровержения, испорчу все окончательно. Не знаю, что делать. Хочется говорить об этом с каждым, кого встречаю. Но пока что я побеседовал только с Зайдеманном. Он прочитал эту писанину, тут же меня узнал и правда поверил, что я сам все это написал, просто изобразил свои страдания "несколько причудливо".

Впрочем, сам рождественский вечер прошел очень славно. Впервые за много лет я сделал Еве подарок. Две гравюры Хануша[1], два тяжелых молотка, неподъемный лом (я с трудом дотащил его до дома из мастерской местного кузнеца — сердце весьма болезненно откликается на мои радости). И саженцы рододендрона в придачу. А поздно вечером мы пошли на ужин к Вольфам. <...>

По радио в невозможных количествах транслируют благочестивую рождественскую музыку, а также евангелические и католические богослужения. Очевидно, Россия изо всех сил старается подчеркнуть, что толерантно относится к религии.

Зато уже несколько недель как пропала утренняя гимнастика. И когда я захотел пригласить в ВН доктора Каца как специалиста по спортивной гигиене, Дёлицш сказал, что союзники запретили *любой* спорт. Я постоянно задаюсь вопросом: возможно ли таким образом, усугубляя милитаризм, добиться настоящего, духовного разоружения Германии?

Из-за всего этого — и из-за схематичной жестокости "чисток" — я чувствую, как колеблется почва под ногами. Однажды вспыхнет мятеж против союзников и начнется гражданская война.

Никак не могу разобраться в собственном отношении к Боженьке. *Мне* он помог невероятно. Но как же миллионы других? Благодарность в таком случае равна эгоизму... Впрочем, воцерковленная вера делает счастливыми миллионы людей.

Понедельник, 19 ч, 31.XII 45

Я сказал в разговоре с фрейлейн Берндт, что *сегодня* обладаю некоторой силой, но никто не знает, буду ли обладать ею завтра. Я чувствую, что почва под ногами колеблется. Это и есть мое главное новогоднее ощущение.

И все же: уходящий год! Самый сказочный год в моей жизни.

Праздновать мы пойдем к Вольфам.

1. Карл Хануш (1881–1969) — немецкий художник и график, много лет живший и творивший в Дрездене.

1946

Четверг, вечер 20.30, 1 января

Ева уже легла, да и во второй половине дня спала долго, и я тоже скоро закругляюсь. Вчерашнее новогоднее застолье у Вольфов длилось до 3 часов ночи, пили много, при этом было не сказать чтобы совсем скучно, но и не очень весело. Ева так утомилась (к тому же в последнее время ее снова мучает опущение желудка), что с ней случился небольшой обморок.

С утра и по сю пору на улице метель, мороз. Не лучшая погода в нашем положении, когда не хватает ни угля, ни места. Мы ютимся в одной комнате, маленькая железная печка жрет много, но не всегда справляется с размерами комнаты и уличным морозом. Мой письменный стол стоит возле окна на террасу и неработающей батареи центрального отопления. На кухне внизу холодина, и бог знает, когда же мы наконец установим плитку, о которой так давно мечтаем.

Ко мне приходил молодой человек (18 лет). Абитуриент в Плауэнской старшей школе, раньше служил на флоте. Ему задали сочинение по теме "Демократия": он не знает, как подступиться, не мог бы я ему помочь. Мы поговорили, завтра после обеда продолжим. Я постепенно становлюсь патриархом Дёльцшена. И посредником между КПГ, интеллигенцией и буржуазией. <...>

Пятница, 4 января 1946, утром

Удивительно, что и КПГ, и СПГ ставят во главу угла "немецкость", немецкое единство, в сущности — национализм. Вчера в Берлине прошли торжества, посвященные 70-летию Вильгельма Пика[1] (ныне почетного гражданина Берлина, а в 1918 году — члена и одного из основателей "Спартака"[2]!!). Все, в том числе он сам, произносили национал-патриотические речи, член СПГ Дарендорф даже — слегка сбившись — обмолвился о "кровном единстве", feu Адольф Гитлер был бы доволен.

Из LTI задним числом всплывают новые слова: один из допрашиваемых в Нюрнберге то и дело упоминает ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ("Endlösung"), касавшееся евреев, — имеются в виду газовые печи. Все та же линия: люди как сырье, вещи. Докладчик утверждает: "это чудовищное слово"

1. Вильгельм Пик (1876–1960) — немецкий политик, коммунист, один из основателей КПГ. В 1949–1960 гг. занимал пост президента ГДР.
2. "Спартак" — политическое объединение марксистского толка, выделившееся в 1914 г. из СПГ и проповедовавшее идеи мировой революции. В 1919 г. на основе "Спартака" была учреждена КПГ.

в широком ходу. В показаниях говорится, что один из тех, кому поручили исполнять приказ, пришел в ужас. “Не будьте сентиментальны!” — заявили ему. Вот она, эта базовая установка — “сохранять твердость”, — опираясь на расовый принцип, на нордическую мораль. LTI.

Ужасная усталость, постоянно что-то отвлекает от работы, речь для ВН не продвигается. И как же тесно в *одной* комнате.

Еще одна причина для расстройства — кот. Похоже, он слепой — огромные зрачки и неточные движения. Часто пачкает в комнате — мы его жалеем, но впору прийти в отчаяние. На “окончательное решение”, однако, вряд ли решимся.

Рабочих не хватает — плиты на кухне по-прежнему нет.

Воскресенье, 20 января 46, вт. пол. дня

В минувшую среду вечером — мороз, огромная луна, сверкающий заснеженный пейзаж, фантастический вид на долину и на башни Бегербурга — там же, в Бегербурге, политическое собрание. Товарищ Либерманн из новостного агентства. Разругал на все корки тех, кто распространяет слухи, приписывающие русским всякое непотребство, ждет лучшей доли от Запада и треплется о войне между США и Россией.

В тот же день я услышал от фрау Шмидт: “Это правда? Я так боюсь за нашего мальчика в Йене! Правда, что в Йене беспорядки и американцы уже вошли в город?” Чуть позже, во время дискуссии (все говорят по-немецки безграмотно, но никто не стесняется; “все” — это человек тридцать, усевшиеся в кружок вокруг докладчика и мерзнущие в неотапливаемом зале), тема войны тоже то и дело всплывала: кто-то слышал, будто в английскую зону стягивают танки; другой видел здесь, на берегу Вайсериц, что-то вроде траншеи, которая, впрочем, оказалась попросту стоком.

Воскресенье, вт. пол. дня, 27.I 46.

Временами очень down: усталость, сердце, подвешенное состояние, сильнейшее ощущение vanitas vanitatum[1]. А потом снова — мощный подъем, счастье, оттого что вновь созидаешь, вновь уважаем. <...>

Сегодня утром — *“ты”*-прогресс. Кроме Гуте[2], подключилась его немолодая секретарша фрау Маттаух (?), а также *фрау Бланке*, которую я встретил по пути. Она из СПГ, правая рука

1. Суета сует (*лат.*).
2. Херберт Гуте — писатель и педагог, занимался художественным воспитанием, во времена национал-социализма сидел в концлагере, после войны занимал высокие административные и преподавательские посты.

Хеннига, ученица Герига, наполовину еврейка. Мы подружились. Она тоже новенькая в рабочей партии и тоже стесняется "тыкать" окружающим (как и ее муж, с которым я не знаком), но с коммунистами у нее это получается лучше, чем с однопартийцами. Она явно испытала облегчение, когда я первый перешел на "ты"...

Распространение этого "ты" по-прежнему представляется мне довольно комичным. Недавно я пробормотал себе под нос: *справа пролетарий, слева пролетарий, посередине – дитя света*[1]. А в полный голос твержу: австрийский офицерский корпус весь на "ты", и среди венгерской знати "вы" вместо принятого "ты" звучит оскорбительно и влечет за собой чуть ли не дуэль. И повторяю снова и снова: когда рабочий говорит мне *ты*, я счастлив — когда говорили гестаповцы, я приходил в бешенство.

Еще чудесная деталь насчет "ты": я позвонил в окружное управление КПГ Шварц, которая поддерживала меня по вопросу зарплаты в ВН и соседствует в Бюлау с Грютнером. Я обратился к ней на "вы". В ответ: "Для меня ты товарищ Клемперер, будь ты хоть сто раз профессор!" Я: "Всегда рад!"

Воскресенье, перв. пол. дня, 3 февраля 46

От Культурбунда пришло приглашение на "дрезденскую премьеру" советского фильма "Веселые ребята" в немецком переводе, "Союзинторг-Кино", во "Дворце Фавна"[2]. В час двадцать дня. Изнурительная поездка <...> — большое разочарование. Дурацкая, донельзя американская комедия 33-го года, на исцарапанной пленке, по-русски (только кое-где были наклеены немецкие слова). <...> Американские шуточки — здесь кого-то толкнули, там кого-то пнули, — да еще с типично большевистским перебором (труппа едет на катафалке).

Все эти американизмы перемежаются прекрасными, затейливыми русскими песнями. <...> В кино нам пока что не везет — а ведь я так скучал по фильмам! Нашей самой большой страстью остается радио.

Поездка в Берлин на съезд КПГ 4—6.II 46 (записано 7—10.II)

Пять судеб в одной машине: водитель, очень молодой, очень осторожный, осмотрительный во всех отношениях

1. Парафраз стихотворения Гёте "Обед в Кобленце" (1774): "Справа пророк, слева пророк, посередине – дитя света" (игра слов: пророк – Prophet, пролетарий – Prolet). Герой стихотворения сидит за обедом между философами Лафатером и Базедовом, рассуждающими на высокие темы, а сам думает лишь о еде.
2. "Дворец Фавна", "Faunpalast" – один из крупнейших дрезденских кинозалов.

(при этом непрерывно дымит); был летчиком на Сицилии, сбит и ранен в голову (заметная ямка на виске).

Рядом с ним *Гуте*, лет сорока с небольшим. Изначально график, в основном самоучка. Очень образован, очень энергичен. Его трижды — через некоторые промежутки времени — "забирали", он сидел в тюрьме по обвинению в "подготовке к государственной измене". Ныне — министериальдиректор[1], фактически (в результате последних нововведений) во многих отношениях могущественнее Менке-Глюкерта[2], так как многие решения проходят через Фишера[3] (2-й президент, КПГ) и Гуте, минуя Менке-Глюкерта (впрочем, тот по-прежнему держит в своих руках сакс. высшие учебные заведения).

На заднем сиденье, притиснувшись друг к другу: Клемперер, Грундиг, Лаукс — Гр. ютится в середке. Моя судьба известна. *Грундиг:* художник, 45 лет, седой как лунь. Старый коммунист, тюрьма, концлагерь. Его жена, Лея Лангнер-Грундиг, тоже пишет картины, еврейка. Получила разрешение на выезд, уже находясь в тюрьме, но только при условии, что разведется с мужем. Они развелись, она отправилась в Тель-Авив. Он прочитал в немецком новостном листке, который напечатан в июле в Лондоне, что там с большим успехом прошла выставка Леи Грундиг. Он ждет ее, и брак будет считаться действительным — ведь к разводу их принудили! — но пока она даже не знает, что он жив. Был в концлагере. В конце 44-го из узников составили батальон, который на скорую руку обучили и отправили на восток, под начало деградирующих вермахтовских офицеров. Этот батальон бросили на борьбу с партизанами, но с помощью местных деревенских жителей — "те сразу почуяли, с кем имеют дело!" — они вышли на связь с бандами; тут нежданно-негаданно их перебросили на русский фронт под Будапешт, где они тут же перешли на сторону противника, прихватив оружие ("Несколько офицеров тоже улизнули"). Грундиг побывал в Москве, подвизался в тамошнем клубе — свобода, прекрасная кормежка, прекрасные впечатления, возможность рисовать. Теперь назначен ректором Академии. <...>

У Лаукса судьба самая бесхитростная. Ему лет 50. Журналист из Дармштадта, писал о музыке, считался антифашистом, так как был слишком современен, сподвижник Хинде-

1. Высокая административная должность в Германии.
2. Эмиль Менке-Глюкерт — историк; с 1926 г. почетный профессор ВТШ, в 1933 г. уволен как политически неблагонадежный, с 1945 г. — статс-секретарь в Земельном правительстве Саксонии.
3. Курт Фишер при формировании Земельного правительства Саксонии был назначен заместителем президента Рудольфа Фридриха.

мита[1], перебрался в Дрезден, устроился в дрезденские NN[2], где и продержался все эти годы, так и не сделавшись ПГ. 13.II они с женой так обгорели, что лежали в больнице до июня. Теперь референт по музыке и театру у Гуте, так же как и Кречмар.

Ехали мы долго, сидели тесно и постепенно сдружились; коммунистическое "ты" – с которым я опрометчиво обратился и к Лауксу, хотя он пока еще не в партии, так как боится прослыть оппортунистом, – этому изрядно поспособствовало. <...>

В колонне четыре машины, всего, значит, 16 участников, не считая водителей, среди них пара иногородних. <...> Маршрут пролегал по шоссе. "Четыре машины – это уже не так опасно, а иначе никак – нападут, пристрелят". Шоссе выглядит уныло, но более или менее приведено в порядок. Только иногда на обочине попадаются разбитые машины – гражданские и военные. Ландшафт совершенно лысый, жилья нигде не видно. Дороги я не знал. Пару раз пробивало колесо, приходилось возвращаться за помощью. Во время этих вынужденных остановок все, не стесняясь, справляли нужду. Только когда мы подъехали совсем близко к Берлину, ландшафт начал меняться, замелькали населенные пункты. В Грюнау[3] кусок шоссе погребен под илистой лужищей; машина с трудом проехала вброд. Разрушения не так уж велики, показалось мне в тот день. Конечно, они есть. Примерно как в Мюнхене. Но с Дрезденом не сравнить. Утвердился я в этом мнении и в среду, когда мы попали в центр. Гуте и Грундиг со мной не согласились: здесь мрачнее, чем в Дрездене. По-моему, дело вкуса: Берлин жив, Дрезден умер.

В доме КПГ в Панкове каждый получил адрес размещения и большой пакет еды (две большие порции хлеба, немного масла, колбасы, сыра и *20* сигарет, которые я отложу для Е.), а также два талона на обед. Затем мы поехали туда, где проходил съезд – актовый зал школы им. Листа в Нидершёнхаузене[4]. <...>

Во вт. 6.II в 16 ч. съезд завершился. Нас, приезжих, снова накормили – на этот раз, правда, жиденьким супчиком. В 12 ч. я встретился с Лауксом, Грундигом и скульптором Лангне-

1. Пауль Хиндемит (1895–1963) – немецкий музыкант; его творчество нацистская критика относила к "дегенеративному искусству". В 1938 г. покинул Германию.
2. "Neueste Nachrichten", "Последние новости" – название газеты.
3. Район Берлина в округе Трептов-Кёпеник.
4. Район Берлина.

ром (?), — ковыляющим на костылях великаном, который очень почтительно относился к моему senilitas[1], — и мы отправились в ближайший кинотеатр. “Они повстречались в Москве”[2] — русский фильм с синхронным переводом. Сюжет бесхитростный, но как пропагандистский фильм сделан блестяще, и актеры играют превосходно. К тому же любопытен с культурно-исторической точки зрения. <...> Но самое интересное — это пропаганда свиноводства. Напрашивается сравнение: у нас на радио сейчас все заполонило “новое крестьянство” (LQI!) и сельское хозяйство.

<...> Много я увидел или мало? Как посмотреть. <...> Но картинка все-таки сложилась. <...> Конечно, “Линдхен”[3], Вильгельмштрассе[4] и огромные площади выглядят довольно зловеще, конечно, на некоторых улицах ни одного целого фасада, все обгорели, обрушились — но в общем и целом впечатление прежнее: скорее Мюнхен, чем Дрезден, нет тотального разрушения. Дрезден прибраннее и потому светлее — как кладбище, за которым хорошо ухаживают; в Берлине щебень и кирпич валяются прямо на улицах, где живут люди и ездят машины, и жизнь это мрачная, но — жизнь.

Суббота, втор. пол. дня, 23 февраля 46

<...> Перед весьма посредственной передачей “Отдохни от забот” я репетировал лекцию “Культура — цивилизация”, которую набросал еще 18.I для Вальденбурга, но так и не прочел ни там, ни где-либо еще, так как каждый раз не было машины. Сегодня в 19 ч. должна — должна! — прийти машина, которая отвезет меня на агитмероприятие местного отделения партии в Большой Вайнбёле, которое устраивает КБ[5] в 20 ч. <...> Янни, тамошний молодой политический активист, согласился [предоставить машину] без долгих разговоров и сам заедет за мной в 7 ч. Verdremo[6]. Кроме того, Янни внушил мне надежду, что в Вайнбёле я смогу пособирать картошку. Это было бы очень кстати.

Омерзительная холодная погода, метет снег. По радио предупреждают: из-за ветра возможны обрушения развалин.

1. Преклонный возраст (*лат.*).
2. “Свинарка и пастух”.
3. Унтер-ден-Линден, центральная улица Берлина.
4. Одна из центральных улиц Берлина, на которой располагаются многие правительственные здания.
5. Культурбунд.
6. Посмотрим (*итал.*).

Вторник, утро, 26.II

С лекцией опять ничего не получилось. Ответственный за пропаганду в Вайнбёле расстроен – все старания насмарку, в огромном зале, который вмещает сотни людей, всего пара десятков слушателей. Мысли об отмене. Epurre[1]. Очень хорошо выступали музыканты, трио, певица. Совсем юная девушка декламировала Шиллера и Гёте на редкость выразительно... Я поставил стул прямо перед слушателями (на сцену забираться не стал) и говорил примерно $^3/_4$ часа.

<...> В машине ехал с Янни и его молодой женой. Янни оказался не так уж "молод", 47 лет, торговец с некоторым образованием, страстный левый. <...> Янни сказал: главная преграда между рабочими и интеллигенцией – *язык*. "Рабочие каждую секунду говорят 'жопа' и 'дерьмо'". Я: "А если мы примемся делать то же самое, будет звучать неестественно и притворно – и только усугубит недоверие".

Дрезден, 25.III

В чт. в перв. пол. дня 21.III молодой Ханевальд повез меня на радио. Особняк на Тиргартенштрассе. Кругом стройка и ремонт, большой радиозал весь с иголочки, даже рояль есть. Всюду тянутся провода, перед чтецом стоит микрофон, который по молчаливому жесту включается, по жесту выключается. Один раз заходил рабочий – лента кончилась, пришлось устанавливать новую. (Я ничего не понимаю в технике, но Ханевальд пояснил: вас запишут на пленку, которую потом передадут на цензуру и, возможно, вырежут какие-то куски. <...>) Я читал отрывки из своей рукописи, которую русским пока еще не показывали. Говорят, они стали слишком суровы и подозрительны, непредсказуемы и невразумительны в своей цензуре. Особенно – после антироссийской речи[2] Черчилля в США. Ханевальд рассказал – и это не шутка, а чистейшая правда: русские забраковали прогноз погоды – "Зона высокого давления над Испанией, надвигается небольшая буря со стороны Англии". Испугались, что это можно истолковать политически.

<...> В голове крутилось еще перед Цигенбальгом и потом, по пути в Йену: "Рабочий в каждом предложении 3 раза говорит 'дерьмо'. Сделай я то же самое – он скажет, что я притво-

1. И все же (*итал.*).
2. 5 марта 1946 г. Уинстон Черчилль произнес Фултонскую речь, в которой говорил об опасностях дальнейшей экспансии Советского Союза, о необходимости с ним бороться и впервые употребил выражение "железный занавес".

ряюсь, снисхожу, — и доверять мне не станет. Если же я заговорю, как подобает ученому мужу, он скажет, что я высокомерен, считаю себя выше его, и доверять мне не станет все равно".

Вторник, втор. пол. дня, 2 апреля

Много горьких мыслей и переживаний — из-за сорвавшейся лекции в Плауэне. Дважды в ЗП[1] меня уверяли, что машина точно, совершенно точно, придет в субботу в 14 ч.; в Плауэне бургомистр Вайдхаас[2] забронировал для меня номер в гостинице, я был приглашен на вечер субботы и половину воскресенья, мне предстояло выступать в театре на 900 мест, обещали 300 М гонорара, сулили продукты; предполагалось также, что в Плауэн приедут Шернеры[3]... В субботу в 14 ч. никакой машины, конечно же, не было. В 15 ч. я позвонил в ЗП: никого не застал. Я попытался вызвать дежурное такси: внезапно поменялись планы, свободных машин нет и т. д. Я начал ругаться — не помогло.

Сама эта история — бог с ней, но больше всего меня огорчает собственная беспомощность, брошенность, отодвинутость на обочину. Никому нет до меня дела, моя мнимая важность — лишь иллюзия. Если я не смогу работать, ничего не случится, про меня забудут и найдут замену. Я больше не верю ни в возможный министерский пост, ни в лейпцигскую профессуру; меня мучает вопрос, потяну ли я хоть здешние свои обязанности. Мне *нужно* наведываться в город, даже если боли возобновятся. Пока я телепаюсь, хорошо. Но надолго ли меня хватит? И что будет с Е.? Пенсия, 26 М в месяц.

Очень горькие дни.

<...> Моя речь на радио так и *не* вышла, а раз Неделя культуры позади, значит, уже и не выйдет. Тоже обидно.

Среда, 10.4. перв. пол. дня

К LTI. У евреев есть одиннадцатая заповедь — единственная, которую они никогда не нарушают. Именно эта заповедь — причина всех их успехов и всех их мытарств. Она гласит: "Твой сын должен узнать больше, чем ты".

1. Земельное правительство.
2. Германн Вайдхаас — архитектор и историк искусства. В 1945/1946 г. — городской советник в Плауэне, в 1948 г. работал в Грайфсвальдском университете, где они с Клемперером снова встретились.
3. Ганс и Труде Шернер — друзья Клемпереров со времен, когда те жили в Лейпциге в 1917–1918 гг.; Шернеры поддерживали Клемпереров в марте-апреле, когда они были в бегах, и в июне 1945 г., когда они вернулись домой.

Среда, утро, 17.4.46

Весна. Кругом красота. Но... затылок, глаза, плечи, мучения при ходьбе, memento.

Вчера – вторничное заседание в ВТШ. Я насчитал: 24 коллеги. Старики, старики, старики. <...>

Главный вопрос: как относиться к новому берлинскому названию – "Технический университет"[1]. Хайдебрёк с горечью процитировал бестактную статью из "Тэгл. рундшау": смысл нового наименования в том, что теперь здесь будут обучать *людей*, а раньше в разных ВТШ – рассадниках военной инженерной мысли – взращивали "преступников". Возмущение Х. можно понять: почему у наших противников военная наука не запрещена и преступлением не считается?

Подспудная причина для разрушения и перестройки нашей ВТШ: якобы за границей ее боятся, *военный потенциал*... Долгое обсуждение. Против нового названия: былая слава нашей ВТШ; то и дело: "Они нас боятся" (с гордостью и надеждой! Настроение из 1918/1919!). Выхолащивание техники. Инфляция названий: cf.[2] академия и высшая школа – швейная академия, мельничная высшая школа, – Яненцки помянул даже "высшую народную школу". Опять contradiction in adjecto[3]; но и тут нет единого мнения. И большинство, в том числе я, *за* новое название, так как не хочется прослыть вторым сортом по сравнению с Берлином, потому что за границей "высшую школу" понимают неправильно, потому что в Англии говорят "Technical University".

Затем посыпались жалобы, никто не уверен в положении нашей ВТШ. У нее парализован хребет. А нам нужны инженеры, уже сейчас не хватает молодых специалистов. Нам нужна промышленность – сельским хозяйством могут прокормиться самое большее 2/3 населения. Впрочем, запрещенную тяжелую технику (*нам* запрещенную) русские производят у нас, руками инженеров-ПГ; в Берлине работают 100 дипломированных инженеров из числа ПГ, "Юнкерс"[4] выпускает авиационные двигатели, "не сбавляя оборотов"! По словам его превосходительства[5].

1. Высшая техническая школа в Берлине-Шарлоттенбурге вновь заработала в 1946 г. под названием Технический университет.
2. Ср., сравни (*лат.*).
3. Противоречие в определении (*лат.*).
4. Завод, выпускавший самолеты и самолетные двигатели.
5. Титул ректора высшего учебного заведения.

Воскресенье, перв. пол. дня, 20 апреля 46

Вечером Бехер рассказывал, как встречался в России с пленными офицерами: как с них постепенно спадал морок и они вновь начинали думать по-человечески. Его внимание привлек один генерал, который с самого начала ожесточенно бранил Гитлера. Гад! Свинья! и т. д., и т. п. Спустя некоторое время Бехер спросил, на чем основана его ненависть – его антифашизм! "Этот гад! Этот безродный, безграмотный тип! Моя дивизия под Петербургом в отличном состоянии и готова к штурму; у нас танки, боеприпасы, тяжелые орудия, все что угодно – я бы точно взял город. А этот сукин сын не соизволил отдать приказ к атаке!"

Суббота, перв. пол. дня, 4 мая 46

В среду 1.5 – майский праздник. Несколько бумажных красных флажков прислала община; Е. отыскала в гараже старую бергеровскую наволочку и выкроила из нее три вполне пристойных знамени. Так что дом наш украшен как подобает. В 8 ч. мы поднялись в деревню и присоединились к демонстрации, отправлявшейся от гостиницы до плауэнской ратуши. Затем вернулись домой, по пути видели другие колонны. Великолепная весенняя погода, Е., похоже, счастлива, радуется и за себя, и за нас обоих.

После обеда снова ходили к гостинице: концерт, речи – все прекрасно.

Пятница, вечер, 10 мая

Меня постоянно отвлекают: надо то идти куда-то, то принимать посетителей.

Все хотят письменных и устных ручательств для реабилитации, все реабилитированные хотят получить место в вечерней гимназии, каждый сделал для евреев что-то хорошее, каждый рассчитывает на мою помощь. Это отвратительно. И конца этому нет.

11 мая, суббота, утро, 1946

Гуте сказал мне на днях: "Машину-то тебе, может, и дадут, и бензин достать можно – но на шины не надейся. Мы уволили 15 шоферов, машины простаивают".

Шофер Гладевица[1] сказал мне вчера: "Через 3 недели нам конец. Мы сегодня отправили 20 машин. На голых ободах. А

1. Рихард Гладевиц – коммунист, в 1945 г. – первый секретарь Плауэнского окружного управления КПГ, с конца 45-го г. – руководитель Информационного отдела Саксонского земельного правительства.

потом они стоят никому не нужные на Кёнигсплац, ржавеют, гниют... Русский ничего нам не даст, он нас боится. Пригоняет тут один машину в мастерскую: “Сломалась!” На следующий день забирает, дивится, что все починили. И говорит в благодарность: ‘Немцы даже из дерьма могут пушку сделать!’”

Водитель ВНД[1] сказал мне недавно: “Зачем русские все демонтируют? Отдирают каждый выключатель, каждую дверную ручку. Почему бы им вместо этого не заказать нам миллион дверных ручек? Зачем они разбирают железнодорожные пути? Зачем восстанавливают фабрики — и снова их демонтируют?” (NB: вместо “демонтировать” говорят *увозить*, это аналог “забирать”. LTI–LQI.)

Повсюду среди рабочих — страх безработицы, разочарование в русских. КПГ приходится нелегко, на нее изливается гнев за все ошибки русских. Однажды песенка будет спета, вырастет новая НСДАП и опять начнется травля евреев.

Вчера с Грюцнером ездили к Гладевицу. СВА[2] чинит всевозможные препятствия ВНД. Мы должны быть *школой* и организовывать *курсы* в точности по берлинскому образцу. Запрещают лекции, бракуют названия. При этом огромную роль играет чисто языковое недопонимание. Курс естествознания разрешен. Заголовок: “О саксонских птицах” — возбуждает подозрения. За “Возникновением системы мира” видят философский подтекст и опасаются, что речь о фашистском мировоззрении. И т. д., и т. п. Ср. тот забракованный прогноз погоды: “Зона высокого давления над Испанией”. <...>

Вторник, втор. пол. дня, 14 мая 46

В воскресенье в перв. пол. дня с Е. — решено! — на выставку графики в Музей художественных ремесел, Дюрерштр. <...> Бальцер интересно рассказывал о нынешней моде живописать руины. Он сравнил это явление с культом развалин 18 в. Но тут есть существенное внутреннее различие: люди 18 в. воспевали не свои собственные развалины. Предаваться меланхолии под сенью руин чудесно, если этим руинам уже 1500 лет. Но когда разрушен мой, мой собственный дом... Тут скорее должны возникнуть мысли о том, как чудовищно всякое разрушение, как беспощадна новая весна.

1. Высшая народная школа Дрездена.
2. Советская военная администрация.

16 мая, четверг, вечер

Ева посадила сегодня 7 огурцов, 50 помидоров и штук 80 кочанного латука. У меня во втор. пол. дня было заседание КБ (литература) на Шиллерштрассе, автомобиль КБ привез меня домой только часов в 8.

Суббота, перв. пол. дня, 25 мая 46

Каждодневная мука — заниматься вопросами реабилитации. Я не доверяю никому и подозреваю каждого. На днях приходила женщина, глуповатая, малообразованная блондинка. Выяснилось, что ее муж был *тем самым* доверенным врачом[1] на Штернплац, который, несмотря на еврейскую звезду, обращался со мной дружелюбно и был изумлен, когда я рассказал, кто я по профессии. Теперь я должен это подтвердить — может быть, тогда ему удастся вернуть прежнюю должность, хоть он и ПГ с 33-го. Я пишу ручательство, и женщина достает кошелек: "Сколько я вам должна?" Я: "Вообще-то сейчас я должен бы отнять у вас ручательство и порвать в клочки". Она рассыпалась в извинениях, дескать, ничего плохого не имела в виду, и отбыла.

Вчера *Либхен* принес мне несколько книг с пьесами, которые одолжил ему Дост[2]. Либхен, l'homme qui rit[3] (как говорит Е.) — я уже пересекался с ним в ВТШ. Его наняли временно, рано или поздно снова уволят. Легкий ПГ-случай, вступил поздно, должностей партийных не занимал. Почему же он не займется реабилитацией? "Я не могу, как все, говорить, что я антифашист и сотрудничал вынужденно. Я верил в фюрера, даже в 1945-м я в него верил. Я ничего не знал о зверствах, об убийствах и о концлагерях, я правда ничего обо всем этом не знал!" Невероятно — но его искренность не вызывает сомнений.

При этом — сцена в трамвае 10.5 между Пост- и Альбертплац. На передней площадке — молодой человек, довольно обшарпанный, еврейского в нем ничего, разве что глаза темные. Он держит во рту — редкость! — настоящую сигару, не окурок, но не курит. Два голоса за моей спиной: "Еврей... Ну конечно. Н-да, если они сейчас вернутся... Опять торгашест-

1. Доверенный врач (Vertrauensarzt) — врач Медицинской службы больничных касс.
2. Георг Дост — с 1946 г. директор мужской старшей школы в Восточном Дрездене и глава Дрезденской школьной библиотеки.
3. Человек, который смеется (*франц.*) — отсылка к одноименному роману Виктора Гюго.

во расцветет!" Я видел, как они выходили. Молодые, белокурые, крепкого сложения — нацистский типаж.

Среди наших гостей за последние дни: Кусси[1] и некая голландка. Он: молодежь настроена совершенно нацистски, против коммунистов и русских.

Письмо от фрау Лизль Штюлер из Мюнхена: нацизм и еще больше антисемитизма, чем прежде. Бернхард-ст.: "Да если бы мои однокурсники знали, что я еврей, со мной бы никто не общался!" Осенью они собираются в Сан-Франциско.

Кусси сказал, что евреям сразу дают разрешение на въезд.

27.6, перв. пол. дня, четверг

Арестован книготорговец Нестлер. Он без разрешения русских продал географическую карту Польши, привезенную из французской зоны[2]. Кто-то на него донес. Он был — только теперь я узнал! — ПГ, но вступил в партию по поручению КПГ и тайно работал на коммунистов; в то же время был хозяином "вермахтовского" книжного магазина.

Воскресенье, 30.6.46, втор. пол. дня

Итак, поездка в Берлин с пт. 28 по сб. 29.6. Центральное управление народного просвещения пригласило на рабочее заседание по теме "Философия, педагогика и психология в университетском преподавании". <...>

Главное событие — конечно же, Грайфсвальд и, следовательно, весь какой-то помятый герр Якоби[3] со слуховой трубкой — профессор философии, декан, весьма, как мне показалось, консервативных взглядов, страстный спорщик. Обхаживал меня, будто диву. "Если вы дадите нам хоть крупицу надежды, если я смею предложить Вам... Нам нужен видный человек. Вы должны стать нашим проректором. Вам не придется читать ст.-франц., для этого у Вас будет кто-нибудь на подхвате. Вам выделят дом с садом. Вы сможете спокойно жить и писать книги. Как жертве фашизма Вам положен большой оклад. Только вот машину мы Вам дать, увы, не сможем. Но Вам она и не понадобится. Городок у нас маленький

1. Вернер Кусси, в 1949 г. возглавлял Еврейскую общину Дрездена; затем эмигрировал в США.
2. Вильгельм Нестлер продал КПГ карту, на которой польская Верхняя Силезия была обозначена как "врем. оккупирована Герм." Просидел под арестом около недели, затем его отпустили.
3. Гюнтер Якоби — философ, с 1919 г. — профессор в Грайфсвальде, в 1937 г. отправлен на пенсию, в 1945 г. вернулся к работе. В 1946–1948 гг. — декан. В 1955 г. написал критическую докладную записку о преподавании философии в университетах ГДР, после чего эмигрировал.

(50 тыс. жителей), море в 5 км. Я поеду отсюда в Шверин, предложу Вашу кандидатуру правительству[1]. Если Вы позволите мне питать надежду...”

Вот так, ни с того ни с сего, в пятницу. В субботу перед отъездом — капельку холоднее, но по-прежнему серьезно и любезно. Он-де свяжется со мной через пару недель, у него в Шверине еще много дел; но я подхожу им и с политической точки зрения, и во всех прочих отношениях, все его обещания в силе, он все тщательно обдумал — разве что вдруг я встану их правительству слишком дорого. Я подчеркнул, что пока не готов о чем-то договариваться, я считаю, что связан обязательствами перед сакс. правительством.

Конечно, все это изрядно польстило моему тщеславию, и мысли мои то и дело уносятся в Грайфсвальд: море, покой, король на деревне, смогу писать книги, не надо рваться на части. И даже Е. я до некоторой степени увлек этими фантазиями.

Таким образом, важнее всего в этой поездке для меня оказалось событие побочное. Теперь о прочих деталях.

<...> Мы выехали в 7.30 <...> и попали непосредственно на начавшееся заседание. <...>

В полдень мы попали в *Адлон* в качестве гостей Центрального управления. Вход с Линден замурован, мы пробрались с Вильгельмштр. через сгоревшее здание и окруженный руинами двор. Прекрасный номер с водопроводом, в котором нет воды. Элегантный ресторан, официанты во фраках, еда не то чтобы обильная, но питательная и разнообразная: яйца, мясо, немного масла. Цены, должно быть, ужасные. Нас они коснулись лишь слегка: напитки за наш счет.

<...> Шторы на окне полностью не задергиваются, и видны пустые оконные проемы развалин напротив. Еще страшнее — вид из ресторана на già Тиргартен: среди пней, в буйно разросшейся степной траве валяются обломки статуй. Мне показалось, что я разглядел оленя с Гроссе-Штерн[2].

В субботу утром я ехал в КБ в Шарлоттенбург и присмотрелся к Колонне Победы: то ли в руке Виктории, то ли над головой богини развевается французский триколор. Англичане установили свой флаг перед Колонной Победы, а французы... Trait éternel![3] Помнится, я учил еще в школе, что при возведении Колонны Победы были использованы фран-

1. Правительство Земли Мекленбург-Передняя Померания, к которой относится Грайфсвальд, находилось в Шверине.
2. “Большая звезда”, центральная площадь Тиргартена.
3. Вечная черта! (*франц.*)

цузские пушки 1870 г.[1] (Перед Бранденбургскими воротами стоит русский монумент победы – здоровенный и по-детски неуклюжий.)

Аренсхоп[2], *8–17 июля 46 + поездка в Берлин 6–7.VII*
Суббота, утро, 12 июля. День рождения Е., 1946

Е. проснулась около 5 утра – часов у нас нет, – и первые ее слова были: "Сделай мне подарок на день рождения – давай уедем домой на неделю раньше!". Я и сам об этом подумывал, и как-нибудь мы это устроим, несмотря на то, что оплатили 14 дней, и несмотря на препятствия, чинимые Берлинским радио.

Нам здесь плохо. Прежде всего: мы голодаем, голодаем, как в худшие фалькенштайнские дни[3]. К тому же здесь несказанно скучно. Всюду шум, гам, куча народу, на побережье много времени не проведешь, так как постоянно дует сильный, холодный ветер, гулять у нас нет сил, да и негде – куда ни пойдешь, все в двух шагах. А дома нам хорошо – зачем же оставаться там, где плохо? Еды не хватает как здесь, так и там, но дома можно хоть из-под полы что-то купить, а здесь – увы...

Море, впрочем, как всегда прекрасно, даже во время мощного прибоя, но все остальное – Irun n'est plus Irun[4]. Может быть, мы уже слишком старые. <...>

Брошенных и полуразрушенных домов полно как в Аренсхопе, так и по пути в Дарс[5]. Там на побережье ржавеет огромный железный остов корабля – похож он на большой паром, называется "Верпрам", над ним реет советский флаг.

После обеда. Наша комнатка, до того жаркая веранда, а здесь прохладно.

<...> Когда мы едим, за соседним столом всегда восседает школьный работник: педантичного вида, с тремя маленькими девочками и туповатой супругой, типичной "фюрершей"

1. То есть эпохи Франко-прусской войны.
2. *Аренсхоп* – курортное место на Балтийском море, на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст. С конца XIX в. там находилась колония художников. КБ устраивал в Аренсхопе отдых для своих членов.
3. После налета на Дрезден 13 февраля 1945 г. Клемпереры, которым грозила депортация в концлагерь, в суматохе скрылись и через Пирну, Фалькенштайн, Швайтенкирхен и Мюнхен добрались до деревни Унтернбернбах, где и прожили до конца войны.
4. Ирун больше не Ирун, переносное значение – всё уже не то. Цитата из Виктора Гюго, посвященная Ируну, – баскскому городу на французской границе, где писатель бывал в юности.
5. Дарс – центральная часть полуострова Фишланд-Дарс-Цингст. Аренсхоп находится между Фишландом и Дарсом.

из Женского союза[1]. Во время каждой трапезы, 3 раза на дню, он заказывает большую тарелку или горшок с овощами, щиплет и режет их, оделяет благоговеющее семейство. Сперва они смотрели на нас волком, а теперь уже приветливо здороваются. Однако я не могу избавиться от мысли, что до мая 45-го они всем кланом поклонялись Гитлеру.

Сегодня перед завтраком мы явились к Михаэльсену и сказали, что из-за плохого самочувствия вынуждены уехать раньше срока. Он пошел нам навстречу, мы получили назад внесенную за 14 дней оплату и талоны. В понедельник мы поедем домой через Росток — *не заезжая* в Берлин. Наконец-то мы вздохнули с облегчением — дело сдвинулось с мертвой точки.

Я подозреваю Аренсхоп: весь этот приморский край в веймарские времена a più non posso[2] ратовал против евреев, за нацизм. На веранде Шарлоттенхофа висит корабль с черно-бело-красным знаменем *без* республиканского гюйса[3].

Суббота, рано утром, 13 июля

Я пишу, сидя на веранде, сейчас 11.30 утра, суббота 13.7. Е. спит. *Я* рано утром ходил купаться.

Вчера, ближе к вечеру, — далекая прогулка по плато к суше. Впечатления еще прекраснее и мощнее, чем в первый раз. Все очень по-борнгольмски. Восхитительный воздух. Подмаренник и море. Огромная панорама: море и залив, на заливе — три парусочка. Полоска суши, побережье, окрестности Ростока. Гигантские разрушенные укрепления: бетонные блоки, орудия, прожекторы, измерительные приборы — все гораздо крупнее, размашистее, мощнее и разрушеннее, чем показалось во время первой прогулки, когда мы смотрели сверху. Это же миллионные убытки — все то, что теперь уничтожено войной, все ценные материалы, которые постепенно, но беспощадно поглощает природа. Дорогая техника, металлические запчасти, провода и т. д., и т. п. Природа, военное запустение и брошенные дома создают ощущение грандиозной, чудовищной гармонии. Les Ruines 1945/46. Я

1. В нацистской Германии существовала "Национал-социалистическая женская организация", основной задачей которой было пропагандировать нацистскую идеологию среди женщин и насаждать образ женщины-хозяйки, женщины-матери.
2. Изо всех сил, в очень большой степени (*итал.*).
3. В период Веймарской республики торговый флаг оставался, как и в имперские времена, черно-бело-красным, но в углу находился черно-красно-золотой крыж. Черно-бело-красные цвета использовали националисты в ознаменование связи с немецкими традициями.

однажды говорил об этом в Дрездене: сравните с грезами на развалинах 1750-х! Меланхолия совершенно другого рода!

Мы здесь на *чужой земле.* Что мы знаем о Мекленбурге—Передней Померании, о Шверине? Что здесь знают о федеральной земле Саксонии и о Дрездене? А ведь и мы, и они — в советской зоне. А каково сейчас оказаться на Западе? Германии больше не существует — остались лишь разрозненные округа, карликовые государства и отдельные колонии разных стран.

С тех пор как мы решили, что в понедельник едем домой, настроение улучшилось, и мы наслаждаемся тем, чем здесь можно наслаждаться.

<...>

Вторник, 6.8.46

Еще один случай: *доктор Брокель.* В 1933 году я дал этому человеку тему для диссертации — "Лафонтен в педагогике". После моего увольнения он защитился под руководством Яненцки и Штрауба. Теперь хочет, чтобы я удостоверил антифашистский посыл его научных изысканий. Нигде в его диссертации не упомянуто мое имя. На этом основании я отказался что-либо подписывать. Брокель снова явился, подошел ко мне на улице: дескать, Яненцки и Штрауб хотели как лучше, иначе пришлось бы ставить после моего имени "не ариец"! Я не уступил.

10 августа, суббота, утро

Ева Шульц-Кнабе сказала на днях: нынешний Дрезден куда красивее прежнего. "Подумайте только обо всех этих съемных казармах[1] и пошлых особняках! А теперь: прекрасная роза руин под голубым небом — когда я впервые увидела это зрелище, оно меня заворожило. И по-прежнему вызывает восхищение". При этом она отзывчивая женщина, жертва фашизма, муж казнен.

Среда, 21.8.46, minuit[2]

Кнешке рассказывал, как много Советская Россия делает для сохранения выдающихся русских произведений искусства, в том числе церковных. Речь шла о том, какие сокровища — например, мейсенский фарфор — вывозят из Дрездена

1. Mietkaserne, "съемные казармы" — многоэтажные доходные дома, которые строились в немецких городах в конце XIX в., в эпоху индустриализации, чтобы обеспечить жильем хлынувшее в город население.
2. Полночь (*франц.*).

в счет репараций или “трофеев”. Бальцер: “Свои сокровища Россия распродала в тяжелые годы за границу”. Кнешке: “*Только* драгоценности, даже в ужасный голод они не продают произведения искусства!”

Четверг, утро, 22.8.46

<...> После того как в понедельник у нас побывала фрау Ноймарк, я очень мрачно смотрю на дело Н. Позиция русских такова: под закон о “преступлении против человечности” подпадают *даже те, кто* действовал по приказу — они-де должны были отказаться выполнять бесчеловечные распоряжения. Случай Ноймарка: по приказу гестапо он составлял списки подлежащих депортации “отдельных привилегированных лиц”. (То есть евреев, которые были защищены от депортации арийскими супругами — но недавно овдовели или развелись — или арийскими детьми *младше* 16 лет, живущими с родителями, — но детям исполнилось 16 или они покинули родительский дом.) *Возможно*, без помощи Ноймарка гестапо упустило бы из виду одного-другого. Ergo[1] он виновен в пособничестве. Говорят, в Берлине евреи, которым предъявлены подобные обвинения, уже несколько месяцев как “исчезают”. Среди них есть и “ловщики” (особый жаргон?!), то есть евреи, которые перекрывали улицы во время облав. <...>

Бедный мой LTI. Не возвращаюсь к нему уже несколько недель.

Понедельник, утро, 6.45, Нидершёнхаузен/Берлин у Маки[2]*, 22 сентября 47*

LTI вышел <...>. Напечатано 10 тыс. экземпляров (цена 8,50, гонорар 12 500 M, но налоги!), на следующий год запланировано еще 10 тыс.

Пятница, 27 сент. 46

Утром этого учебного дня у меня побывал Кречмар-Ноймарк, которому я звонил накануне вечером. Н. передал мне через парикмахера Густля: ему нужен хлеб и зимнее пальто, он сильно голодает и мерзнет. Ему выдали на руки обвинение — преступление против человечности путем подготовки списка подлежащих депортации — и уверен, что его приговорят... С тех пор от него ни весточки; помочь невозможно.

1. Следовательно (*лат.*).
2. Маки — Макс Кагане, журналист.

Все это очень похоже на случай нашего соседа Шмидта, который работал на Украине налоговым инспектором. Он сидит уже месяц. Семья в страшной нужде. Трауте Ш., которой предстоит поступать в университет, расписывает абажуры. Гюнтер Ш., уже проучившийся на медицинском в Йене 2 семестра, боится, удастся ли продолжить учебу — ведь в новой анкете есть вопрос: "Находится ли кто-либо из ваших родственников под арестом?" Вчера перед отъездом в Йену Гюнтер заходил ко мне. Я *не смог* посоветовать ему: отвечай нет.

Среда, вечер, 9 октября 46

В Неаполе 14/15 гг. мне часто доводилось слышать: люди твердили, что газеты è pagato[1], но все равно поддавались влиянию прессы. Так и я сам себе говорю: ведь я знаю цену всем этим овациям, знаю, как мало в них искренности, как мимолетна создаваемая ими слава. И все же на удивление официозный церемониал этого 65-го дня рождения был мне весьма приятен.

Корзины цветов, торжественные славословия, печатные адреса с виньетками <...>; статейка и фотография в "Зекс. Цтг.". Я "большой ученый", "признанный (кем признанный-то?), известный в Германии и за рубежом романист" (ЗП), борец за... и т. д., и т. п. Все это убаюкивает — и все-таки оставляет горький привкус: неудачи с ландтагом, с Лейпцигом, а в перспективе — смертельный приговор ангины.

Среда, 16.X

Прелестная история о "кроликах". Дорис рассказала: однажды в лагере с ней случилась истерика, и обычно безжалостный эсэсовский врач дал ей успокоительного и поговорил с ней ласково. "Вы белый кролик в черных пятнах: у ваших детей еще будет маленькое пятнышко, а у внуков — только чистая белая шерстка!"

Четверг, вечер, 24.X

Ко мне в отчаянии приходили фрау Ноймарк и Кречмар: Н. отправили в лагерь, никто не знает почему и куда. Меня просили похлопотать о нем, я честно сказал, что у меня нет такой возможности — теперь считаюсь вероломным трусом.

Среда, полдень, 6 нояб. 46

Тем временем в нашей жизни новый серьезный поворот: похоже, Е. не хочет уступать мне ангину и право на смерть; в

1. Продажные (*итал.*).

понедельник мне стало известно, что у нее подозревают рак. Она знала об этом с лета, но стоически молчала и ничего не предпринимала. В последнее время у нее усилились боли из-за опущения желудка, она настояла на осмотре в Пирне <...> — и результатом обследования стала настоятельная рекомендация посетить йоханнштадтского хирурга и рентгенолога Фрица. Его заключение мы получили сегодня в первой половине дня: в течение 4 недель 4 раза в неделю облучение, затем операция — удалят либо маленькую опухоль в правой груди, либо всю грудь. Смертельной опасности тут нет — мы знали женщин, которые перенесли такую операцию и прожили потом много лет или живут до сих пор <...>; но это memento, по меньшей мере, столь же устрашающее, сколь ангина, и в любом случае Е. предстоят очень тяжелые недели. <...>

В Пирне настроение так себе. <...> Аннемари заявила мне: "Теперь *ты ПГ*". Подразумевается извечное: "Вы ничем не лучше нацистов!" <...>

Что бы я ни писал, о чем бы ни думал — все застит отвратительное слово "карцинома". Мы оба живем под гильотиной.

Четверг, вечер, 14 нояб. 46

Сижу между стульями. ВНД больше не занимаюсь, никому я в качестве почтенного руководителя не нужен. В ВТШ мне заняться нечем, а Лейпциг недосягаем.

Суббота, вечер 23 ч, 23 нояб. 46

Все мысли сейчас сосредоточены на внезапно вновь возникшем грайфсвальдском вопросе (см. 28/29.6). На это предложение я уже давно махнул рукой. И вот приходит письмо от доктора Вайдхааса, который руководит там кафедрой истории искусства, и еще одно — от декана Якоби. <...> Мы всерьез подумываем о том, чтобы принять предложение; я чувствую, что от Дрездена ждать нечего — ни от правительства, ни от города, ни от партии. Я написал обоим в Г. *весьма* решительно, что "в принципе готов".

Приходили: мать и дочь Йериг (секретарша Ноймарка). Трагикомедия 18-летней дочери: училась на экспресс-курсах, получила квалификацию учительницы русского, хочет теперь изучать педагогику, но *вынуждена* и дальше заниматься русским, так как он у нее хорошо идет. <...> Она рассказала, с каким неприятием родители относятся к тому, что их детей учат русскому. "Когда я приношу домой двойку, родители радуются...", "Папа не разрешает мне делать уроки по русскому!"

Воскресенье, вечером, 8/декабря

Поездка в Берлин на лекцию Союза немецкой прессы: "Пути и цели немецкой культурной политики". <...>

Жил в "Адлоне" — состояние плачевное. Омерзительная сырость и холод; я продрог и в первую ночь страдал от сильных болей; вторую проспал в свитере и подштанниках, в новом пальто — Рихард Гладевиц! — под одеялом. С утра отключилось электричество, и не было никакого источника света, чтобы побриться. За завтраком: "Пожалуйста, упакуйте мне хлеб и мясо с собой". — "У господина есть бумага?.. Нет?.. Сейчас посмотрю". В итоге остатки трапезы упаковали в газетную бумагу весьма изящно. "Адлон" — элегантнейший отель, роскошные апартаменты! Но горячей воды, разумеется, нет. Я завтракал возле чугунной буржуйки.

Канун Нового года, вторник, вечер 11 ч, 31.XII 46

Е. спит, по радио бушует новогоднее торжество в лейпцигском "Театре оперетты" — что это еще за забегаловка.

До 12 ч. осталось 10 минут. Где мы будем в канун следующего года? Отец всегда говорил: "На Сириусе".

Работать и работать — остальное ерунда и пустая трата времени. А если наконец придет какая-нибудь посылка из-за границы и жратва станет чуть получше — тогда, глядишь, и жить станет веселей.

1947

10 января 47, пятница, перв. пол. дня

Мороз помягчал, но принесенные им guai[1], например, замерзшие трубы, так быстро не устранить.

Самая большая забота <...> — рабочая карточка Е. <...> Ее должны признать ж. ф.[2]. <...> Я уже давно подал заявление, чтобы Е. признали ЖФ: писал, что она активистка, так как перевезла мои бумаги в надежное место в Пирне. Лёвенкопф возражает: это частное дело, она же не "уходила в подполье".

Воскресенье, утро и т. д., 19.I 47

Меня потряс рассказ: "В некоторых семьях уже пустили на дрова шкаф, стол, стулья и теперь сидят все на *одном* стуле, им уже ни до чего нет дела".

<...>

1. Невзгоды (*итал.*).
2. Жертвой фашизма.

Вечером того же дня — собрание жертв фашизма в "Мюнхенском трактире"[1]. <...> [Меня выбрали] одним из четырех [делегатов], представителем "преследуемых по расовому признаку". Не могу сказать, что этот титул мне по душе. Передо мной незнакомый еврей говорил о "паритетном отношении к евреям" и получил почти антисемитский отпор. *Я* бросился на помощь и подчеркнул, что не признаю различия между иудеями и христианами — лишь деление на фашистов и антифашистов. Был и очень неприятный момент. Глава собрания (Кёрнер) страстно выступал против того, чтобы по дружбе выписывать свидетельства бывшим ПГ — это, дескать, недостойно ЖФ. Кто-то из присутствующих 60—80 человек заявил: иные люди делают это за "пачку сигарет". Я сказал, что предоставил всего 2 свидетельства — людям, которые спасли мне жизнь. <...>

И все-таки мне неуютно. Антисемитизм повсюду. И я — между стульями.

Среда, 12.II, после minuit

Сегодня позвонил Дрессель, сообщил результаты бактериологического исследования: вопреки ожиданиям, у Евы все совершенно безвредно, ни следа карциномы.

Даже странно. Облегчение по поводу Е. Отпала главная забота. Но остается так много мелких невзгод, что полноценной радости я не чувствую.

Суббота, вечер, 29.III 47

Отовсюду везут дрова: на ручных тележках, на конных подводах, иной раз мощные тягачи тащат целый обоз. Всюду в лесу слышатся удары топоров. Со всех сторон несутся жалобы: лес вырубают! В Берлине больше нет Тиргартена.

Среда, вечером, 7 мая 47

"Эллихен", пациентка Лотты из Аушвица, совершила самоубийство — самосожжение. Поистине сюжет для романа. Она так и не смогла избавиться от чувства вины, что ей в Аушвице приходилось легче, чем другим, так как она вела себя примиренчески по отношению к нацистам. D'altra parte[2] она была весьма активной коммунисткой.

1. Гостиница и трактир в Плауэне, на Бинертштрассе.
2. С другой стороны (*итал.*).

Поездка ОПН[1]*. Дрезден—Мюнхен/Дахау. 15—19.V*

Новое слово: РАСКОРИЧНЕВИТЬ.

Повсюду — неискоренимый антисемитизм: "У одного из делегатов 120 пар чулок в чемодане... преследуемый по расовому признаку... Наши девушки ходят босиком... Вот они ему и достанутся, как дар еврейской общине... Юль Майер, конечно же, его покрывает. (Председатель берлинской евр. общины, смуглый, очень trapu[2], малопривлекательной внешности.) Этот тип с чулками приехал только ради гешефтов — его не видели ни на одном заседании... Он меняет чулки на сигареты; здесь по 5 марок, в Берлине по 8..."

Четверг, полночь, 5 июня 47

В эти дни много времени отнимает дело Шмидтов. Похоже, что отца семейства таки приговорили как военного преступника — маленькие люди всегда идут в расход первыми, — теперь конфискуют его имущество, из дома выносят вещи, и семья в отчаянии цепляется за меня. Опасность грозит и студенту-медику Гюнтеру Шмидту, который в настоящее время — по моему совету! — доучивается четвертый семестр в Йене. Он таки *не* указал в анкете, что его отец арестован.

Воскресенье, перв. пол. дня, 15 июня 47

Нынче в программе Фалькенштайне, Плауэн. В Ф. я выступал перед 70 слушателями и довольно средне; в Пл. — перед 200-ми и очень хорошо, говорил по меньшей мере 3/4 часа — по вдохновению и по настроению. <...> Но важнее для меня оказался разговор с <...> секретаршей КБ <...>. Была в СЕПГ[3], начала работать учительницей, внезапно уволили. Отец невыносим. Прокурор, прошел денацификацию, "благонадежный" член СЕПГ с лета 46-го. Раньше работал на строительстве, потом — несчастный случай, с тех пор заведует делопроизводством. Дочь сначала приняли на учительскую работу, потом выгнали. Она хочет учиться — закончила полный курс средней школы, основным предметом намеревалась выбрать историю, но ее не приняли — я пообещал Грайфсвальд. Впрочем, все это для меня не ново. Ново тут

1. Объединение преследуемых нацистским режимом (Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes), основанное после Второй мировой войны в Германии.
2. Коренастый (*франц.*).
3. Социалистическая единая партия Германии — партия марксистско-ленинской направленности, существовавшая в 1946—1990 гг. С октября 1949 г. стала правящей партией в ГДР.

вот что: “Мне не нравится, что дети страдают за отцов, но никуда не деться оттого, что дети подвержены духовному влиянию родителей. Скажите честно, каков был ваш образ мыслей?” Ответ: она верила в победу. А как же жестокости, творившиеся вокруг? “В нас воспитывали физическое отвращение к евреям. Помню, мы как-то писали сочинение: арийская девушка выходит замуж за еврея; чувствует омерзение, когда замечает в ребенке черты другой расы: черные кудри, нос с горбинкой... Я считала, что с некоторыми, может, обошлись чересчур сурово, но в общем и целом правильно, что от них избавляются — они портят расу... у собак же блюдут чистоту породы...” — “А вам никогда не приходило в голову, что в людях важнее всего не физическое, а духовное? Мы ведь все-таки не собаки”. — “Нам внушали, что все это зависит от расы... Я однажды попала на вашу, профессор, лекцию в театре, и она произвела на меня огромное впечатление... Я была просто-таки потрясена, когда узнала, что вы еврей. Никогда бы не подумала...” Я сказал ей: “Как вы содрогаетесь при виде еврея, так же наш брат чует запах крови, когда слышит о человеке, который был прокурором в Третьем рейхе. Поневоле задаешься вопросом: в какой мере дети унаследовали его бандитскую природу?”...Девушка произвела на меня хорошее впечатление. Но ее отца я считаю вредителем, пусть даже он ни разу не потребовал криминального приговора в политическом процессе. Но он служил юристом преступному государству. И как минимум не препятствовал тому, чтобы его дочь воспитывали в нацистском духе...

Понедельник, вечер, 23 июня

Поездка в Грайфсвальд, чт., 19 — суббота 21.VI

Дорога была мучительной. <...> В 12.30 я в Грайфсвальде. Перед отъездом я телеграфировал Вайдхаасу, но на вокзале меня никто не встретил; впрочем, мне дали адрес гостиницы, “Пройсише Хоф”.

Незнакомый пожилой человек вызвался показать мне дорогу — весьма не близкую. Он объяснил, что есть путь короче, но придется идти через парки, а там слишком много русских. В городе, по его словам, неспокойно, тут расквартированы буйные моряки. Большая, красивая рыночная площадь, вокруг — величественные старые дома, хорошо сохранившиеся и, по всей видимости, не раз отремонтированные; барочные и балтийские фронтоны, все свежебеленые. “Пр. Хоф” располагалась на узкой улочке, очаровательная комната с высоким эркером. С утра перекусить было нечем, кроме хлеба, что я привез с собой, и черного эрзац-кофе.

Затем в университет. Вереница высоких старых беленых зданий. Напротив, в зеленом скверике, пышный, тяжеловесный собор из красного кирпича, с неуклюжей толстой колокольней. В унив. никто ничего не знает. Некий старичок, мелкий чиновник или поднявшийся из низов служащий, выразил сочувственное удивление, узнав, что я настоящий университетский профессор, даже ординарный. "И вы хотите сюда?!" (Как будто я идиот.) В Грайфсвальде не осталось никого, кроме штудиенратов, и тех-то мало. Еды не хватает, русские внушают страх, дома конфискуют. <...>

Все [в университете] очень милы, но все изумлены моим приездом. Заведующий [семинаром] пообещал съездить на велосипеде к Якоби — он-де обычно приходит часов в 11, но, может, и позже. <...> Наконец появился Якоби. Глухота его усилилась с тех пор, как я видел его в Берлине, он держался сверхвежливо — но невооруженным глазом было видно: он изумлен и смущен тем, что я здесь. <...> Почему я не написал заранее, он думал... ах, какое "недоразумение" — это слово повторялось снова и снова. Похоже, он обо всем напрочь забыл, пришел в ужас, а талонов на проезд у меня тоже нет?.. Наконец появился Вайдхаас, и я уцепился за него, как за старинного друга. Все нужно в срочном порядке устроить, в первую очередь — мой отъезд завтра утром...

Обедать пришлось у Якоби. Идти с ним по улице — сплошное мучение: он кричит во все горло; настроение, несмотря на комплименты, смурное: он считает, что ни в чем не виноват, я должен был написать, напомнить...

Нечто среднее между парадной гостиной и жилой комнатой в старом стиле, многовато всевозможной обивки, на стене — портрет погибшего сына; фрау Я. моложе супруга, живее, — хотя бы потому, что не глухая, — энергичная, довольно сердитая. Она "уже поела" (да неужели?); нам достались крошечные картофелинки в мундире, которые она для нас почистила, рыбный соус, в котором крошечные кусочки рыбы еле разглядишь, и салат — этим и вполовину не насытишься после полутора голодных дней. Поев, он ненадолго ушел, дескать, у него в 4 лекция и надо собираться, и я сказал фрау Я., что им стоит иметь в виду: я весьма зол и сомневаюсь, что буду иметь с ними дело. Она стала довольно откровенно склонять меня к отказу: все равно дом мне здесь вряд ли дадут. Потом он позвал ее, она вышла к нему, и почти сразу же он появился на пороге, разъяренный. Ему-де пора на лекцию, жена сказала, я намерен отказаться от Грайфсвальда: в таком случае ему не с руки больше этим заниматься, в конце концов есть кандидат помоложе, который... впрочем, если я все-таки

решусь, я смогу найти его в 6 в деканате. Я ответил что-то неопределенное, и мы пожали друг другу руки... <...>

Я послал Е. телеграмму (была пятница, около 19 ч), что приеду в субботу в 22 ч; эта пятничная телеграмма пришла сегодня, в понедельник, около полудня.

Воскресенье, вечер, 29.6.47. 43 года вместе!

СЕПГ, сказал мне один добропорядочный человек — и для него это было меткое словцо, оскорбительности которого он не чувствовал, — "русозависима" (LQI).

Воскресенье, утро, 3 августа 47

"Занавес" между Востоком и Западом стал за последний год еще непроницаемее. Люди на Западе не спрашивают, как там у вас на Востоке? — они спрашивают "Как в России?". Люди верят в том числе, что в Берлине необходимо предъявить межзональный пропуск, дабы повернуть с одной улицы на другую. Гейдельбергское культурное объединение отказалось участвовать в групповых консультациях, на которых присутствует наш КБ. Вильман приехал в Гейдельберг, его познакомили со светилами тамошнего Объединения — профессорами, церковниками, передовыми представителями интеллигенции всех мастей; оказалось, там убеждены, что в нашем КБ безраздельно властвует коммунистический пролетариат. Когда Вильман поведал им, что наш президиум устроен точно так же, как их, они были искренне изумлены — и тут же стали приветливее.

Понедельник, утро, 18.8.47

Я упрекаю себя, что теперь бегаю за грайфсвальдцами, все смеются надо мной, над моим желанием уехать (громче всех хохотал вчера Штайнингер, зашедший в гости: "Получаешь деньги, живешь совершенно свободно — и еще чем-то недоволен!") — а я так опустошен...

Отвратительно.

Гёрлиц[1]*, среда, перв. пол. дня, 3 сент.*

[После лекции] поесть, получить разрешение на ночевку. Подобное разрешение требуется на каждую ночь — забрать нужно лично и заплатить 20 пф. Правда, все происходит очень быстро: у входа в дом на вокзальной площади, в которую вливается моя Берлинерштрассе, есть специальное окошко. Строгий контроль! По прибытии мне пришлось

1. Саксонский город на границе с Польшей.

пройти через барак: паспортный контроль, подозрительные взгляды полицейских. Я думал: политика, граница. Шульце открыл мне глаза: вши! (Зимой каждый, откуда бы он ни прибыл, должен был раздеться — под рубашку заглядывали.)

Циттау[1]*, пятница, утро, 5 сент. Фолькскхаус*

Два слова к LTI–LQI: очень часто говорится "наступление" против бедности, самое время прибегнуть к "смягчению". И так называемое "организовать" нынче означает "украсть".

Понедельник, утро, 6.45, Нидершёнхаузен/Берлин у Маки, 22 сентября 47

К Анни[2] мы попали как раз на обед. У нее была какая-то свойственница, Анни сказала потом, что эта дама — страстная католичка и живет на Западе (в Кёльне). Когда я поведал о приглашении в Грайфсвальд, свойственница воскликнула с искренним ужасом: *Боже – тогда же вы окажетесь совсем в России!* <...> Мы с Анни засмеялись и попытались ей все объяснить, но она предпочла поскорее откланяться.

Мы также посетили Якоби и обсудили с ним ту часть моей будущей работы, которая связана с романистикой. <...> Якоби сказал мне: "Мы хотим вернуть вас науке, дорогой коллега!"

Воскресенье, вечер, 5 октября, Дрезден

"Каменный цветок" — русский цветной фильм, награжденный за яркие, насыщенные цвета. Современнейшая техника сочетается с совершенно детским содержанием — это, похоже, определяющее качество советских русских: закупорить примитивнейшее современнейшим, середина не по ним.

Среда, перв. пол. дня, 15 окт.

Что касается языка: *коллектив, актив, реферат.* Засилье "товарища". В *государственном масштабе.* Обращения "товарищ", "приятель" (ОПН). Насколько это партийный жаргон, насколько универсальный LQI, насколько русское влияние?

Пятница, вечер, около 24 ч, 5.XII.47, Дрезден

Вечером от усталости и dégoût[3] Е. прошиб озноб. В 4 ч ночи она сказала мне с горечью, что однажды гестапо выкинуло ее из дома, а имущество сгорело при бомбежке — и вот

1. Город в Саксонии.
2. Анна Клемперер — жена (с 1931 г. вдова) брата В. Клемперера, Бертольда.
3. Горечь, разочарование (*франц.*).

теперь ее снова выгоняют, норовят украсть и то, что уцелело, и то, что вновь удалось приобрести. Мне было больно это слышать. Неужели я пожертвовал ее благополучием во имя своего тщеславия? Возможно, так и есть – но, возможно, я все же поступаю правильно, и Е. перемены пойдут на пользу.

Воскресенье, вт. пол. дня, 7.XII, Дрезден

Нет ничего хуже переезда – сплошная нервотрепка. Президент Рейхсбана[1] нам отказал: завтра – неужели правда уже завтра? – нам нужен экспедитор, чтобы отправить вещи срочным грузом со страховкой.

Но так быстро раздобыть экспедитора? И где гарантии? Чем дороже я застрахую вещи, тем больше будет соблазн их украсть... "Да, герр профессор, лучше всего, чтобы партия выделила вам грузовик!" Насмешка чистой воды: партия и литра бензина мне не выделит. Наконец сегодня утром пришло спасение. Эгон Ренцш дал мне на ступенях Музея гигиены слово, что все коробки, которые я здесь оставлю, он в ближайшие дни отправит в Грайфсвальд, прямиком по нашему новому адресу, на казенном грузовике, который повезет картошку из Мекленбурга. Считаю Ренцша человеком надежным – надеюсь все получится.

<...>

Я всегда говорил: все становится ясно на следующий день после свадьбы! Теперь я знаю, знаю с 9 дек., с первого дня нашего пребывания в Грайфсвальде: это была чудовищная ошибка, я испортил нам обоим закат жизни.

Воскресенье, 14.12.47

Так казалось в первой половине дня. А теперь, после обеда, в спальне стало немножко теплее, и зерновой кофе согревает, и котик мурчит, и говоришь себе – пока действует кофе: "Может, еще и ad astra[2]!" Но стоит действию кофе улетучиться, а печке остыть: см. выше di nuovo[3].

Вторник, перв. пол. дня, 16.XII, Грайфсвальд

Утешения нет ни в чем: сырые стены и половицы, сырое дерево, сырые печки – чего ни хватишься, ничего нет. Вчера

1. Германская имперская железная дорога.
2. Per aspera ad astra – Через тернии к звездам (*лат.*).
3. По новой (*итал.*).

безмерно мучился из-за прострела (или из-за почек?). Сегодня в *этом* отношении стало получше. Сырая снежная погода, сырые ноги. Ничего нет. Е. все бледнее. Я постоянно корю себя из-за нее.

Пустые дни, полные отчаяния.

Я осматриваюсь в ледяной аудитории, выслушиваю дружеские наставления заведующего семинаром Шольбе. Положение мое плачевно. Я так и останусь для них аутсайдером, журналистом, политиком, moi-même[1]. Я всем пожертвовал ради треклятого, глупейшего тщеславия — быть унив. проф.! В итоге я никто, просто "СЕПГ-проф.". И любой студент, знающий ст.-фр. и провансальский, смотрит на меня свысока.

Среда, утро, 31.12. 47, Новый год, Грайфсвальд

Утешиться по-прежнему нечем, тоска снаружи, тоска внутри. Пару раз вечером мы ходили погулять, подышать свежим воздухом — Е. жалуется на боли в желудке, у меня ноют кости и сердце. Хожу бриться в парикмахерскую. Полное одиночество. Мы не подружились ни с одной anima viva[2] в Грайфсвальде, сидим на мели, и спасения ждать неоткуда. К тому же продуктовые посылки по-прежнему не приходят — вот разве что посылка с одеждой от М. Зеббы.

Читаю и листаю все подряд, пытаюсь то одно, то другое прочесть вслух. <...>

Издательство "Ауфбау" прислало мне, вероятно, в качестве рождественского подарка, без сопроводительного письма, экземпляр LTI в очень красивом переплете, который, впрочем, годится только для коллекции. В этой нарядной обложке еще сильнее бросается в глаза убогая бумага и убогая полиграфия. В остальном про LTI ничего не слышно. Где 10 тыс. экземпляров? Их не встретишь ни в книжных магазинах, ни в редакциях. И ни одна газета об LTI не написала. <...>

Молодость: все впереди. Старость: все позади. Молодость не спрашивает, какой ценой даются дела и свершения. В старости ты спрашиваешь обо всем, и все постепенно обесценивается. Мне кажется, даже в годы нацизма я не встречал Новый год в столь подавленном состоянии, как сейчас. Потому что сейчас я виноват в наших бедах, и потому что я обрек Е. на все эти несчастья, и потому что я не вижу выхода.

1. Сам по себе (*франц.*).
2. Живая душа (*лат.*).

1948

Суббота, перв. пол. дня, 10.I.48, Грайфсвальд

Хуже всех жилищных, бытовых и проч. неудобств — скука. В Грайфсвальде нет жизни, мы погребены заживо. Мы так привыкли к дрезденской круговерти. Е. тоже говорит: "Я люблю собрания". Но здесь собраний нет: ни СЕПГ, ни ОПН, ни ОСНП[1] и т. д., и т. п., здесь не выходят в свет новинки, здесь никому нет до нас дела.

Мы завязли на обочине мира. "Покой для научной работы". Хорош покой. Да и кто читает мои "глубоко научные труды"? Две дюжины человек, из которых 22 считают их журналистскими. Чего бы я ни возжелал — вечно оказываюсь между стульями. В конце концов все суета: и мимолетная слава, и настоящая слава, и сама работа.

Среда, перв. пол. дня, 14.I.48, Грайфсвальд

Русский фильм "Крейсер 'Варяг'". В кинотеатре "УТ Лихтшпиль", на улице Ланге Райе, напоминающем деревенский хлев по сравнению с камерным кинотеатром на рыночной площади. Помещение огромное. Этот хлев в понедельник — из-за понедельника или из-за фильма? — поразительно пуст. Заняты только самые задние ряды и несколько мест на балконе. <...> Все речи, жесты, сцены фильма прославляют русский героизм, "русскую землю" — ваши корабли и есть "русская земля"! — русскую честь, русское знамя (снова и снова крупные планы, речи, крики "ура"). Русские! Какое нагромождение сумасбродств! 1) Превозносится война эпохи царизма, 2) война колониальная, 3) милитаризм, шовинизм, 4) все это показывают нам, хотя надеются нас демилитаризовать, 5) одновременно с другим фильмом "Любовь побеждает"[2]. Мыслимо ли нагородить больше ошибок?

Воскресенье, вечер, 18 января 48, Грайфсвальд. О берлинской поездке

<...>

Ехал обратно — в 16.30 был уже в поезде, хотя отправление только в 5, но сесть все равно не удалось. Сел только в Пренцлау. Читать невозможно. Все женщины, и молодые, и

1. Объединение свободных немецких профсоюзов, основанное в 1946 г. в советской оккупационной зоне.
2. Под названием "Любовь побеждает" в Германии шел фильм Игоря Савченко "Старинный водевиль", сюжет которого построен вокруг гусара и его любовных похождений в Москве после победы над Наполеоном. Клемперер характеризовал этот фильм как "дурацкую оперетку".

старые, курят. Молодая женщина с мальчиком, сидевшая напротив, сказала, скручивая сигарету: “Мой муж, если вернется – пропал без вести, – будет ругаться: я выкуриваю по 20 сигарет в день”. Примечательная женщина. Немецкий не самый грамотный. Отбывала трудовую повинность у русских в офицерской школе. Полковник доверял ей; девушки гуляли с лейтенантами – “Не смей спать с офицерами!” – поручил ей большую кухню. Сейчас не служит, но в поддержке не нуждается. Сердце пошаливает, и родственники шлют посылки из США. Обменяла кофе на сигареты...

Все эти женщины без мужей, нравственно свободные, вечно в штанах, вечно с сигаретой, сами себе хозяйки, сами растят детей... хоть романы пиши!

Вторник, перв. пол. дня, 3 февраля 48, Грайфсвальд

Наконец прибыл рояль, стоит на своих ножках; после транспортировки остались кое-какие внешние повреждения; из него изъяли пианолу (она осталась в семинаре), но Е. считает, что он от этого только выиграл. Я попытаюсь его купить. Только вот вряд ли удастся. Кругом только и твердят: денежная реформа, не копите деньги, не разбазаривайте ценности!

Когда я рассказал людям, которые перевозили рояль, о моем раздоре с предыдущей équipe[1], весьма неотесанной, они сказали: ну конечно, они же из Штеттина, штеттинцы все хамы.

Вчера я поболтал о рояле с фрау Левин, которая родом из Штеттина, и она сказала все о той же первой équipe (вторая-то состояла из университетских работников): *грайфсвальдские* рабочие всегда очень нелюбезны. Вода на мельницу Е. – впрочем, я с ней согласен: разросшийся патриотизм в основе своей имеет самый узкий регионализм, село против села. Патриотизм в государственном масштабе искусственен, вторичен, надуман, абстрактен.

Грайфсвальд, 9.II. Понедельник: берлинская поездка, заседание СЕПГ по поводу высших учебных заведений, 7 и 8.II 48

Самое потрясающее, что произошло за эти два дня: в воскресенье я вырвался из Грайфсвальда – после того как в субботу особенно горевал из-за кандалов, в которые сам себя заковал. И тут же, внезапно: мне со всей определенностью обещают кафедру романистики в Галле, и в Лейпциге готовы

1. Бригада (*франц.*).

предоставить кафедру на социологическом факультете. Свобода! Е. счастлива.

Мы снова радуемся жизни.

Краус сказал: повсюду засилье эмигрантской клики, теперь, чтобы процветать в Германии, нужно быть или эмигрантом, или нацистом, а лучше и тем и другим.

Понедельник, 16.II 48, Грайфсвальд, перв. пол. дня – и позже

У Пфайферов на меня обрушился Зепке, его поддержал и Пф.: от меня, дескать, ждали большего, при моей-то "славе революционера", которая и сюда долетала. Я должен не лекции читать, не разрываться между ОИКСС[1], КБ и т. д., а "организовать" унив. для партии <...>, мобилизовать вялую группку преподавателей и студентов из СЕПГ, пустить в ход кипучую энергию... Как я должен все это делать, не имея ни административных, ни партийных полномочий, в сугубо частном порядке — мудрые люди мне не объяснили. Я хотел сегодня добиться от Зепке ответа, но не встретил его в Партийном доме. На душе тяжело. Поддержки ждать неоткуда, со всех сторон меня все пинают... Как бы мне хотелось сбежать отсюда! И с партийной, и с научной точки зрения мне здесь все не мило.

Письмо от дрезденского адвоката: не мог бы я вернуть пишущую машинку, конфискованную у нацистского судьи Клуге, — ее-де мне дали только на время. Не было печали. Намерен ответить отказом.

Среда, перв. пол. дня, 25.II 48, Грайфсвальд

Сегодня, в ср. 25-го, мы снова остро чувствуем все убожество нашей грайфсвальдской развалюхи. Вода замерзла в трубах, придется долго и муторно разбирать кладку, то же самое было в прошлом году... никто ничего не может... все отсылают друг к другу... Привез [из поездки в Берлин и Шверин] сильный насморк, носовых платков не хватает.

Пятница, вторая половина дня. 12.III.48, Грайфсвальд. (Поездка в Берлин 8–9.III)

О заседании президиума. Народу присутствовало немного, примерно половина élu[2]. <...> Как мы будем праздновать 1848[3], как — год Гёте, 49[4]? <...> Выступил Бехер — у нас с ним отноше-

1. Общество изучения культуры Советского Союза.
2. Делегат (*франц.*).
3. То есть столетнюю годовщину революции в Германии 1848–1849 гг.
4. Гёте родился в 1749 г.

ния весьма холодные, в этот раз мы даже не поздоровались, — но сказал он дельное: "Не нужно отмечать годовщину Гёте так, чтобы потом от него лет двадцать воротило". Похоже, назревает прямо-таки соревнование между Веймаром[1] (оттуда молодой человек, Сабе[2], тамошний секретарь, здесь в качестве делегата) и КБ, планируется огромное количество мероприятий. Самое страшное — и это инициатива КБ, — что всё хотят свести к Гёте-демократу, к НАРОДНОМУ ГЁТЕ. <...> Это чудовищная ложь. Гёте вечно разрывается между революцией и консерватизмом <...>. И у него всюду побеждают консерватизм и аристократизм.

Вторник, вечер, 16 марта, Грайфсвальд

Невыносимо мучает экзема. К Брауну в клинику кожных болезней. Результат: не как у Е., а обычная чесотка. Успокоить зуд нечем. Обязательно нужно принять теплую ванну — но это невозможно ни дома, ни в самой клинике (!!!). Я пошел в баню при старой клинике. У дверей — толпа народу. И табличка: "Людям с заразными или неприятными на вид болезнями вход воспрещен". Я не отважился зайти... <...>

Положение ужасное, и зуд не дает мне покою, и уже обсыпало запястья и руки, так что всякому видно, что со мной творится. Браун посмеялся: "Через это каждый прошел, в гостиницах больше не стирают белье, поэтому заражение неизбежно". <...> А завтра мне ехать в Берлин. Кого я заражу — Кагане или следующего постояльца гостиницы?

Пятница, 19.III, втор. пол. дня. Грайфсвальд. Народный съезд, Берлин 17–8.III

Обратно возвращался поездом. <...> Постоянные разговоры: опоздаем или нет? Поезд ехал очень ходко, но между Анкламом и Гр. сбросил скорость, затормозил, тут же посыпались жалобы: "Если он остановится в Цюссове, мы проторчим на станции два часа". В купе темно, поезд останавливается. "Ну конечно! Кто-то из русских хочет сойти. Из-за одного русского все расписание летит к чертям. Русские тут хозяева. Русские..." Внезапно голос: "Что-то слишком светло снаружи, в Цюссове так быть не может. Мы в Грайфсвальде". Мы прибыли в 10.45, на пять минут раньше

1. Веймар считается "городом Гёте", поскольку там Гёте жил и творил с 1775 г. до самой смерти в 1832 г.
2. Хайнц-Винфрид Сабе — писатель, с 1947 г. работал в Веймаре, отвечал за организацию Года Гёте 1949. В 1950 г. уехал в Западный Берлин, затем в Дармштадт.

расписания, и чуть было не уехали дальше, в Штральзунд. Виноваты, конечно, русские...

Пятница, втор. пол. дня, 16 апреля

Колледж и семинар отнимают у меня много сил, но доставляют удовольствие. Много работы, мало сна, еще меньше еды. В этом плане все хуже некуда, посылки не приходят.

Воскресенье, вечер, 18 апреля

Сегодня перевели стрелки на 2 часа назад: летнее время. И настоящая весна. Даже здесь можно найти парочку цветущих деревьев. Небольшая прогулка по Анкламер-штр. на просторы снесенных гитлеровских казарм. Громоздкие руины, целые залежи кирпичей, несколько остовов машин — 3 года как война кончилась! — и среди всего этого трогательно возделанные клумбы; безрадостная, безлюдная местность — и все же весна. На высокой печной трубе, которую видно из нашего окна, сооружает гнездо и обустраивается аист.

Весна: впервые с начала декабря (!!!) вода наконец коснулась моего несчастного туловища — я обтерся мокрым полотенцем. Хочется верить, что это поможет против "постскабиозной экземы", которая изъела, изгрызла, измучила и истерзала мое тело. Почти 5 месяцев не мытое...

Телеграмма от куратора Галле: квартира в доме на две семьи, есть сад, мебель скоро привезут.

Воскресенье, втор. пол. дня, 9 мая 48

Бесконечные заседания СЕПГ. Я сомневаюсь, что все эти многочисленные собрания, на которых произносятся одни и те же фразы-клише, воздействуют на людей, я не верю, что пропаганда может значительно повлиять на волеизъявление народа[1]. Снова и снова я заклинаю функционеров: говорите от себя, не употребляйте клише, которые каждый тысячу раз читал в газетах. <...> Всякий раз, обращаясь к слушателям, которые, как мне кажется, способны меня понять, я твержу: долой клише! Долой функционерский немецкий. (И LQI тоже долой! <...>)

1. С 23 мая по 13 июня 1948 г. проходил сбор подписей за "неделимую германскую демократическую республику" (в советской зоне подписались 14,8 млн чел., в западной (хотя союзники запретили голосовать) — 1,5 млн). Согласно Веймарской конституции, такого количества подписей было достаточно, чтобы обязать правительство учесть и реализовать народную инициативу; однако западные союзники ее проигнорировали.

Четверг, перв. пол. дня, 13 мая 48

Окружная конференция по культуре Восточного Мекленбурга. Дом Культуры 11 и 12 мая. Вт. вечер. Кляйншмидт: в Риге в 43-м процветала культурная жизнь — театры-концерты-что угодно. На одном краю города — еврейское гетто, на другом — расстрельная роща. Всякий раз, когда по городу проезжают голубые автобусы, жители понимают: еврейская бойня продолжается. *Но культура действует как опиум...* В одном немецком городе — тюрьма, стоящая на крупной транспортной магистрали. На гестаповских допросах кричат люди. Но слышать крики не положено. У ворот музыкальная капелла, прекраснейшая музыка — культура как опиум. Эти места в докладе К. потрясли меня. Его теория: разделение культуры и политики ведет к варварству — культуру следует политизировать, политику культивировать, бегство в духовные сферы безнравственно.

Пятница, вечер, 21 мая, 12.30

В понедельник после Троицы[1] в первой половине дня — Шмидты. Трагедия Гюнтера Ш. в Йене: ГПУ требует, чтобы он доносил на сокурсников. Иначе грозят арестом. Он подписывает [согласие сотрудничать], просит совета у ректора, тот советует бежать на Запад. Что я на этот счет думаю? Наш совет: подождать! Какой кошмар.

(*У Кагане, вторник, утром, 25.5*) Сразу после завтрака читал лекцию, принимали очень хорошо. <...> Ко мне подошел молодой человек и рассказал, что захотел заниматься филологией после того, как прочел LTI. Лучший комплимент для меня...

Воскресенье, полдень, 20 июня

Вчера утром, 19.IV, на минуту взвыла сирена — мы думали, заело кнопку заводского гудка. (Наше радио все еще в Дрездене!) Но нет, таким образом всех созывали на рыночную площадь — на акцию протеста. Денежная реформа на Западе[2]. Днем на рыночной площади стояла огромная очередь в банк. Люди несли все свои накопления, Юдит Квит вечером рассказывала: люди натащили немыслимые горы денег, соученик ее сына-старшеклассника принес 15 000 М. Спекулянты

1. Pfingstmontag — Духов день, второй день после Троицы — является государственным праздником в Германии.
2. 20 июня 1948 г. в Западной зоне провели денежную реформу; в ответ 23 июня реформу провели и в Восточной зоне. 20 июля был создан Немецкий эмиссионный банк, который начал выпускать восточную марку.

теперь ничего не продают, пока не выйдет новое советское постановление. У меня дома около 720 М – неужели они пропадут? <...>

Сегодня воскресенье, а денежный вопрос так и не прояснился. Газеты пишут глупости: все спокойно, торговля идет по-прежнему. Но ведь все знают, что торговля замерла.

Воскресенье, 11 июля

Путаница с тремя видами денег: западная марка, новая восточная марка, старая восточная марка, курс всюду разнится, хозяева магазинов ведут себя кто как: один не берет эти деньги, другой те, товары задерживаются, цены скачут. *Одна* западная марка сейчас равна 5-и восточным, а тут же 2-м, а тут же и одной, старая восточная марка на Востоке уже ничего не стоит, а на Западе равна десяти пфеннигам, никелевый грош[1] на Востоке равен десяти пфеннигам, а на Западе одному. <...> Povera Germania[2].

Понедельник, утро, 12 июля

День рождения Е.: мы точно так же сидим на черством хлебе, как и 29 июня. Е. очень бледна и худа, часто жалуется на боли, на слабость, недавно у нее снова было помутнение сознания, сегодня ей исполняется 66 лет. То я больше тревожусь за нее, то за себя. Конец от нас обоих не так далек, и у меня в равной степени вызывают отвращение vita et mors[3]. Смысл всего этого?

Я завидую Е. Она всегда была в 1000 раз талантливее меня. У меня была своя ниша: писать и выступать. Теперь она тоже ворвалась в эту нишу и превосходит меня. Ее последняя задумка: написать роман. Почему слава (со времен LTI настоящая gloria) выпала на долю мне?

2.8.48, Гёрен[4]. Веранда
Неделя в Гёрене 1–8 августа 48. Дом отдыха им. Вильгельма Пика ОСНП

В воскресенье, пока тащил багаж, все болело, к тому же досталось плохое место на моторном катере "Зеллин" – по меньшей мере, 150 пассажиров, – очень скучная переправа, длившаяся 7–10 ч. <...>

1. Монета в 10 пфеннигов.
2. Бедная Германия (*итал.*).
3. Жизнь и смерть (*лат.*).
4. Гёрен – община в Германии на острове Рюген, курортное место на балтийском побережье.

Затем дела пошли на лад. Дом отдыха – большое, очень элегантное здание, прежде (естественно) пансионат люфтваффе. Питание очень хорошее. (Разве что жаворонки поют слишком громко). <...>

Вторник, утро, 3 августа. Веранда

Очень жаркий день, вечером собиралась гроза, но так и не случилась, духота, зарницы – сейчас 7 ч, посвежело, воздух прекрасный.

Вчера после обеда спустились на пляж. <...> Бесчисленные дети, шум и гам, как в былые времена, живо вспомнились мои варнемюндские впечатления и огорчения. В новинку разве что теперешняя женская купальная мода – столь же некрасивая, сколь развратная, просто-таки уродство! Туго обтягивающие плавки, бюстгальтер, а между ними стиснута обнаженная плоть. Так можно и гомосексуалистом сделаться. <...>

В Дюнном доме – он же Дом Вильгельма Пика – висят Ленин, Бебель и сам Вильгельм Пик. Наверняка на тех же местах, где раньше висели Гитлер, Геринг и Геббельс. <...>

Наш хозяин, слесарь Марцаль, – настоящий vox populi: против СЕПГ, в которой сам же и состоит, против русских. Кругом бюрократия, коррупция, "русозависимость", полиция куплена спекулянтами, бонзы молчат и жрут от пуза, беженцы голодают, если кто откроет рот, тут же "исчезает", русские все у нас забирают и проч., и проч., и проч. Прямо как в веймарские времена. Тогда во время наших морских путешествий Ева часто задавалась вопросом: *Где же республика?*

Сейчас то же самое. Где демократия? Я не верю в ее прочность, мы, – да и кто такие *мы?* весьма незначительное меньшинство, которое все ненавидят, – мы держимся только на русских штыках. В день, когда русские уйдут, мы – то есть Е. и я – будем мертвы. *Я* не верю в наше нынешнее положение. Хуже того: я не верю в ценность тех вещей, за которые выступаю. Конечно, сама марксистская идея чиста. Но разве у русских меньше империалистических и т. п. амбиций, чем у других? И почему мы должны отдавать Штеттин, разве в этом немецком краю есть поляки? Только потому, что Польше хотят на западе возместить то, что Россия отняла на востоке...

В веймарские времена дома отдыха считались уделом пролетариев. Помню, Альбек котировался ниже Херингсдорфа[1], потому что там было много домов отдыха (больничные кассы, горняки и т. п.). Теперь дома отдыха повсюду. "Народное

1. Близко расположенные курортные места на Балтийском море.

единство”[1]. Только из него выкачан нацистский яд. (Действительно выкачан – или просто впрыснут другой?)

Новый стиль жизни: все приносят столовые приборы с собой, затем моют в *одном* тазу и сушат на *одном* полотенце. Пролетаризация в элегантном пансионате. Мы забираем приборы домой. Их моет хозяйка, которая готовит нам кофе и чай. Дом бурлит. Тут живут беженцы, приходят гости.

Суббота, перв. пол. дня, 7 августа 48, Гёрен

Кругом бесчисленные кукушки и бесчисленные дети. Кукушек перебьют, а дети будут кричать “Хайль Гитлер” и погибнут на следующей войне.

15 августа, воскресенье, утро, Грайфсвальд

Переезд. <...> Я боюсь обнаружить в Галле столь же обустроенную квартиру, как здесь в декабре.

Хлопоты о железнодорожной перевозке, занявшие столько дней, оказались напрасны, равно как и хлопоты о машине. <...> Юдит подсказала: есть путь по воде. Вещи доставят в Берлин через *русский* порт Штеттин в польском Штеттине, а потом перегрузят на другое судно – до Галле; они должны – должны – доплыть до Галле за 14 дней. Не хватает еще двух ящиков. И гвоздей в придачу. Остается бесконечный багаж, который мы потащим на себе, в том числе кота и пишущую машинку...

Воскресенье, 22.8.48, Грайфсвальд

Мои грайфсвальдские огорчения смягчены двумя обстоятельствами: я уезжаю не со скандалом и не как побежденный.

<...> Что останется в памяти от Грайфсвальда? Пустые комнаты, в которых каждый чих и вздох разносился, словно гром, голые окна с вечным затемнением, ванная комната, которой почти не удалось попользоваться, хроническое состояние bohème, нескончаемого переезда, необжитого жилья. <...> Более радостные воспоминания – два высоких тополя слева от окна спальни, за ними на высокой трубе гнездо аиста – хотя оба наших ménages[2] находились рядом, я ни разу не видел, как аист прилетал или улетал.

Ровно 256 дней мы провели здесь: с 9.XII 47 – 23.VIII 48.

1. “Volksgemeinschaft”, “народное единство” – одно из центральных понятий нацистской идеологии, подразумевающее гармоничное единение всего немецкого народа в его превосходстве над другими нациями.
2. Хозяйство, дом (*франц.*).

Галле, Кифернвег, 10
Пятница, утро, 27 августа 48

[Мы живем] на дальней СЗ окраине города, среди леса, между Хеллерау и Штраусбергом; Е. не устает радоваться окружающей нас природе, ей по душе и большой, ухоженный город Галле – более 300 тыс. ж. В Грайфсвальде она постоянно пребывала в мрачном, озлобленном настроении – и это не могло меня не расстраивать; здесь же она сразу обрела гармонию как с географическим, так и с политическим ландшафтом, причем гармония день ото дня растет – и меня это, конечно же, радует. В остальном, как кажется, для меня почти ничего не поменялось – ни в лучшую, ни в худшую сторону. Пережить бы заново безумную начальную стадию.

Здесь, как и ожидалось, все вверх дном, все временно, все скромно – зато чувствуется добрая воля и, см. выше, хорошее настроение Е. <...> Двуспальная кровать, к которой не подходят матрасы – я сплю на полу; никаких шкафов, никаких столов и т. д. <...> Всюду обрывки бумаги, полуразобразнные коробки, кухонная плита без трубы, лампы без лампочек и т. д. и т. п. Дом на изрядном удалении от города – зато великолепный лес... За все эти дни я не прочел и не написал ни строчки – все время на ногах, к 10, 11.30 вечера до смерти уставший валюсь в постель.

Понедельник, 13 сент. 48, Галле

От вчерашних торжеств ОПН [по случаю Дня памяти жертв фашизма] я предпочел держаться подальше, хотя *Швеpин* прислал мне приглашение в Берлин. Только вчера днем мы с Евой сходили на маленький университетский прием по приглашению ректора, который произнес очень сердечную (и не очень-то оптимистичную) речь. Приглашено 50 персон, присутствовало 38: небольшое угощение – теперь в таких случаях первым делом смотришь на стол: какие приборы? С ножом или без ножа = с мясом или без мяса. Тут было *без* ножа.

Вторник, перв. пол. дня, 28/сент., Галле

LQI: воздушный мост. Каждый вечер, каждую ночь – гул самолетов. Я-то думал: учебные полеты русских. Затем наткнулся на заголовок статьи в "Ауфбау": Анна Зегерс, "Пассажиры воздушного моста". Тогда я сообразил: это англо-амер. самолеты "воздушного моста"[1].

1. 24 июня 1948 г. советское командование закрыло границы, отрезав Западный Берлин от остальной западной зоны. Союзники стали снабжать блокированную часть города по воздуху, что и получило название "воздушного моста".

<...> Может быть, стоит остаток жизни посвятить не истлиту, а преподаванию. Однако успех LTI показывает: мне есть что сказать, и я буду услышан.

Четверг, вечер, 30 сент.

Письмо от *Юлиуса Баба* из Нью-Йорка: ему написали о моем LTI. Дела у него "*весьма* скромны", ему поступают "хорошие предложения" из Германии, но он не приедет: убиты 100 его друзей и родных, нацисты разгуливают на свободе, он вечно будет бояться, как бы ненароком не пожать руку тому, кто затолкал его маленькую племянницу в газовую печь.

Я хочу ответить: "Вы все равно должны приехать".

Среда, 13 октября, вечером

Итак, вчера я впервые читал лекцию в Университете Галле — перед лекцией сильно нервничал. Удастся ли мне и здесь скрывать свое невежество?

Слушателей меньше, чем в Грайфсвальде: там я был достопримечательностью, здесь — один из многих.

Пятница, 5 нояб. 48

LQI. В партии больше не говорят: "поднять вопрос" — а говорят: *разметить* (*anreißen*). Е. утверждает, что это профессиональное выражение чертежников (разметить заготовку).

В ср. 10, Лейпциг

Письмо от Лерха, к которому приложена совершенно невинная машинописная заметка о моем LTI, невинная и политически, и филологически: книга представлена всего-навсего как лексикологическая подборка. Этот в высшей степени безвредный материал он тщетно пытался пристроить в *шесть* разных западных газет и спрашивает, нет ли у меня предположений, почему все ему отказали. Конечно, есть: моя книга пахнет Советами, она говорит о нацистах. Враждебные взаимоотношения между двумя Германиями становятся все более явными.

Пятница, 3 декабря 48, Галле, к вечеру

Во вт. 30-го дел невпроворот: готовился к занятиям. Мучительная работа до 3 ч ночи, за которую в среду 1-го я расплачивался в Лейпциге сердечными болями. Это постепенно превращается в самое обычное для меня дело. В Лейпциге тяжело: тут посидеть, там постоять, здесь дойти. <...> Два интересных момента: по пути туда в переполненном поезде — разговор с коммерсантом средней руки и официантом. Оба

обозлены и решительно настроены против русских и СЕПГ. Коммунизм — утопия, *я* — "салонный коммунист".

Рождественский вечер, пятница, 24 дек. 48

Самый лицемерный праздник — как в общественном, так и в частном смысле; всегда был мне несимпатичен, и сегодня тоже настроение хуже некуда. Хотя особого повода печалиться вроде как и нет. Если бы у нас обоих не болело сердце и не брезжил бы так близко бессмысленный конец бессмысленной жизни, и если бы мне не досаждала так ужасно чесотка и еще ужаснее — совр. франц. лирика, то мы могли бы быть совершенно довольны жизнью.

Особенно по сравнению с предыдущим Рождеством в Грайфсвальде. <...>

Пятница, 31.XII 48, вечером

В первой половине дня пронзительный ветер, и мы с Евой — редкая совместная прогулка — прошлись по Брандберге[1], через свежевырытые окопы и траншеи, оставшиеся после учений русских, через заледеневшие лужи и своеобразный дикий, голый ландшафт, <...> перелески, зимний туман, городская окраина... До полицейского участка на новом погранпункте, единого для всей Восточной Германии. Povera piccola Germania.

<...> По радио, как всегда: 9 симфония[2] и "Летучая мышь". Поневоле думаешь: как много народу уже умерло! И есть ли во всем этом смысл, находил ли его хоть кто-нибудь? "Вечного судии" я не боюсь — а вот Ничто вызывает досаду.

Резюме 48. По совести говоря, ничего не произвел. <...> Зато утвердился как университетский преподаватель. В Грайфсвальде, в Галле, в Лейпциге. И много лекций.

1949

Пн., перв. пол. дня, 3.1.49

Старым людям праздники не нужны. Я рад, что снова пережил все это.

Воскресенье, вечер, 16 января

Обратить внимание: влияние русского на LQI. В "Ленине" (немецкое подразделение московского издательства ино-

1. Заповедник к северу-западу от Галле.
2. Бетховена.

странной литературы) — народники. Деревенская беднота. (Не как франц. une pauvresse[1], а сельскохозяйственные рабочие или сельские пролетарии.) Кальки с русского??

Пятница, перв. пол. дня, 28.I 49

Снабже́ние: за рождественским изобилием последовал все нарастающий дефицит, особенно плохо все по части чая и кофе. Американские и английские посылки, по-видимому, запрещены, если вообще не конфискуются. <...>

Суббота, вт. пол. дня, 12.II 49

День смерти отца. Если бы я по-детски верил, что он смотрит на меня "с небес"! Он бы искреннее, чем я, радовался тому, как я живу. Я изнуряю самого себя и бегу от настоящей работы. С каждым днем усталость растет, а удовлетворения нет как нет — и я все беру на себя новые и новые обязанности, и снова и снова в легком дурмане смешиваю парочку похожих тем и выступаю на ура. Дня не проходит без заседания, или лекции, или чего-то еще подобного, график дел все ширится, каждая лекция влечет за собой приглашение на три новые, и я никогда не отказываюсь. Корреспонденция и прочая работа накапливаются, это превращается в коллекционирование.

Сердце мое все хуже, все слабее. И я все сильнее тревожусь за Еву, у которой сердце болит каждый день, и выписанное лекарство, похоже, совсем не помогает.

Вторник, 8 марта, перв. пол. дня. Дополнения

Примерно с 10.30 до 1 — *поездка в Магдебург.* <...> Затем лекция, мой обычный культурный салат, который иногда подается под соусом "Германия между Востоком и Западом", иногда — "Русские и мы" или что-нибудь в этом духе; иногда пресно, иногда с перчинкой, каждый раз по-новому, каждый раз одинаково и всегда — правда всегда — с успехом.

<...> Наряду с русским культурным салатом нынче выступает салат имени Гёте: главный ингредиент — понятие гуманизма, но постепенно, надеюсь, появится что-то еще. Здесь, на премьере, я особо подчеркивал, что опираюсь на собственный преподавательский опыт, и с самого начала предостерег: не отвращайте! Не отвращайте слушателей и читателей обобщениями, штампованными фразами и долбежкой про вечную молодость, про непосредственное влияние творений "вне времени". Все это неправда, все это вызывает не-

1. Нищие.

приятие. Затем — консервативный, аполитичный Гёте, затем — Гёте-космополит. Салат в ближайшее время будет сервироваться так: просто Гёте, Гёте и зарубежье, Гёте как гражданин мира и т. д.

Суббота, вечер, 23.4.49

Впору заводить экслибрис: “между стульями, inter sedia”.

Берлин-Фриденау у Юдит Квит, Оффенбахерштр., 30,
29 мая 1949, рано утром, в воскресенье

Главное здесь — пронизывающее ощущение, что я нахожусь за границей, в совершенно ином, враждебном мире, и все это в паре улиц от родного Берлина. Деньги есть, но ни проезд в трамвае, ни товар в витринах ими не оплатишь. Подсчеты — кино стоит 2 М, а для тебя это восемь — и образ мыслей, образ мыслей! И постоянно воздушные мосты, постоянно, каждую минуту. День и ночь, несмотря на “отмену”[1] блокады.

Французский фильм где-то в Шёнеберге: *Les Maudits*[2]. В апреле 45-го нацисты на подводной лодке сбегают в Южную Америку. Рассказ ведется от имени франц. врача, которого силой взяли на борт. Дичайший криминальный сюжет, полный жестокостей и прославления grand criminel[3], в нашей нецивилизованной русской зоне фильм бы запретили. <...>

Перед фильмом хроника: англо-американский генералитет, мистер Бевин[4], встреча на берлинском аэродроме, в Лондоне подписана какая-то защищающая Европу конвенция[5] и т. д. Другой мир. И это работает. Я чувствую, как колеблется почва под ногами, чувствую, что изолирован от мира, заперт в микрогосударстве Восточная Германия, которому и собственные граждане-то не верны. И чувствую, что Россия тоже в изоляции. На моей восточной родине — 10 минут отсюда! — мне вдалбливали, сколько миллионов причислены к нашей народной демократии. Но sub specie[6] Запада все эти миллионы — чернь, низшая раса и т. д.

1. 5 мая 1949 г. делегаты союзников договорились об отмене блокады Западного Берлина; 12 мая договоренность вступила в силу, но воздушный мост продолжал функционировать еще какое-то время, чтобы пополнить гуманитарные запасы.
2. *Проклятые* (*франц.*).
3. Большой преступник (*франц.*).
4. Эрнест Бевин — британский политик, в 1945—1951 гг. — министр иностранных дел.
5. 5 мая 1949 г. министры иностранных дел десяти западноевропейских стран подписали в Лондоне устав только что учрежденного Совета Европы.
6. С точки зрения (*лат.*).

Ганс Квит, учащийся Школы Райнхардта[1]: все хорошие артисты уезжают, тянутся на Запад (благо он в 10 шагах). Там они получат денег побольше и роли получше, они не хотят играть в тех пьесах, что ставятся на Востоке. И ведь ничем не рискуют! Если они пожелают вернуться, их примут на Востоке с распростертыми объятиями. Артистов всюду не хватает! <...>

Город в совершенно невозможном состоянии. Спать ложусь в 1 ч. Постоянно воздушные мосты, самолеты летят совсем низко. И с раннего утра опять сплошные воздушные мосты.

Суббота, вечер, 2 июля <...>

<...> Вчера — анонимное послание: газетная вырезка "Салонный большевизм" с моим портретом, поверх которого чернилами написано: "Вам должно быть стыдно, если у вас вообще остался стыд".

Воскресенье, 17 июля

В праздничный вт. 12 июля (12 июля 1694 — день основания Университета Галле, а еще день рождения Е., так что у меня было полно хлопот) часть профессуры впервые вновь облачилась в мантии, и перед большим собранием его превосходительство Винтер объявил кандидатуры, выдвинутые университетом в Академию и на Национальную премию. В обоих списках значится мое имя, в случае с Национальной премией — среди немногих номинантов primo loco[2].

Темно-фиолетовая мантия мне длинновата, тяжеловата, в ней жарко, жесткая шапочка слишком тесна и режет лоб. В культурно-историческом и т. п. отношении очень важно, что восточная зона снова хватается за мантию — революция перенимает традиции, СССР прославляет царизм.

9 августа

Приходил Гюнтер Шмидт. Больная тема. Он перевелся из Йены, где ему грозил арест, так как он отказался доносить русским на своих прозападно настроенных сокурсников, в "свободный Унив.". Я отсоветовал ему здесь останавливаться — конечно, *я* его не выдам. Но он подвергает меня опасности. И его судьба колеблет мои собственные убеждения. Ко-

1. Школа актерского мастерства в Берлине, основанная австрийским актером Максом Рейнхардтом (1873–1943).
2. На первом месте (*лат.*).

нечно, русские обороняются как могут, по большому счету, они правы. Но единичный случай огорчает меня — и не он один. Где свобода, где незамутненная справедливость?

Воскресенье, 14 августа

Я по-прежнему ни в чем не уверен, по-прежнему подавлен. В моей жизни всегда чередовались две фазы: я радовался, то укладываясь спать, то пробуждаясь. Сейчас мне больше всего хочется спать. Я очень устал, многие вещи утомляют меня, и я сомневаюсь во многом, что касается СЕПГ и СССР. Я твержу сам себе: мое время прошло.

Е. неустанно строит планы по благоустройству нашего жилья.

Среда, 17 августа

<...> Повестка из полиции. <...> Конечно же, речь зашла о Ноймарке. Все говорят о нем только хорошее, но русские опираются на документы, которые лежат в Берлине и свидетельствуют против него. Его судьба неизвестна[1], что сталось с его семьей — тоже.

В мюнхенском отчете о моих выступлениях больше всего меня возмутил лживый заголовок: "В советской зоне продается любая дрянь". Во вчерашней "Тэгл. рундшау" — статья о выборах на Западе[2]: в некоторых округах не хватило урн, и рядом с ними поставили картонные коробки, в которых приходит гуманитарная помощь. (Невелик грех, прямо скажем.) В заголовке этой невинной новости написано: "Выборы как фарс: картонки вместо урн". Это попахивает коррупцией. Почему приемы нашей прессы так же отвратительны, как и прессы противника?

Вторник, 23 августа. Дёльцшен.

LQI. Трудящиеся (Werktätige). Эренбург об Испании 1932[3]: исп. республика называется "респ. трудящихся". Должно быть, восходит к какому-то русскому слову. С каких пор прижилось в немецком?

На педагогическом конгрессе в Лейпциге (в эти дни) присваивают звание "Заслуженный учитель". По советскому образцу.

1. Предположительно, Н. умер в 1950 г. в тюрьме в Баутцене.
2. 14 августа 1949 г. в Западной Германии прошли выборы в первый Бундестаг.
3. "Испания сегодня" — книга очерков Ильи Эренбурга, опубликованная в Берлине в 1932 г.

Воскресенье, вечер, 28.8

В перв. пол. дня в 10 ч. я выступал в Борне[1]: мы все еще отмечаем гётевскую годовщину. В 14-й раз рассказывал про Гёте и зарубежье. Весьма боевая лекция, идущая с переменным успехом. Здесь принимали хорошо. Маленький театр с большой сценой, ярусов нет. Из 500 мест заняты 150. Да и можно ли ждать большего — в воскресенье утром, после *переизбытка* всевозможных мероприятий, посвященных Гёте. Если бы можно было зажать уши и не слышать, что передают из Веймара! Сплошная соль на раны. Очень долгий праздник с бесконечной музыкой и неизбежными цитатами: "Edel sei der Mensch..."[2]. <...>

Интересным человеком оказался мой шофер (наемный автомобиль). 31 год. Окончил классическую гимназию в Белостоке, по национальности немец, несколько лет служил в армии шофером и радистом, технически подкован, говорит по-польски и по-русски, к русским относится хорошо, не нацист — но о политике говорить не хотел и от СЕПГ явно не в восторге. Оригинален как в своем образовании, так и в своей необразованности. К другой профессии не стремится, шофером зарабатывает хорошо и имеет возможность все время двигаться, не сидеть на месте, без чего после долгих лет на фронте обойтись не может. Его полуобразованность показалась мне интересной. К тому же занятный психологический момент: на вокзале Франкфурта-н.-О. он предлагает рус. офицерам машину внаем, они платят наличными, от налогов он уходит. "Если они пьяные, деньги у них еще есть; если трезвые, значит, *деньги кончились*, тогда я их не подбираю".

Он рассказал: "*Мы* — подразделение связи — прорвались из Берлина, избежав встречи с русскими, и рассчитывали попасть в англ. или амер. плен. Мы так боялись русских, а в итоге на Люнебургской пустоши ужасно голодали у англичан — столько народу умерло. Гиммлер подписал приказ, что любой офицер имеет право и даже обязан расстреливать трусов и предателей на месте. На улице стоял лейтенант, совсем молодой, и ефрейтор. Мы, связисты, ехали мимо. По улице пешком шел солдат, левая рука в крови, вся израненная, не перевязанная. Оружия при нем не было. Лейтенант: где его оружие, почему он не сражается правой рукой? Дезертир! Раз — и застрелил его. Один из наших крикнул с машины: "Хватит!" — вскинул винтовку и убил лейтенанта. Ефрейтор

1. Город в Саксонии, неподалеку от Лейпцига.
2. Цитата из стихотворения Гёте "Божественное": "Прав будь, человек, милостив и добр..." (перевод А. А. Григорьева).

бросился к нам в машину: “Слава богу! Он застрелил шестнадцать человек одного за другим!”.

Вторник, 6.9.49, утром

К LQI: ОСВОБОЖДАТЬ. Никто больше не грабит — все сплошь “освобождают”: это делают “народно-демократические” армии, это делали партизаны, и Ноак[1], сочинивший программу нейтрального правительства, предлагает, чтобы Запад *освободил* балканские страны, пойдя на них *крестовым походом* — крестовым походом за христианство, за Европу, за *атлантическую* культуру.

Среда, полдень, 7 сент.

Вчера ездили в Беетцендорф[2], в общем и целом очень мило. <...> Около 4 ч тронулись в обратный путь. <...> Неподалеку от Гарделегена[3] дорога перекрыта. Подошел рабочий: подвезите, здесь можно проехать. У русских здесь были (бывают каждый день) учебные стрельбы; они уже полчаса как закончили и посты отвели. Мы беспрепятственно добрались почти до самого города; там наткнулись на опущенный шлагбаум; одинокий юный солдатик с длинным штыком не хотел нас пропускать, говорил только по-русски. По-немецки знал два слова. “Домой?” (вероятно, он имел в виду из Гарделегена мы или нет — мы ответили утвердительно) и “сигареты”. Я протянул ему пачку сигарет. Он взял, вымогатель-скромняга, две штучки — и пропустил нас...

Четверг, вечер, 22 сент.

Омерзительная история с Хофмайстером[4] — главное впечатление этой недели.

<...>

Пн., вт. — ураганные дни. В ср. 14 Х. поехал со мной и Е. в Берлин. На чт. у него было запланировано заседание, он собирался уладить кое-какие дела с инвестиционным банком и т. п., а в пятницу вернуться. Потом прислал телеграмму, что задержится до субботы. Тут начали закрадываться первые подозрения: функционер ОСНП предупредил фрау Уббен, что теща Х. под очевидно вымышленным предлогом пыталась куда-то пристроить и продать мебель...

1. Ульрих Ноак — немецкий историк, после Второй мировой войны выступал за разоружение и нейтрализацию Германии.
2. Община в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
3. Город в земле Саксония-Анхальт.
4. Рудольф Хофмайстер — секретарь Отделения КБ земли Саксония-Анхальт.

Мы ждали до понедельника, затем фрау Уббен и Кройциг поехали в Аллроде. Там жили родители Х., я однажды был у них, Х. давно пытался получить межзональный пропуск для отца, у которого проблемы с желчным пузырем, и отправить его в санаторий в Мергентхайм[1]. Возможно, пока Х. был в Берлине, ему неожиданно представилась возможность помочь отцу, или его срочно вызвали к тяжелобольному...

Результат: дом совершенно пуст, соседи говорят: "Они все распродали и уехали за границу!" (LQI: за границу... на Запад... или попросту "сбежали"). <...>

Воскресенье, перв. пол. дня, 25 сентября

<...> Зубной врач Хинце, которого мне посоветовал Хофмайстер, знает другие подобные случаи, когда люди сбегали на Запад. (Век живи — век учись!) Дерматолог Якоби, которого довел антисемитизм. Много месяцев он жаловался, что его дочь травят в школе. Правительство доверило ему 500 градусников, чтобы его больной жене было на что жить в Вестбаде. Он прихватил жену и термометры и смылся в Бразилию. Директор нашей дерматологической клиники, член СЕПГ, ОПН!..

Близкий коллега доктора Хинце тревожился за будущее своих сыновей, в конце концов поехал с женой и обоими детьми в Швецию. Корабль потерпел крушение. Все спаслись, только его мальчики утонули!

Среда, вечер, 12 октября

"Германская Демократическая Республика"[2]. По радио со вчерашнего дня только об этом и говорят. Выборы президента[3], марши, речи. Слушать тошно. Я ведь знаю, что все подготовлено заранее, что и о спонтанности, и о единогласии тщательно позаботились. Я знаю, что у нацистов все звучало точно так же — и по той же схеме развивалось. Я знаю, как мало тут правды. 20 миллионов — это даже не треть немецкого народа, и из этих 20, по меньшей мере, дюжина настроена антисоветски. Я знаю, что демократическая республика — ложь, что организовавшая ее СЕПГ на самом деле стремится к республике социалистической, что она не доверяет гражданам, а граждане не доверяют ей. Рано или поздно разразится гражданская война.

1. В городе Мергентхайм, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, находятся целебные источники.
2. 7 октября 1949 г. Немецкий народный совет провозгласил себя Временной Народной палатой и на основе ранее принятой конституции сформировал Временное правительство; таким образом была основана ГДР.
3. 11 октября 1949-го Народная палата и Земельная палата единогласно избрали президентом Вильгельма Пика.

Воскресенье, полдень, 6 нояб. 49

Мне вручили приглашение [на торжества по случаю 32-й годовщины Октябрьской революции] "с супругой" от генерала. <...> Большой театральный зал с ярусами, несколько сотен человек, в основном, военные с семьями. На сцене — стол-президиум, задрапированный красным полотнищем. Высшие офицеры, разряженные в пух и прах. <...> Потом сплошной русский, без конца и без края. Один офицер говорил больше часа. Довольно примитивное нанизывание революционных фактов, пояснил мне сосед-словак. Я понял только беспрестанно повторяющиеся интернациональные слова: Германия, империализм, фашизм и т. п. И то и дело Сталин. Трижды его имя произносилось особенно торжественно, все вставали и играла музыка. *Примитивное обожествление пережило гитлеризм!* Именно это, наряду с примитивностью происходящего, произвело наибольшее впечатление. Примитивны бурные и долгие аплодисменты, *докладчик тоже аплодирует.* (Интересно, это русское или американское?)

Чужеродность языка, даже сам алфавит враждебно смотрит на меня с растяжек и транспарантов. Детям придется это выучить, следующее поколение уже не будет испытывать подобных трудностей. Было часов одиннадцать, когда действо наконец завершилось. Мы подумали: теперь еда, светская беседа. Но не тут-то было — перерыв на пятнадцать минут, а дальше выступления: хор, танцоры, гармонисты, солисты, маленькая драматическая сценка невнятного содержания — мы к этому уже привычные. В толстых фигурах мужчин и женщин есть что-то чужое — другая раса. Все это стоит между нами и ними, мешает свободно общаться. Но нужно это преодолевать.

Молодой солдат декламировал что-то героико-трагическое. Невероятный переизбыток страстных, драматических жестов, руки воздеты к небу, рев и шепот — *нас* это даже как карикатура не восхитило. Аплодисменты бурнейшие.

Примитивный вкус. И все же эти примитивы — провозвестники грядущего мира. Наконец-то, наконец-то все закончилось. <...>

Берлинские дни. Конгресс 23—27 нояб., со среды по воскресенье

В пятницу в Галле <...>. Семинар, который я вел, плавно перетек в политическую дискуссию. Одна девушка сказала (и ей не откажешь в правоте): вы делаете пропагандистскую ошибку. Зачем в кино так бурно аплодировать Сталину? Вы сами бросаете вызов оппозиции.

(Ровно то же самое сказал мне в Берлине один человек с Запада: его-де беспокоит неудержимо растущий героический

культ, беспрестанное самовосхваление и аплодисменты. Ровно то же самое испытал я и сам недавно на празднестве в честь Октябрьской революции. Veliki Stalin иногда очень походит на Хайль Гитлер.)

Четверг, втор. пол. дня, 22.12. до пятницы вечера 23.XII

Сталин. Подарки со всего света: немного напоминает дары волхвов младенцу Христу, немного *слишком* по-восточному.

31 дек., ровно в полночь, суббота, 1949

Наш Новый год: весь день (да и вчера тоже) Е. мучает ужасный кашель, при этом она продолжает писать под мою диктовку. <...>

1949-й принес всю эту суматоху с Гёте, политически раздутую. В газете пару дней назад написали, а теперь торжественно объявили по лейпцигскому радио: 1950 год будет посвящен Баху[1]—Руммелю[2]. За единую немецкую культуру. <...>

Еве, увы, досаждает не только кашель — она очень страдает от расширения сердца; да и у меня сердце болит, когда поднимаюсь по лестнице или просто иду. Доколе? И кто первый? А там — Ничто.

И хотя мне все это должно быть безразлично, меня все равно мучают поражения этого года: не досталось мне ни Национальной премии, ни места в Академии, ни берлинской профессуры. И ведь я знаю, что, по совести говоря, не имею на все это никакого права, что я никогда в жизни не был филологом. И всем, что перепало мне начиная с 1945-го, я обязан тому, что на Востоке у меня просто-напросто нет конкурентов.

Никак не могу решить: может, пора выйти на пенсию и вернуться в Дрезден?.. И манит, и страшно.

Мы так ужасно одиноки. Большинство наших друзей умерли, а те, кто еще живы, либо недостижимо далеко <...>, либо еще дальше, так как против Советов <...>.

Что создал я за 1949 год? Почти ничего нового. <...> Повторял, комбинировал одно и то же на разные лады.

В этом году я стал первым председателем КБ.

То есть уже в прошлом. На часах 1.40.

1. Бах умер в 1750 г.
2. Вальтер Руммель (1887—1953) — немецкий композитор и пианист, аранжировал многие произведения Баха.

Марина Ефимова

Нарциссизм в личной жизни

Древнегреческий миф о Нарциссе все помнят обычно в сокращенном варианте: *необычайной красоты юноша по имени Нарцисс, увидев свое отражение в тихой воде пруда, так страстно влюбился в него, что умер от этой безнадежной любви.* Основа этого бессмертного мифа и дала литературную форму и имя общеизвестному явлению, которое в просторечьи называется *самовлюбленностью*, а научно – *нарциссизмом.* Вспомним *детали* мифа. Бесплодной самовлюбленностью Нарцисса наказала Немезида – услышав стенания людей и нимф, чью любовь безжалостно отверг красавец-юноша. Мальчик Аминий покончил с собой от любви к Нарциссу, а нимфа Эхо потеряла дар речи и лишь повторяла последние слова того, кого так безответно любила. За неумение *любить других* Немезида (по другим версиям Афродита) наказала юношу любовью к самому себе. На прелестной картине художника Брюллова от приникшего к воде Нарцисса улетает Купидон, оглядываясь на юношу с тем отчуждением, с каким смотрят на обреченного.

Статус психологического отклонения, или *личностной дисфункции* нарциссизм получил сравнительно недавно, даже если начинать отсчет от пьесы Жан-Жака Руссо 1752 года "Нарцисс, или Самообожатель" (в принятом русском переводе – "Нарцисс"). Накануне XX века европейские сексологи называли "нарциссизмом" мастурбацию, относя ее к сексуальным извращениям. Только в 1911 году психолог Отто Рэнк определил первые симптомы нарциссизма: *тщеславие и восхищение самим собой.* В 1914 году Зигмунд Фрейд написал работу "К введению в нарциссизм". В 1923 году Мартин Бубер в нашумевшем эссе "Я и Ты" заметил, что наш нарциссизм часто ведет к тому, что мы воспринимаем других людей *объектами* нашего к ним отношения, вместо того чтобы видеть в них отдельных от нас и равных нам существ. С тех пор многие книжные полки заполнились работами на эту тему, и в 2014 году мы получили новую книгу, написанную *со страстью* известным журналистом, редактором журнала "Тайм" Джеффри Клюгером. Она называется "**Нарцисс рядом с вами**. Изучая монстра в вашей семье, в оффисе, в вашей постели – в вашем мире"[1].

© Марина Ефимова, 2017
Совместно с радио "Свобода".

1. Jeffrey Kluger. The Narcissist Next Door. Understanding the monster in your family, in your office, in your bed – in your world. – NY: Riverhead Books, 2014.

Нарциссы — вокруг нас. Это — приятель в баре, который весь вечер увлеченно рассказывает о своей новой работе, новой семье, новой машине, но в тот момент, когда ты делаешь попытку рассказать ему о себе, его глаза начинают рассеянно блуждать. Это — подруга, которая тратит немыслимое время на улучшение своей внешности и одежды, но от которой не услышишь ни слова о *твоем* виде — одень ты хоть дорогой костюм, хоть дерюгу. Это — родственник, который в День благодарения занимает застолье своими монологами — от тыквенного супа до тыквенного торта, не давая никому вставить слова. Нарциссы — среди твоих коллег и начальников, среди людей, которых ты любишь, и среди людей, которые любят тебя (до тех пор, пока они тебя не предадут).

Тут стоило бы добавить, что если посмотреть в зеркало (за неимением пруда), то и там можно заметить нарцисса. Какие же свойства отличают нарциссов?

Люди с симптомами нарциссизма, — с*читает клинический психолог Нора Майдански*, — склонны ассоциировать себя со знаменитостями, с людьми популярными, с красавцами. Иногда они преувеличивают степень знакомства или даже придумывают его. Они также преувеличивают свои достижения, свои должности, заработки, статус. (Иногда подобное хвастовство объясняется преувеличенной самоуверенностью нарциссов, иногда, наоборот, тщательно скрываемым комплексом неполноценности.) Нарциссы любят представлять свою работу особенно важной или особенно трудной. Они склонны преувеличивать свою роль на службе и в семье, а потому особенно болезненно переживают, когда их недостаточно ценят. Нарциссам важно, чтобы их романтические партнеры вызывали общее восхищение. Они легко завязывают новые знакомства и новые любовные связи, но *долгие* отношения для них трудны, а иногда и невозможны. При этом, если партнер уходит от них, они впадают в более сильную депрессию или гнев, чем люди *без* этого отклонения.

Разумеется, нарциссы, как и все прочие люди, различаются по уму, образованности, уровню вкуса и чувства юмора. В людях умных и сложных нарциссизм не так демонстративен, как у людей прямолинейных. Тем не менее несколько общих симптомов, как считают психологи, присущи всем нарциссам: сочувствие и симпатию нарциссы чаще всего испытывают лишь к тем людям, которые симпатизируют им самим, ценят их и восхищаются ими. Нарциссы абсолютно доверяют собственным суждениям во всех областях жизни. Они практически не способны встать на точку зрения другого человека и в личных отношениях фокусируются на *собственных* интересах и нуждах. Они не склонны к самопожертвованию, редко испытывают угрызения совести и чувство вины, потому что им свойственно ощущение своего бесспорного права на то, чего им очень хочется.

В книге “Нарцисс рядом с вами” Джеффри Клюгер приводит интересные (хотя и не всегда убедительные) примеры

нарциссизма у знаменитостей. В частности, красавец-актер Уоррен Битти, который по слухам (точнее, по легенде) в молодости прошел через отношения с двумя тысячами женщин, был, по мнению Клюгера, типичным нарциссом. Правда, когда актер встретил актрису Аннет Бенинг, весь его нарциссизм кончился и он стал счастливым семьянином. К другим примерам нарциссизма Клюгер относит поведение актрисы Ингрид Бергман, которая в свое время оставила мужа-хирурга и ушла к знаменитому итальянскому кинорежиссеру Роберто Росселини. Пример тоже *сомнительный* — трудно заподозрить известнейшую кинозвезду в охоте за знаменитостями. Но вот над одним примером (и связанным с ним рассуждением) можно задуматься:

Одна из примет нарциссизма – отсутствие контроля над импульсами. Когда пожилому актеру Вуди Аллену пришлось давать объяснения по поводу его романа с юной приемной дочерью своей жены (приведшего к распаду семьи), он сказал только: *Сердце любит, кого любит.* Эта искренняя и даже трогательная фраза – девиз нарциссизма. Способность ради других отказаться от исполнения собственной мечты – урок, который далеко не все из нас могут выучить. Что до нарциссистов, то они ради исполнения своей мечты за ценой не постоят, особенно за ценой, которую платят другие.

Особого рода неприятности ожидают людей, которые работают с нарциссами или, что еще хуже, находятся у них в подчинении. Вот что говорит об этом профессор психологии Массачусетского университета Сьюзан Уитборн:

– Это большое испытание. Нарциссы-начальники не слушают вас, не принимают объяснений. Вы чувствуете, что они вас постоянно оценивают. Они без конца созывают совещания, на которых все должны выслушивать их длинные монологи. Они ожидают, что подчиненные должны читать их мысли, а если нет, то эта недогадливость вызывает их искреннее возмущение и гнев. Не намного лучше и нарцисс-коллега. Его постоянное чувство обделенности может довести до неприязни, до жалоб на вас, до попыток вас дискредитировать. Словом, рано или поздно ждите удара в спину[1].

Профессор Уитборн – автор многих работ по теме нарциссизма, в том числе статьи под названием "Почему нарциссы так чертовски сексапильны"[2].

Психологи ассоциируют нарциссизм с избыточной любовью человека *к себе*, но редко обращают внимание на то, что и *другие* люди испытывают некую магнетическую тягу к нарциссам. Да, они любят себя, но и мы их любим (недаром памятью о Нарциссе стал всеми любимый цветок). Во-первых, нарциссизм почти всегда связан с красотой и физической привлекательностью. Но

1. Интервью с М. Ефимовой на радио "Свобода" (2014).
2. Susan Kraus Whitbourne. Why Are Narcissists So Darn Sexy? // Fulfilment at Any Age, April 30, 2013.

главным магнитом является их уверенность в себе, благодаря которой они обладают важными свойствами — смелостью в общении и обаянием. К тому же уверенность привлекательна и сама по себе, если она естественна и не агрессивна. Все психологи единодушны: нарциссизм почти всегда соседствует с чувством юмора и с умением нравиться. Нарциссы — чемпионы начальной стадии отношений.

Несколько американских и европейских ученых провели одновременно грандиозно организованный тест среди студентов. Они отобрали по нескольку десятков людей (мужчин и женщин) с явными признаками нарциссизма и провели опрос среди остальных студентов, кем бы они хотели видеть этих людей: своими любовниками или своими друзьями. И подавляющее большинство ответило: любовниками, но никак не друзьями. У нарциссов замечательно обстоят дела с любовниками и любовницами, но туго — с друзьями. Они не любят работать в группе и обычно не любят командных видов спорта, им трудно подчиняться общим интересам. О том, как они ведут себя в долгих отношениях и в браке — в интервью профессора Уитборн:

— Это во многом зависит от партнера. Если он или она готовы жить связанными по рукам и ногам и всегда ставить на первое место нужды партнера, этот брак может длиться долго. Такому подчинению психологи даже дали специальный термин — *нарциссистское обеспечение* (narcissist supply). Дело в том, что нарцисс избегает интимности (не в сексуальном смысле, а в смысле близости отношений с партнером) — чтобы остаться свободным. Он не участвует в той семейной деятельности, которая ему не интересна, и не устанавливает со своим партнером справедливый обмен услугами. Нарцисс не только не отказывается от новых увлечений, но и не очень скрывает их, потому что его ощущение своего права на счастье гораздо сильнее способности сочувствовать другим. С нарциссами уживается, как правило, три типа партнеров: страдальцы, готовые на безответную любовь (и обреченные на судьбу нимфы Эхо); люди смелые, готовые к экспериментам и лишенные эгоцентризма (редкий тип); и... другие нарциссы. У остальных рано или поздно наступает момент, когда они понимают, что жить с нарциссом невозможно.

Не исключено, что в проблеме нарциссизма существует и обратная связь: то есть дело не только в том, что нарциссы обаятельны и сексапильны, но и в том, что многие талантливые, значительные, обаятельные и остроумные люди обладают (здесь не подходит слово “страдают”) симптомами нарциссизма. И они нравятся не за нарциссизм, а вопреки нарциссизму. Я думаю, немало великих людей были нарциссами.

В этой заметке мы не рассматриваем *патологического* нарциссизма, но даже и в случаях нарциссизма в пределах нормы американские психологи, обсуждая личные отношения с нарциссистами, дают один совет: бежать! Мне ка-

жется, россияне терпимей к разного рода неравенству в браке. Я спросила у профессора Уитборн, не потому ли американцы относятся к нарциссизму так панически, что они ставят справедливость и равенство во главу угла *всяких* отношений, включая любовные?

– Это очень интересный вопрос. Действительно, возможно, мы и хотим жить в соответствии с теми фантазиями, которыми у нас окружены браки: полного понимания, полного равенства, полного удовлетворения нужд и желаний и того, и другого партнёра. Так не бывает. Поэтому, может быть, достойнее не рваться к новому, а разобраться в том человеке, с которым живешь и которого есть за что любить. И если он – нарцисс, научиться уживаться с этим с наименьшим уроном для себя. И, кстати, есть много примеров того, что нарциссизм слабеет с годами, особенно у людей, которые живут в больших семьях и у которых сохраняются хорошие отношения с супругами.

Если с нарциссизмом можно ужиться в *личной* жизни, то труднее принять его как черту, характерную для *общества.* А многие психологи настаивают на том, что нарциссизм становится эпидемией. Читаем в книге "Нарцисс рядом с вами":

За точку отсчета начала повального нарциссизма в Америке стоит принять 2006 год, когда журнал "Тайм" в качестве человека года поместил на обложке рисунок ручного зеркала с крупной надписью на нем: *ты* – то есть каждый. И надпись, чтоб не ошиблись: *Человек года – ты!* С годами любовь к себе усиливалась. Фэйсбук стал формой нового искусства, в котором каждый отражает те свои стороны, которые считает привлекательными. Визуальный эквивалент твиттера позволяет показывать 11-секундное кино о себе – на радость всему миру. В детских садах разучивают песенку: "Я особенный, я особенный, взгляни на меня!" В списке книжного интернет-магазина "Amazon.com" – 70 тысяч наименований под рубрикой "Самоуважение" (и это только в бумажной обложке). Обратите внимание на названия книг: "Я себе нравлюсь!"; "Лучшее, что есть во мне"; "Счастлив быть мной". На детей рассчитаны 3700 наименований книг, 300 из них – для возраста до 2-х лет!

Американцы уважают науку и доверяют ей. И мне кажется, многим из них нравится представлять собственные недостатки и пороки дисфункциями, с которыми сам человек справиться не может и поэтому доверяет их заботе врачей. Автор книги "Нарцисс рядом с вами" приводит несколько подобных примеров. Женщина, которая часто вытирает дизенфицирующими салфетками стол в офисе, говорит, извиняясь: "Ой, у меня такой OCD!" (обсессивно-компульсивное расстройство – то есть навязчивые идеи). Распущенные люди "косят" под жертв "биполярной дисфункции". Любители сладостей оправдываются гипоглюкемией и прочее. Нарциссы не хуже других – у них есть NPD – нарцистическая личностная дисфункция. Вспоминается герой книги Джерома Джерома "Трое в лодке, не считая собаки", который в детстве страдал болезнью пе-

чени. Он узнал о ней из рекламы пилюль, где приводился главный симптом болезни: *нежелание ничего делать*. Отец не знал, что мальчик болен, и давал ему не лекарство, а подзатыльники. И герой признается, что это часто помогало: "Удивительно, — добавляет он, — как действенны бывают домашние средства".

Нарциссизм — часть любой человеческой личности, — *пишет Клюгер в книге "Нарцисс рядом с вами"*. — Но он, как крепкие напитки, должен иметь свое место и время. Мир обеднеет без крепких напитков так же, как он обеднеет без элементов разнообразия в человеческой личности. Но эти элементы могут быть оживляющими, а могут быть калечащими. Разница — как и со многими другими человеческими свойствами — определяется способностью человека их контролировать.

Итоги 2014–2016 гг. Наш конкурс

Дорогие читатели!

Благодарим всех, кто откликнулся на нашу анкету и принял участие в очередном конкурсе. Кто-то из читателей ограничился коротким эссе на заданную тему, а многие, проведя большую изыскательскую работу, существенно пополнили редакционную коллекцию очень интересных сентенций об искусстве перевода. Мы с удовольствием убедились, что наших читателей волнуют проблемы перевода, волнуют скромные таинства той профессии, в которой "переводчик от творца только именем рознится" (В. К. Тредиаковский). Вспомним, что и В. А. Жуковский говорил: "...у меня почти все чужое" или по поводу чужого: "и все, однако, мое".

Мы признательны авторам писем, которые, приняв наше приглашение, прислали нам и критические замечания в адрес материалов, опубликованных в "ИЛ". Благодарим и тех, кто поделился своими соображениями по поводу того, каким в наше время должен быть журнал, посвященный исключительно зарубежной литературе.

По итогам вашего голосования лучшими публикациями журнала за 2015–2016 годы были признаны:

Романы

Патрик Модиано *Ночная трава.* Перевод с французского Т. Петухова;

Эден фон Хорват *Юность без Бога.* Перевод с немецкого И. Дембо.

Документальная проза

Джон Фаулз *Дневники (1965–1972).* Перевод с английского В. Бернадской;

Ана Бландиана *Лжетрактат о манипуляциях.* Перевод с румынского А. Старостиной;

Кшиштоф Занусси *Жизненные стратегии, или Как съесть пирожок, чтобы он остался цел.* Перевод с польского Д. Вирена.

Специальные номера

И снова бард.... К 400-летию со дня смерти Шекспира,

Дерево с глубокими корнями: корейская литература,

Конец земли, Европы край... Номер посвящен литературе Португалии.

Литературные гиды

Странствующий по миру рыцарь. К 400-летию со дня смерти Сервантеса,

Я в Берлине. Сидоров. К 70-летию Победы.

Ну а теперь имена тех, кто выиграл подписку на журнал "Иностранная литература" на 2018 год:

И. В. Амельченко (Пензенская обл. р. п. Лунино.),
А. М. Баженов (г. Тула),
Д. Долженко (Пензенская обл., р. п. Лунино),
И. Ю. Кононенко (г. Шахты),
В. Т. Маклаков (г. Екатеринбург),
А. В. Маркин (г. Екатеринбург),
В. И. Мурзинцева (г. Новосибирск),
Е. В. Панышева (г. Санкт-Петербург),
М. Ф. Печенко (г. Минск),
Д. Ткаченко (г. Санкт-Петербург).

И в заключение предлагаем вашему вниманию конкурсное размышление о переводе, присланное нам читателем из Екатеринбурга В. Т. Маклаковым.

Перевод, который всегда с тобой

Преамбула. Тема конкурса, которую предъявил журнал читателям на этот раз, не чета всем предыдущим. Ориентиров-высказываний, афоризмов (а если еще подсобрать "по дороге"), вопросов от редакции выставлено столько, что ощущаешь — столкновение с этим "титаником" по имени "перевод" неминуемо закончится катастрофой. Да и речь идет не о протокольно-дипломатическом, не о военном, не о машинном переводе — о переводе литературном, художественном, поэтическом. Это испытание, как плавание в "северные воды"; то, что доплывешь "до Америки" — не факт. Далее буду отталкиваться от ваших сентенций, добавляя к ним другие, похожие, находя сопряжения, приближаясь к поставленным вопросам и двигаясь к ожидаемой катастрофе. Тем более что стоящие отдельно фразы, как будто "афоризмы", теряют контекст, живые связи, взывают к достройке и додумыванию.

Собственно, с "катастрофы" все и началось: потерпев неудачу с проектом "Вавилонская башня", человечество придумало альтернативный, как будто спасительный, сотериологический проект "Перевод". Имя одного из первых переводчиков жреца Анхурмеса, работавшего на стыке аккадского и шумерского языков, которое доносят нам источники середины II тысячелетия до н. э., где-то из этих месопотамских мест. И аккадский эквива-

лент — "тарганум" слова "переводчик" предшествует, по мнению исследователей архаических языков, устаревшему русскому "драгоман". Будем считать это истоком, началом.

1. Первое извлечение из Осипа Мандельштама о том же, об истоке перевода — "И снова скальд чужую песню сложит / И как свою ее произнесет". То, что оно первое, начальное, совершенно точно по месту в нашем размышлении, если восстановить ранний акмеистско-ностальгический контекст авторской тоски по утраченной культуре/культурам, которые может вернуть только сила поэтического воображения. В дополнение к данным строкам — из того же стиха "Я не слыхал рассказов Оссиана..."

> Я получил блаженное наследство —
> чужих певцов блуждающие сны;
> Свое родство и скучное соседство
> Мы презирать заведомо вольны.

Из соседних удивительных стихов того времени —

> Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
> Я список кораблей прочел до середины:
> Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
> Что над Элладою когда-то поднялся.

И строки, заканчивающиеся сакраментальными вопросами —

> О Цезарь, Цезарь, слышишь ли блеянье
> Овечьих стад и смутных волн движенье?
> Что понапрасну льешь свое сиянье,
> Луна без Рима, жалкое явленье?

Конечно, это не о переводе как таковом. Это что-то другое, поиск истоков вдохновения, созвучий-песнопений с великими — Гомером, Овидием, Катуллом, Оссианом — носителями "блаженного наследства", надувающими "паруса" для песни нового скальда. Это скорее изначальная романтическая настройка поэтического голоса к последующему благозвучному исполнению. Похоже, здесь заключена интрига художественно-поэтического перевода. Не случайно первые имена романтического письма видели перевод органической частью поэтического творчества, как ни покажется это на первый взгляд неожиданным: "Романтизм — это перевод" (К. Брентано), "Всякая поэзия в основе своей есть перевод" (А. Шлегель, Новалис).

Нужно вспомнить В. А. Жуковского, считающегося основоположником русского поэтического перевода, при этом позволявшего себе такие вольности в плане адекватности оригиналу (те же немецкие романтики), что многие его сочинения, считающиеся авторскими, точнее назвать "переложениями" или отнести к рубрике "по мотивам". Как и называли свои обращения к иноязычным авторам, допустим, Пушкин и Лермонтов — "Из

Гёте", "Из Гейне" и т. п., не считая их переводами. Даже в отношении более точного и по-прежнему канонического на сегодняшний день перевода Жуковского "Одиссеи" Гомера С. Аверинцев замечает: "Жуковский вполне адекватно дал нам то, что мог бы и должен был дать — романтическое видение Гомера".

2. Перевод в спектре сравнений — флористико-орнаментальных и феминистско-музыкальных (Валерий Брюсов и другие). Фраза корифея, практика и теоретика отечественного перевода Валерия Брюсова из его статьи 1905 года "Фиалки в тигеле" о реальной неисполнимости и притягательности мечты о совершенном поэтическом переводе вводит нас во флористико-орнаментальную и феминистскую плоскость. Чтобы точнее уловить отношение оригинала и его иноязычного перевоплощения, без растительно-ковровых и женских ассоциаций не обойтись, как показывает даже беглое погружение в "мир мудрых мыслей" о переводе. Впрочем, само признание в разновекторности замысла и результата — назовем это разведение "дилеммой перевода" — от прослывшего буквалистом в переводческом деле Брюсова есть свидетельство того, что в лице переводчика его общие воззрения и практика самого дела вовсе не предполагают совпадения. Можно, что называется, и "не заморачиваться", приняв расхожую сентенцию "Переводы — это цветы под стеклом", или вполне трезвый тезис современного афориста — "Поэтические переводы невозможны, но необходимы" (Е. Витковский).

В связи со статьей Брюсова, как всегда, интереснее оригинал, то есть слова английского поэта (романтика опять же) П. Б. Шелли про фиалку и тигель, давшие ей название: "Стремиться передать создания поэта с одного языка на другой — это то же самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку с целью открыть основной принцип ее красок и запаха. Растение должно возникнуть вновь из собственного семени, или оно не даст цветка, — в этом-то и заключается тяжесть проклятия вавилонского смешения языков"[1]. По принципу национальной близости уместно привести строки предшественника Шелли Р. Бёрнса, исполненные того же критического пафоса в адрес всех переводчиков как изгоев от литературы:

О ты, кого поэзия изгнала.
Кто в нашей прозе места не нашел. —
Ты слышал крик поэта Марциала:
Разбой! Грабеж! Меня он перевел!

Перевод С. Маршака

1. Встретилась и другая версия перевода этой фразы без драматической концовки, но с акцентом на жесткий, "тигелевый" характер переводческой процедуры: "Пытаться воспроизвести какой-нибудь поэтический текст на другом языке — это все равно что взять фиалку, бросить ее в тот сосуд, где на сильнейшем огне плавится какой-нибудь металл, и притом питать безумную надежду, что таким образом удастся постичь первооснову ее цвета и запаха".

Ответ и разрешение "дилеммы перевода" Брюсов видит в переводческой деятельности больших самобытных поэтов, называя имена Пушкина, Тютчева, Фета, но, по существу, регулярно и результативно переводами занимался только Фет, не нашедший признания современников на этом поприще. Пушкин относился к труду переводчика заинтересованно, почтительно (хрестоматийное "переводчики — почтовые лошади просвещения") и сдержанно одновременно: из письма князю Н. Б. Голицину, знатоку французского и переводчику "Бахчисарайского фонтана" — "...тот род литературы, которому Вы предаетесь, самый трудный и неблагодарный из всех, какие я знаю" [подчеркнуто мной. — *М. В. Т.*].

Но посыл Брюсова — увидеть больших поэтов в результатах их "неблагодарного" труда — получил воплощение в Серебряном веке, и он сам стал олицетворением этого невиданного процесса. И. Анненский, К. Бальмонт, Вяч. Иванов, И. Бунин, А. Блок, Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам и т. д. — для большинства крупных имен этой генерации перевод стал органической частью поэтического развития и самосознания. В советский период многое изменилось, но тяготение к переводу было продолжено.

Об "орнаментальных" сравнениях. Они идут в том же направлении несовпадения подлинника (ковра) и перевода (изнанки), озвученные еще в XVII веке английским поэтом Д. Хауэллом, продолженные П. Буастом и завершенные в XX Корнеем Чуковским: "Перевод — это именно изнанка ковра, не дающая никакого представления о самом ковре, то есть о подлиннике".

Разумеется, самыми частыми стали феминисткие, женские образы, преимущественно скептического свойства. Н. М. Карамзин в "Письмах русского путешественника" приводит мнение Гёте о переводчиках, который уподобил их "искусным сводникам, умеющим представить женщину под вуалью красавицей, достойной любви и поклонения; они возбуждают в нас непреодолимое влечение к оригиналу". Мотив неподлинности имеет свою вариацию — "читать поэзию в переводе — все равно что целовать женщину через вуаль" (Дж. Джейкобс). Еще более расхожим предстает сравнение перевода с женщиной от Гейне: "если она красива, то неверна, если верна — некрасива". Не случайно, по поводу качества переводов и сопровождающей их вуали женской недоступности как непереводимости язвительно пошутил Аркадий Аверченко: "Гюго Виктор — автор знаменитого романа "Notre Dame de Paris", вышедшего на русском языке под заглавием "Наши дамы из Парижа".

Как итог и парафраз этих мнений, назовем книгу о переводе середины XX века французского исследователя Ж. Мунена с показательным названием "Неверные красавицы", где тема переводческого украшательства, сознательной неадекватности, иллюминаторства ставилась как актуальная проблема перевода и книгоиздания того времени. Мунен связывал неумение представить оригинал как "красавицу" с односторонне-филологическим отношением переводчика к тексту, с незнанием этнографических, исторических, культурных реалий, пронизывающих его содержание и форму.

Исчерпывая спектр сравнений, приходим к музыке и соответствующим ей качественным характеристикам стиха — форма, строй, метр, ритм, гармония, высотность, интонация, — предопределяющим своим сплетением и его логику, и тайну, и впечатление подлинности. "Пусть каждый знает, что нечто, заключенное в целях гармонии в музыкальные основы стиха, не может быть переведено с одного языка на другой без нарушения всей его гармонии и прелести" — доносит нам великий Данте. И противоположный акцент, доносящийся не через века, а совсем близко — это Корней Чуковский, глубокий переводчик английской поэзии: "Слова Верлена 'музыка превыше всего' должны относиться и к переводам. Мне лично всегда было важно — прежде всего — почувствовать музыкальный строй Бёрнса, Шекспира, Вордсворта, Китса, Киплинга, Блейка, детских народных песенок...".

И, следовательно, такой "музыкальный финал" может быть как аргументом "за", так и "против" возможности обретения оригинала, воспроизводя "дилемму перевода".

3. Почва перевода (Шандор Каняди, Антон Чехов, Андре Лефевр).
А. Оттолкнемся от слов Каняди — "Перевод, как голубиная почта, летит только в сторону родного языка". Конечно, у современного поэта, живущего с рождения в Румынии и принадлежащего к этническому венгерскому меньшинству на ее территории, к тому же численно сокращающемуся в последние десятилетия, есть свои резоны сформулировать тему перевода так. Между тем значение этих слов фундаментально.

В самой природе языка есть близкое, родное, домашнее. Давая имена, названия, описывая, определяя, объясняя, мы обживаем мир, делаем его своим, создаем "дом бытия" (Хайдеггер). Точнее, он уже есть — в языке. Безъязыкое может только корчиться (по Маяковскому).

По мифу, решили "дом бытия" освятить башней невиданной — божественной, вавилонской. Строили всем миром. Как это бывает в коммунальной квартире (не по мифу), стало тесно. Захотелось шири, чтобы шире. И случилось страшное! Трещины пошли, разломы. Развалилась башня, разбежались люди, договориться не смогли. Языки стали разные и розные, несговорчивые. Так на смену вавилоно-коммунальной жизни пришла межъязыковая коммуникация (см. Преамбулу).

Далее передаю слово своей пра...бабушке.

История о переводе. Былинная (речь пра...бабушки)

Случилось три языка, сказывают — яврейский старый, елинский, старый тож (грецкий ишо зовется), латинский што ли, в Риме который. Греки, они поначалу гордые были, никого не замечали. Повоюють-повоюють меж собой и опеть по своим, как их там, полисам. Мы — по лесам, а они — по полисам. Рифма, сынок, получается.

Потом явреев-то заметили, што ини там свое все пишут-пишут, законом зовут. Да то царь египтский вразумил, Пталемей вроде, гордых-то. Пяреводы

штоп читали. И сами старались. Вот и записочка его к главному по законам у меня храниться. Почетай, миленькой (передает старый лист, читаю).

Желая сделать приятное всем живущим на земле иудеям, я решил приступить к переводу вашего закона и, переведя его с еврейского языка на греческий, поместить эту книгу в своей библиотеке. Поэтому ты поступишь хорошо, если выберешь по шести старых мужей из каждого колена, которые вследствие продолжительных занятий своих законами многоопытны и смогли бы в точности их перевести. Я полагаю стяжать себе этим делом величайшую славу.

Птолемей II Филадельф

И пяревели! Собрали 72 умных самых, как Пталемей сказал, на острове Средиземском, штоп никто не мешал. И кажен отдельно. Толковники оне звались, во как! Бестолковых, знать, не брали. Так и перевели. Потом те то, но другие уж, правда, толковые тож, новые законы прибавили. И все на елинском написано.

Тут римские и всполохнулись. С грецкого на свой язык все переправили. И название. У тех — Библия, книга стало быть, у этих — Вульгата. Почему? Штоп не так, как у соседей. Так и пошло. И до нас дошло — про Кирилла и Мефодия святых слыхал, конешно.

Читали книгу ту, знамо, грамотные. Нашли оплошки в ей. Эразм был такой у тех латин — галанцкий, не римский. Супротив стал. Говорил так, учено: "Penitentiam agite, penitentiam agite (творите покаяние, творите покаяние), — написано, мол, в Вульгате. Это неправильные слова. Кто вас заставляет, люди мирские, каяться? Никто. Сами должны. И перевел так — resipiscite, resipiscite (покайтесь, образумьтесь). Грешные — это я добавляю (пра...бабушка).

Немцы потом появились — Лютер Мартин такой. Письмо аж сочинил "Послание о переводе". И аглицкие не хуж — Уиклер, Тиндел, как его... Уильям. И пошли переводить, и пошли... Уильяма того жисьти лишили — казень учинили. То-то.

А на Руси-матушке што? Да тоже переводить зачали, с ихних всех — с елинского, римского, как это правильно, латинского, нямецкого, аглицкого, а там францкого... Што началось! Одного Ваську Жуковского вспомню: от их берет, а назовет — по-нашему. Там — Цецилия, у него — Светлана; там — Матильда, у него — Марфа; там — Ленора, у него — Людмила. Мне, книжелюбке, видать, пособить хочет, штоп по нраву было про Людмилу их-не чтенье. Сашка Пушкин половчее будет. Тот послушат-послушат, што говорят, почитат-почитат, што сочиняють, попереводить-попереводить, потом — раз! — по-своему сделат. И до слез. Дивлюсь — ух какой!

А в СССР што? Внучка сказывает: когда совейская власть всех вспугнула, толковники наши, пяреводчики, попрятались, как в "Тараканище" (помнишь, мама, внучечка моя, тебе читала?). Горький, Пешков который, стал всех звать, не бояться. Ваня Кашкин, смелый, артель из них собрал. И за работу! Так как-то выживали. Взялись за Одиссея нонешнего, имя какое-

то... — вроде Улисс. Аглицкую поэзию, сборник такой, пяревели. Оська Бродский полюбил его крепко; так зачитался, што на аглицкий совсем перешел. Вавилон новый какой-то вышел — журнал "Интер-национальная литература". Сейчас он называется "Но-странная литература".

— Как, как называется? Повтори.

— Ой, что со мной?! Видно, устала, букву И, И букву пропустила. Называется "И-ностранная литература". Тиражок у него, конечно, маленькой; внучка говорит: а бывалочи такой тераж... (не может вспомнить прежний тираж). Хорош, хорош журнальчик! Сейчас правнучок мне на ночь читает: так и засыпаю под родную речь.

В. С Антоном Павловичем Чеховым, казалось бы, сюжет особый, другой, но он лежит в плоскости предыдущего сюжета о родной, национальной почве перевода с разворотом на 180° по отношению к нему. В письме А. С. Суворину мая 1891 года речь идет об авторском чеховском отношении к чужим переводам ("когда я читаю чужие переводы"), за которым скрывается (и открывается) общая тема существования произведений одной культуры, одной почвы, национального языка на почве другой, в частности, и существования произведений самого Чехова на иных языках.

Как он относился к переводам "своего" на "чужое"? Неважно, если делает предположение, что "беллетристику я переводил бы великолепно". Переводами своей беллетристики Чехов интересовался и некоторые основные языки знал в большей или меньшей степени, особенно, французский. К тому времени он был уже известным и регулярно печатающимся в европейских изданиях автором. Правда, последние зачастую игнорировали его авторство и не платили гонорар; более благосклонно Чехов относился именно к переводам на французском, однако не столько по причине большей честности французских издателей или более высокого уровня французских переводчиков.

Причина чеховского скепсиса глубже, и сам Чехов, большой художник и уже знающий себе цену литератор, ее называет в концовке предложенного фрагмента письма — "получается у меня нечто легкое, эфирное, подобное кружевам". Вероятно, а скорее очевидно, это качество "легкости/эфирности" коррелировало с особенностями французского языка и проявлялось в более приемлемом для него уровне переводов на этом языке.

В остальных, даже в большинстве, случаях хочется перевести самому, что и бывает. Например, писатель Василь Быков после знакомства с первыми переводами своих книг с белорусского на русский далее переводил сам, и корневая близость этих языков облегчала его задачу. Случай Чехова другой.

Он спрашивает "Зачем я не знаю языков?", хотя знал, знал, и к этой фразе стоит отнестись осторожно, она провокативна. Еще он знал о каторжности переводческого труда, вспомним слова Пушкина из письма Голицину (см. ранее). Вероятно, знал об ограниченности своего знания, чтобы сделать перевод на должном уровне. Здесь важно слово "зачем" и

заключительный вопрос. В сочинении “Записные книжки” того же Чехова встречаем: “Чтобы изучить Ибсена, выучился по-шведски, потратил массу времени, труда и вдруг понял, что Ибсен неважный писатель; никак не мог понять, что ему теперь делать со шведским языком...”

Вроде не о себе сказано, отстраненно о ком-то, желающем знать Ибсена в оригинале, но и о себе, если увидеть себя в качестве читателя переводов собственных текстов. И разочароваться, что произошло с Чеховым-писателем, самобытным автором, заинтересованным в переводческой трансляции. Это своего рода парадокс существования автора в переводе.

С. В рамках этой коллизии кажущееся абсурдным суждение французского исследователя Андре Лефевра — “Перевод может оценить только тот, кому он не нужен” — приобретает смысл. Ни автору, ни переводчику оценить не дано, дано — читателю, и читатель всегда прав. Из этого вытекает лефевровский принцип вариативного, интерпретативного перевода, ориентированного на спектр читательских восприятий. И читатель должен, сказать сильнее, даже обязан знать, чувствовать эмпирию перевода. О чем сказать на материале перевода конкретного произведения уже не получается.

4. Остальное (Ортега-и-Гассет, Карл Кролов, Корней Чуковский)

Не успеваю. Как и предполагал, катастрофа неминуема.

(Северные воды. Сокрушительный удар. Потопление. Конец.)

•

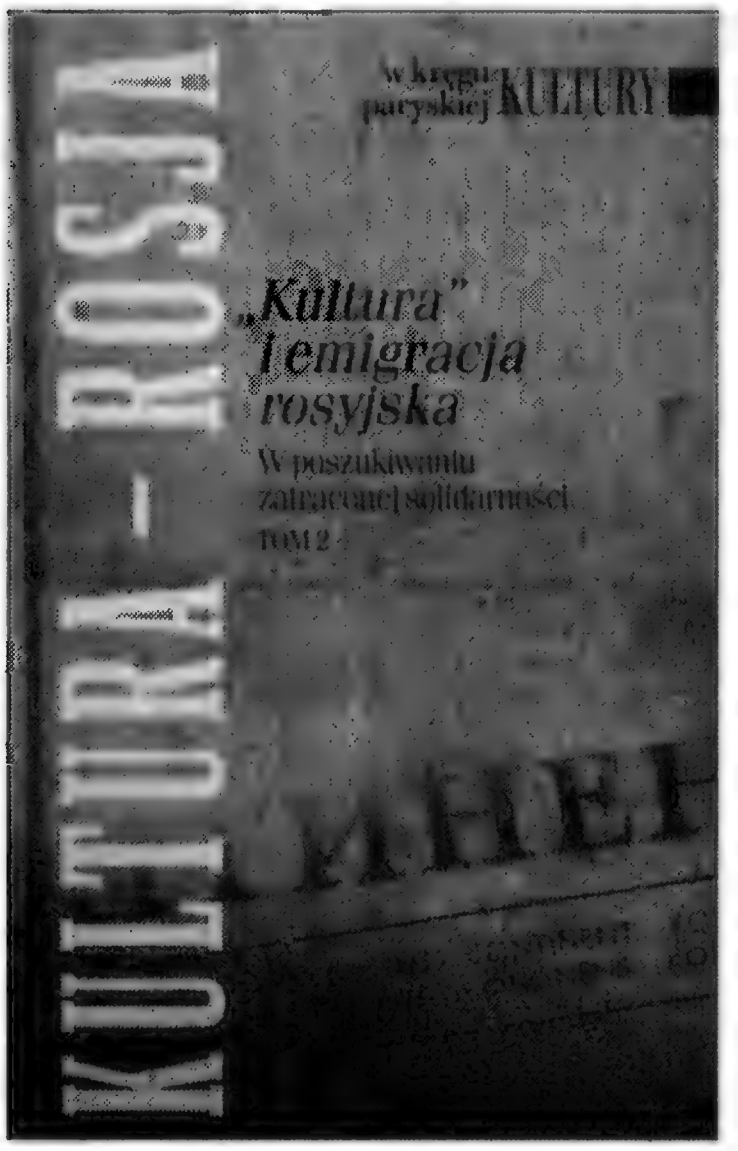
01.03.17

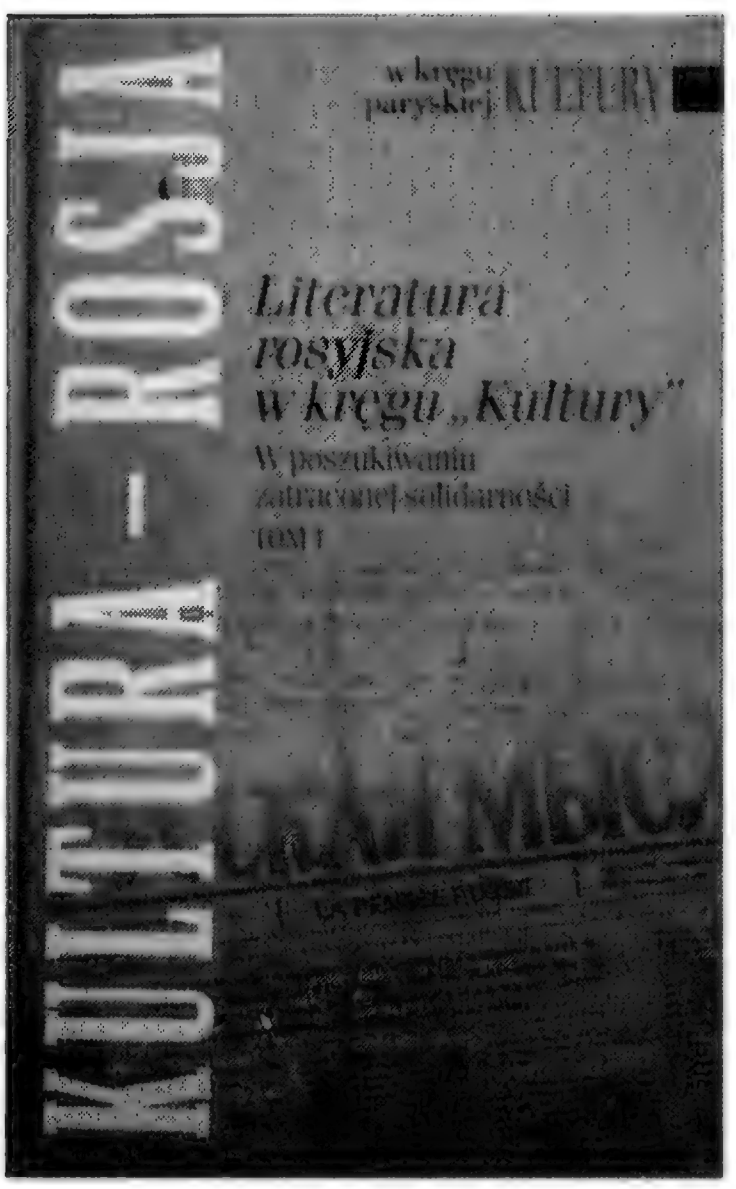
Владимир Маклаков

Информация к размышлению Non-fiction

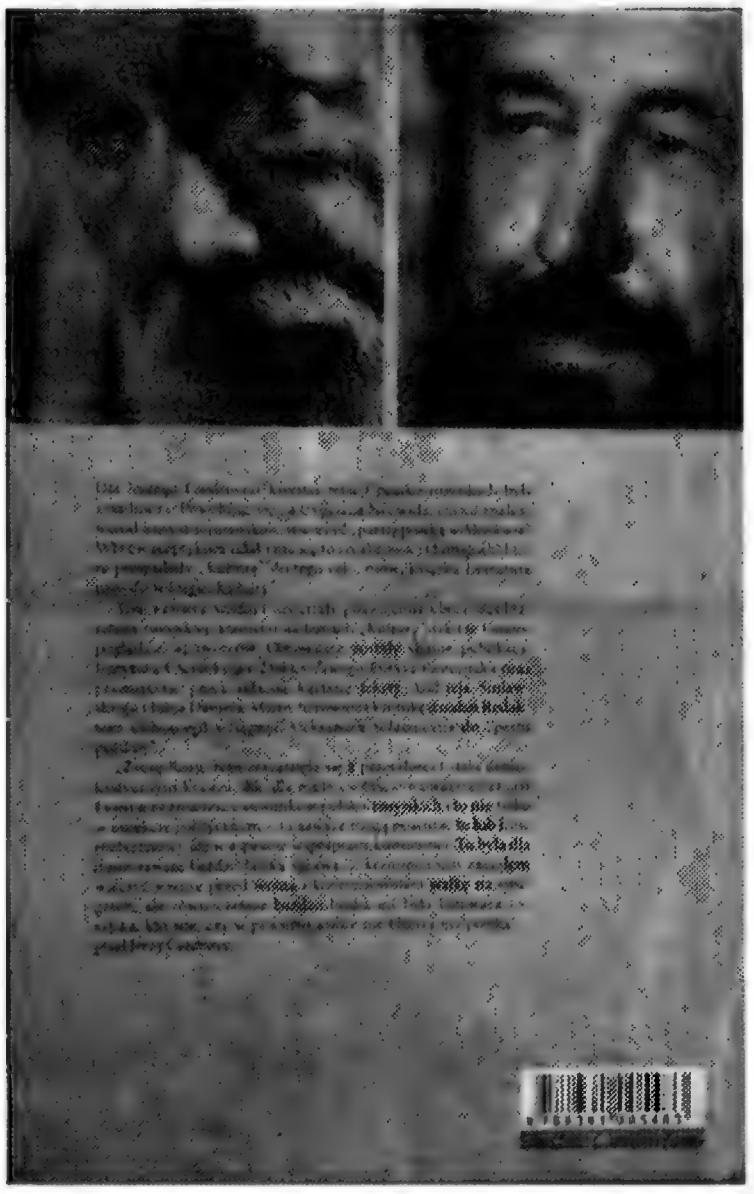
с Алексеем Михеевым

Весной этого года в Москве в Польском культурном центре прошла презентация двухтомника, выпущенного совместно парижским (Instytut Literacki "Kultura") и краковским (Instytut książki) издательствами и посвященного связям с русской литературой выходившего во Франции во второй половине XX века (1947–2000) польского журнала "Культура". Первый том носит название *Literatura rosyjska w kręgu "Kultury"* (Русская литература в кругу "Культуры"); второй – *"Kultura" i emigracja rosyjska* ("Культура" и русская эмиграция). Оба тома имеют общий подзаголовок: *В поисках утраченной солидарности.*





Учредителем и бессменным главным редактором "Культуры" был **Ежи Гедройц** (после его смерти журнал прекратил существование). Один из сотрудников "Культуры" – **Ежи Помяновский** – жил в эмиграции с 1969 по 1994 год, а вскоре после возвращения в Польшу основал (в 1999-м) выходящий и сейчас русскоязычный журнал "Новая Польша", главным редактором которого он был до своей смерти в 2016 году. Заместителем Помяновского в журнале работал **Петр Мицнер**, усилиями которого, собственно, этот двухтомник был собран и выпущен в свет; Мицнер



и представлял издание на московской презентации.

Формально оба тома не что иное, как сборники документальных текстов (статей и писем) – в первом томе их более пятидесяти (422 с.), а во втором – более семидесяти (420 с.). Главные герои первого тома – нобелевские лауреаты Борис Пастернак и Александр Солженицын, а также Андрей Синявский (чье фото вместе с фото Солженицына вынесено на оборотную сторону обложки). Основное место занимают сюжеты, связанные с переводами и публикацией на Западе двух главных, по сути, произведений русской литературы 50–70-х годов: "Доктор Живаго" и "Архипелаг ГУЛаг" (Ежи Помяновский стал переводчиком "Архипелага" на польский).

Содержательно наиболее интересным здесь представляется вопрос о соотношении литературы и политики. Из публикуемой переписки ясно, что с точки зрения художественной ценности названные тексты не вызвали, скажем так, единодушного одобрения; однако относительно важности их публикации сомнений не было, поскольку они играли важную роль в противостоянии советской идеологической машине – и "Доктор Живаго", и "Архипелаг ГУЛаг" были фактами прежде всего социальными. И именно для польской эмиграции политическая составляющая (в координатах традиционной оппозиции "Польша–Россия) становилась в данном случае приоритетной.

Во втором томе тема литературы уходит еще дальше на второй план. Главные герои здесь – русские эмигранты разных "волн": от Дмитрия Философова (еще в 20-е годы основавшего в Варшаве русско-польский литературный клуб "Домик в Коломне") и Романа Гуля, от Нины Берберовой и Алексея Ремизова до Натальи Горбаневской, Виктора Некрасова и Владимира Максимова. Сотрудничество с Максимовым было наиболее тесным – ведь учрежденный им в начале 70-х журнал "Континент" стал, по сути, русскоязычным аналогом "Культуры", его идеологическим "братом по оружию" (а Гедройц был, среди прочего, членом редколлегии "Континента").

Поразительно, что уже в 60-е годы, когда Советский Союз казался незыблемой твердыней на вечные времена, на страницах "Культуры" активно обсуждались (вместе с русскими эмигрантами) вопросы постсоветского устройства России. И именно тогда в обиход вошла аббревиатура ULB, обозначаю-

щая, соответственно, Украину, Литву и Белоруссию — как некое дружественное по отношению к Польше межгосударственное образование, которое служило бы геополитическим поясом, отделяющим Польшу от России. И даже сейчас некоторые страницы книги (например, посвященные месту Украины в этом "раскладе") звучат не просто современно, а остроактуально.

Вот, например, что говорил Ежи Гедройц в 1991-м в беседе с Натальей Горбаневской: "Что касается стремления к независимости таких стран, как Украина или Литва, то мы его, вне всякого сомнения, поддерживаем. Однако не следует также забывать многих возникающих в связи с этим проблем. Если речь идет о Белоруссии, то нужно отдавать себе отчет, что русификация зашла в ней очень далеко, и я не знаю, не поздно ли уже говорить о независимости Белоруссии. Если речь об Украине, также следует считаться с тем, что значительная часть ее территории, прежде всего левобережная, в большой степени русифицирована. Поэтому мы всегда настаивали — и наши заявления на эту тему печатались в 'Континенте', — чтобы по данному вопросу организовать плебисцит. Не следует требовать, чтобы границы Украины проходили так, как они себе представляют, — это вопрос волеизъявления населения. Имеется целый ряд областей, которые хотят входить в состав России, чувствуют себя связанными с Россией, и это следовало бы обязательно урегулировать".

И дальше в той же беседе: "Польско-российское культурное сотрудничество нужно развивать. Ведь в прошлом у нас были прекрасные примеры такого сотрудничества, начиная хотя бы от Мицкевича. Обратите внимание, что перед Первой мировой войной польская литература была в России очень популярна, переводились многие польские писатели: Жеромский, Пшибышевский, Сенкевич выходили в приложениях к 'Ниве'. Я помню их с детства — это была прекрасная форма популяризации литературы и доступа к ней широких масс.

И сейчас для нас существует огромное поле деятельности. Например, книга Густава Херлинга-Грудзинского [соучредителя "Культуры". — *А. М.*] "Иной мир" для меня необыкновенно важна не только по причине его таланта, но еще и потому, что у этого человека, который прошел лагеря, много выстрадал, нет никаких антироссийских предубеждений. Общечеловеческие ценности для него важнее. Это подход, который нужно защищать и пропагандировать. Чего я больше всего боюсь, так это всяких раздутых национализмов. Я боюсь, как бы борьба с советизацией и коммунизмом не превратилась бы в борьбу антироссийскую. Массовые настроения такого рода безумно опасны, и мы должны им противодействовать. Также и поэтому — избегая тут чисто политических оценок — такой радостной неожиданностью были для меня демонстрации в Москве в поддержку прибалтийских стран. И хотя я не слишком много знаю о Ельцине, но, судя по ряду его выступлений, он поступает прекрасно. И это пробуждает надежду".

Жанна Слонёвская
Zanna Słoniowska
Польская писательница. Родилась во Львове. Живет в Кракове. Лауреат премии Конрада за лучший дебютный роман [2015].

Перевод романа *Дом с витражом* выполнен по изданию [*Dom z Witrażem*. Kraków: Znak, 2015].

Бертран Блие
Bertrand Blier
[р. 1939]. Французский кинорежиссер и сценарист. Лауреат премий *Оскар* [1979], *Сезар* [1985, 1990] и др.

Режиссер фильмов *Гитлер? Не знаю такого* [*Hitler, connais pas*, 1963], *Приготовьте ваши носовые платки* [*Préparez vos mouchoirs*, 1977], *Холодные закуски* [*Buffet Froid*, 1979], *Наша история* [*Notre histoire*, 1984], *Слишком красива для тебя* [*Trop belle pour tois*, 1989], *Раз, два, три... замри!* [*Un, deux, trois, Soleil*, 1993], *Сколько ты стоишь?* [*Combien tu m'aimes*, 2005], *Кусочки льда* [*Le Bruit des glaçons*, 2010] и др. Автор сценариев *Коварство славы* [*Grosse fatigue*, 2004], *Распутники* [*Pédale dure*, 2004].
Перевод публикуемой пьесы выполнен по изданию *Я иду по ковру...* [*Désolé pour la moquette...* Éditions Actes Sud, 2010].

Нина Осиповна Хотинская
Переводчик с французского. Лауреат премии имени Ваксмахера [2011].

В ее переводе выходили романы П. Брюкнера *Похитители красоты*, П. Модиано *Дора Брюдер*, М. Дюрас *Летний вечер, половина одиннадцатого*, П. Констан *Банановый парадиз* и *Откровенность за откровенность*, М. Вяземски *Горстка людей*, Ф. Аррабаля *Красная мадонна и Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата*, рассказы М. Эме, Ф. Саган и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Миодраг Павлович
Миодраг Павловић
[1928–2014]. Сербский писатель, поэт, драматург, академик Сербской академии наук и искусств, член Европейской академии поэзии.

Автор сборников стихов *87 песен* [*87 песама*, 1952], *Столпы памяти* [*Стуб сећања*,1953], *Светлые и темные праздники* [*Svetli i tamni praznici*, 1971], *Великое скитание и другие стихотворения* [*Velika Skitija i druge peste*, 1972], *Вступление в Кремону* [*Улазак у Кремону*, 1989], *Космология для профанов* [*Космологија профаната*, 1990], *С Христом не отрывая глаз* [*С Христом нетремице*, 2001], романа *Второе пришествие* [*Други долазак*, 2000]. Составитель нескольких антологий, в том числе *Антологии сербской поэзии XIII–XX* веков [1964].
Публикуемые стихи взяты из разных книг.

Вячеслав Глебович Куприянов
[р. 1939]. Поэт, прозаик, переводчик, член российского ПЕН-клуба, Лауреат Европей-

Автор сборников стихотворений *От первого лица* [1981], *Жизнь идет* [1982], *Домашнее задание* [1986], *Эхо* [1988], *Дайте договорить* [2002], *Лучшие времена* [2003], *Ода времени* [2010] и др., романов *Башмак Эмпедокла* [1994], *Синий халат Вселенной, или Ваше звероподобие* [2006] и др., повестей, рассказов. В его переводе выходили стихи Гёль-

ской литературной премии [Югославия, 1987], премии министерства культуры и образования Австрии [2006], Бунинской премии [2010] и др. Обладатель Македонского литературного жезла [1999].

дерлина, Новалиса, Р. М. Рильке, Б. Брехта, Э. Яндля, Х. Калау, Э. Фрида. В *ИЛ* в его переводе опубликованы стихи Х. Гриля, М. Крюгера, Х. Хартунга, Р. Герхардта, Х. М. Энценсбергера, Х. Э. Пачеко, рассказ Ф. Холера, *Из ранних рассказов* Г. Гессе.

Джон Донн
John Donne
[1572–1631]. Английский поэт, основоположник метафизической школы, священник, проповедник.

При жизни публиковал в основном памфлеты и проповеди. Первый сборник стихов *Песни и сонеты* [*Songs and Sonnets*] вышел посмертно в 1633 г. На русском языке выходили *Стихотворения и поэмы* [2009, в серии *Литературные памятники*], *Стихи и поэмы* [2011] и др. В *ИЛ* напечатаны его стихи [1988, № 9; 1993, №12; 2014, № 2].
Публикуемые элегии взяты из книги *Полное собрание стихотворений Джона Донна* [*The Complete Poetry of John Donne.* New York: Doubleday, 1967].

Виктор Клемперер
Victor Klemperer
[1881–1960]. Немецкий филолог. Преподавал в Неапольском университете и дрезденской Высшей технической школе.

Автор *Истории французской литературы XVIII века* [1954], *Записной книжки филолога. Язык Третьего рейха* [*LTI. Notizbuch eines Philologen*, 1947; рус. перев. 1998].
Перевод публикуемого текста выполнен по изданию *И вот я сижу между всеми стульями. Дневники 1945–1949* [*So sitze ich denn zwischen allen Stühlen. Tagebücher 1945–1949.* B. 1. — Aufbau-Verlag, 1999].

Дарья Алексеевна Андреева
Переводчик с английского и немецкого языков.

Автор романа *Личная война Павла* [2013]. В ее переводе издана детская книга *Летающий Якоб* Ф. Вехтера, рассказы Ф. Хоппе. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы фрагменты книги М. Бубер-Нойман *От Потсдама до Москвы* [2015, № 4], рассказ Т. Шульца *На роликах* [2016, № 8], рецензии на романы Набокова [2017, № 6].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света.*

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозрева-

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению.*

тель, лингвист. Главный редактор интернет-портала *Словари XXI века*, модератор групп *Библиотека года* и *Словарь года* в сети *Facebook*. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы *Антиподы* [2010].

Переводчики

Мадина Михайловна Алексеева
Переводчик с польского, украинского, английского и шведского языков. Кандидат филологических наук. Лауреат премии имени С. К Апта.

В ее переводах изданы произведения В. Шабловского, И. Грудзинской-Гросс, Ю. Чапского, С. Лема, В. Кучока, С. Схутого и др.
В *ИЛ* в ее переводе опубликованы эссе Т. Любельского *Смерть отца* [2008, № 7] и фрагменты книги И. Грудзинской-Гросс *Милош и Бродский: магнитное поле* [2011, № 7], а также репортажи из Турции *Убийца из города абрикосов* В. Шабловского [2011, № 10].

Марина Григорьевна Тарлинская
Переводчик с английского, немецкого, латыни, действительный член Американской ассоциации переводчиков, доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики Университета штата Вашингтон. Лауреат премии Фицджеральда по поэтике [2005].

Автор около двухсот научных статей и четырех книг *Английский стих. Теория и история* [*English Verse. Theory and History*, 1976], *Стих Шекспира* [*Shakespeare's Verse. Iambic Pentameter and the Poet's Idiosyncrasies*, 1987], *Метрическая система английского стиха с сравнении с немецкой и русской* [*Strict Stress-Meter in English Poetry Compared with German and Russian*, 1992], *Шекспир и версификация английской драмы 1561—1642* [*Shakespeare and the Versification of English Drama 1561—1642*, 2014].

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Бена Шана [1898–1969] *Итальянский пейзаж II. Европа.*

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Секретарь-референт Ксения Жолудева.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор Мария Макарова.

Менеджер по правам Мильда Соколова.

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
E-mail: zhurnalil@yandex.ru

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 28, второй двор, звонить в домофон);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),
в интернет-магазине "Лабиринт" (http://www.labirint.ru)

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
20.08.2017
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 6427.
Тираж 2600 экз.

Отпечатано в
ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

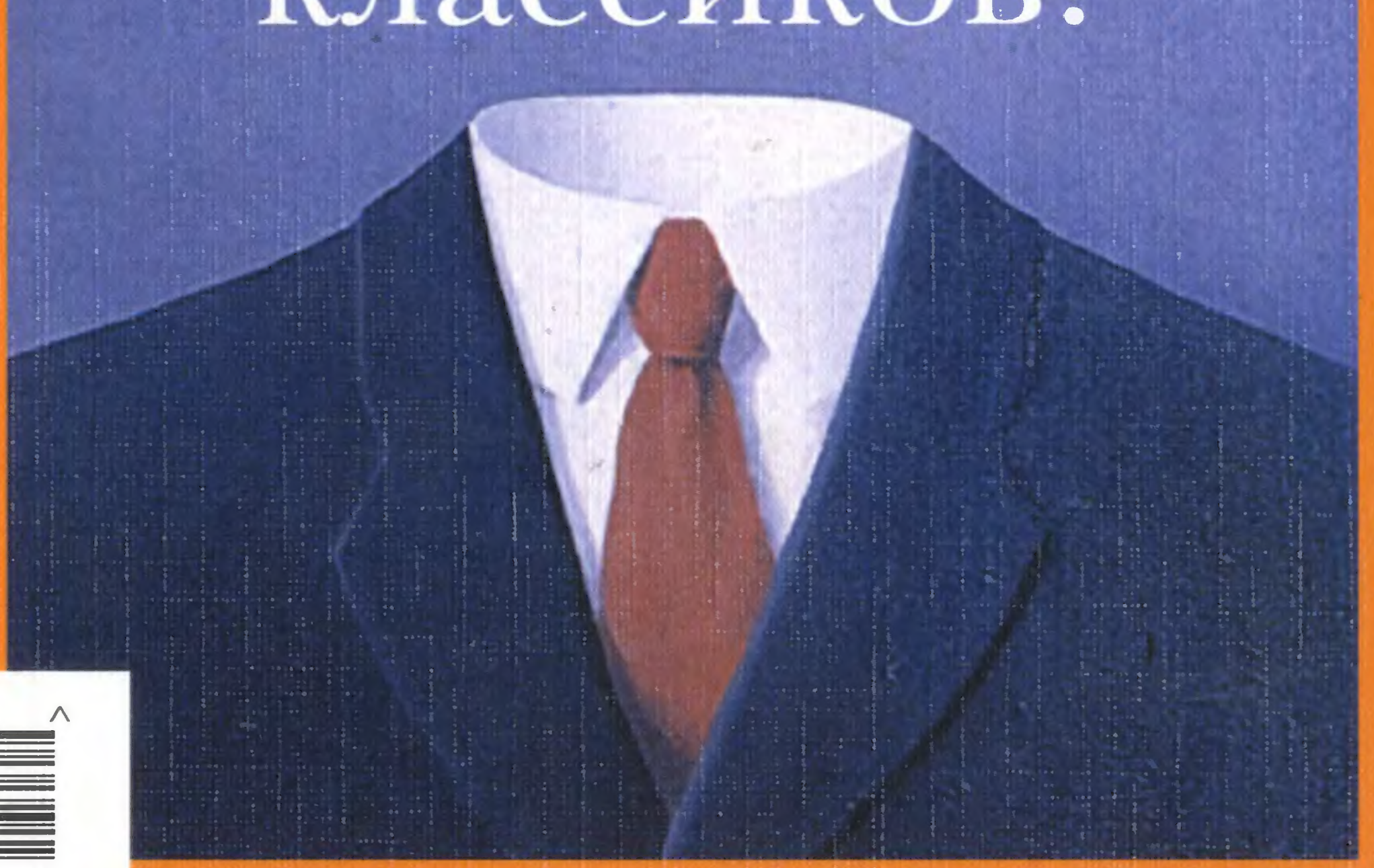
[10] 2017

Специальный номер

“В Бразилию, к далеким берегам!”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!



Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ISSN 0130-6545 17009 >
9 770130 654770

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2017, №9, 1–288